

АРКАДИЙ ЛЬВОВ

ХИМЕРЫ



РОМАН

АРКАДИЙ ЛЬВОВ



*Р. Ч. В., в беседах с которой —
осенней ночью, на Бликкер
стрит, в Гринич Виллидже —
возникли замысел и назва-
ние этой книги.*

Аркадий Львов

ХИМЕРЫ

Роман



Нью-Йорк—Мюнхен

Arkady Lvov

CHIMERAS

A novel

© Arkady Lvov

All rights reserved.

No part of this publication may be
reproduced or translated
in any form or by any means,
without permission.

Cover design by Isaac Davner

1990

„...Бог сказал Аврааму: ... во всем, что скажет тебе Сарра, слушайся голоса ее...”

Бытие, 21–20

„Ненависть, совершенно побеждаемая любовью, переходит в любовь, и эта любовь будет вследствие этого сильнее, чем если б ненависть ей вовсе не предшествовала”.

Спиноза

„Каждый акт жестокости является неизменно частью вселенной; ничто из того, что случится позже, не сможет превратить этот акт из плохого в хороший или не сможет даровать совершенство целому, частью которого оно является”.

Бертран Рассел

I

Мальчики сказали:

— Аля, пойдем на чердак.

Чердак был высоко, под самым небом. С чердака вела лестница на крышу. Здесь, на крыше, небо было совсем близко, его можно было достать пальцем. Аля не могла, Але было четыре года. Но взрослые — мама, или папа, или просто какой-нибудь дядя, или какая-нибудь тетя, или даже просто большой мальчик или девочка — могли.

— Пойдем на чердак, — сказали мальчики Але, и Аля пошла.

Лине мальчики тоже сказали, но Лина не пошла. Лина боялась. Лина сказала: „Я боюсь, мама будет бить меня”. Аля сказала Лине, что мама не будет бить ее: мама не будет знать. И папа не будет знать. И вообще никто не будет знать.

Лина сказала: нет. И Аля пошла одна. С мальчиками. Мальчики были большие. Один, Эдик, ходил уже в четвертый класс. Раньше, в третьем классе, он держал книжки и тетради в ранце. Ранец носил на спине. А этим летом ему купили портфель. И теперь он ходил в школу с портфелем. Как взрослые.

Эдик был главный. На чердаке он приказал Але стать у окна. За окном было небо. Совсем близко. Еще немного — и его можно достать пальцем. Аля протянула руку. На палец лег солнечный зайчик. Аля покружила пальцем, зайчик то сходил с пальца, то возвращался. У Али закружилась голова.

— Ой, — вскрикнула Аля, — я падаю. Держите меня. Я падаю.

Аля упала. Эдик сказал, у Али обморок. У его мамы тоже бывают обмороки. Обморок — это не опасно, от обморока не умирают.

Аля слышала все, что говорил Эдик: про ее, Алину, обморок, про свою маму, про обморок, что это не опасно, что от обморока не умирают.

Аля лежала с закрытыми глазами, Эдик потрогал ее веки и сказал, обморок — это, когда лежат без сознания: человек не видит, не слышит, не чувствует.

Аля лежала с закрытыми глазами. Аля видела, слышала и чувствовала. Не так хорошо, не так отчетливо, как человек, когда он смотрит открытыми глазами, а так, как будто глядишь в щелочку, очень узенькую, со всех сторон туман и только в одном месте чуть-чуть светлее и можно различить предметы.

Эдик взял Алю за ноги, за пятки, и осторожно, как будто боялся Алю разбудить, раздвинул. Саша — Саша учился в третьем классе, Сашина мама была доктор, и папа тоже был доктор, Саша был у себя в классе звеньевой и отличник — сказал Эдику, чтобы он отпустил Алины ноги, что человек, когда у него обморок, может слышать и может видеть.

Эдик сказал, нет, такого не бывает, еще чуть-чуть развел Алины ноги, Саша опять сказал, не надо. Эдик остановился, Аля думала, он послушался, хотела открыть глаза и сказать мальчикам, что Саша говорит правду, она все видит и слышит,

но глаза почему-то не открывались, а во рту было такое чувство, как будто стянули резинками и нельзя разжать губы.

Эдик остановился, Аля видела его лицо, оно расплывалось, как будто Аля смотрела через мамины очки, Эдик наклонился, провел пальцами по Алиному животу, опять остановился, Саша плачущим голосом сказал, не надо, Эдик пальцами оттянул край Алиных трусов, где мысик, Саша схватил его за руку, сказал Эдику, чтобы отпустил Алины трусы, Эдик, наоборот, потянул еще сильнее, и чьи-то пальцы — Аля не знала чьи, Эдика или Саши — под трусами, где мысик, задела Алю, и от пальцев мурашки побежали по всему телу, от этих мурашек сделалось Але сначала холодно, потом жарко, как будто Аля вдруг заболела гриппом и поднялась температура, и от температуры пошел у Али озноб и это чувство во рту, как будто зубы ледяные, а небо и горло обдает в это время жаром.

Эдик закричал на Сашу, чтобы Саша убрал немедленно руку — теперь Аля знала, что это были Сашины пальцы — а то Аля проснется от обморока, но Саша не убирал свою руку, наоборот, прижимал еще сильнее, тогда Эдик ударил его кулаком по лицу, Саша тоже ударил его, у Эдика потекла из носа кровь — Саша обрадовался: кровь! кровь! — Аля испугалась, от испуга у нее прошел обморок, она открыла глаза, Саша увидел первый, закричал „она все видит!” и хотел убежать, Эдик тоже хотел убежать, но Аля покачала головой, опять закрыла глаза и сказала мальчикам: „У меня обморок: когда обморок, человек не может видеть”.

Алины ноги были в том положении, в каком оставил их Эдик, Аля повторила, что у нее обморок и она ничего не может видеть, Саша вдруг заплакал и стал повторять, как заводной: — Ты врешь, врешь, врешь!

Аля сказала, нет, она не врет, и Эдик сказал, нет, Аля не врет, и потрогал Алю пальцами под трусами, где мысик, и опять

у Али сделался озноб, как от простуды, вроде очень высокая температура, а по лбу прошел холодок, как будто мама положила холодный компресс.

Саша перестал плакать, стал в позу, как боксер, два кулака вперед, Эдик тоже стал в позу, как боксер, Аля привстал, опираясь ладонями о пол — пол был пыльный, теплый от солнечного зайчика — и сказала мальчикам:

— Мальчики, не надо драться. Драться нехорошо. Саша, я тебя люблю. Эдик, я тебя люблю. Не надо драться. Вы хорошие.

— Ты врешь, — опять заплакал Саша, — мы нехорошие! Нехорошие!

Эдик ничего не сказал, сначала ничего не сказал, а потом спросил у Али:

— Ты не врешь? Мы хорошие?

Аля повторила, да, хорошие. Саша перестал плакать, глаза у него сделались очень большие — очень, очень большие, Аля первый раз видела у мальчика такие большие и такие голубые глаза, раньше такие глаза Аля видела только у девочки в больнице, когда они лежали в одной палате, у Али была астма и у девочки была астма, но у Али шло к лучшему, а у девочки с каждым днем было все хуже и хуже, и нянечка сказала, что девочка может умереть, и Алина мама сказала, не Але, а так, сама себе, что девочка может умереть, но лучше умереть, чем, как эта девочка, каждый день, каждый час мучаться — Аля посмотрела на Сашу очень внимательно и сказала:

— Саша, я люблю тебя больше всех. Ты самый хороший.

Эдик спросил:

— А я?

Аля сказала Эдику:

— Эдик, я тебя люблю больше всех. Ты самый хороший.

Саша закричал:

— Врешь, врешь, двое не могут быть самые хорошие!

Один может быть самый хороший! И любить больше всех можно одного, одного, а не двоих сразу!

— Нет, — покачала головой Аля, — вы оба самые хорошие, больше всех на свете я люблю тебя, — Аля показала пальцем на Сашу, — и тебя, — Аля показала пальцем на Эдика. — Когда я вырасту и стану мамой, у меня будут сыночки Саша и Эдик.

Эдик сказал Але;

— Аля,ними трусики.

Аля сказала мальчикам, пусть отвернутся, ей стыдно снимать трусики, когда на нее смотрят. Эдик отвернулся, а Саша не отвернулся, Саша смотрел на Алю своими большими глазами — еще больше, чем у той девочки, с которой Аля лежала в больнице — Аля повторила, пусть Саша тоже отвернется, а то ей стыдно, взялась обеими руками за резинку трусов, стала стягивать к лодыжкам, подняла одну ногу, подняла другую ногу, солнечный зайчик лег на трусики, Аля засмеялась „ой, зайчик!“, хотела прихлопнуть его ладонью, но зайчик оказался сверху, на Алиной руке, и тут Саша бросился на Эдика.

II

Альбина и Макс сидели в ванне, Альбина взбила ладонью пену, наложила пену на лицо, темнозеленые, глаза сделались почти черные, с чернотой базальта. Макс сказал Альбине: „Ты не здешняя, не земная“, — Альбина положила руки ему на плечи, приподнялась, села Максу на колени, он покачал головой: „Не получится“. Макс набрал в ладони воды, сказал Альбине, надо смыть пену с лица, чересчур много археологии, белокаменная баба из сарматских степей, Альбина сказала: „Какая белокаменная баба, я самаритянка“, — окунула лицо, подняла рывком голову, широко раскрыла рот, глаза были огромные, испуганные:

— Господи, чуть не задохнулась. Вечный страх, с детства: задохнусь! Это началось с больницы, с той девочки, которая умерла.

— Ты видела, как она умирала?

— Нет, — сказала Альбина, — не видела. То есть не видела, как она умерла, но как умирала — видела каждый день. Взрослые говорили, что она может умереть, но я не верила. Не понимала. Не могла представить себе: девочка живая — и вдруг нет девочки. После приступов у нее всегда были такие глаза, — Альбина соединила в кольцо два пальца, большой и средний, — вот такие.

— Как у Саши, — сказал Макс, — тогда, на чердаке.

— Да, — мотнула головой Альбина, — как у Саши, тогда, на чердаке. Вот так, причины разные, и результаты разные, и вообще все разное — а глаза одинаковые. Что еще? Хочу курить, подай сигареты.

Альбина закурила, пустила дым, через нос, колечками, сощурила глаза — две черные, две мохнатые змейки, в конус с обоих концов, с головы и с хвоста — и сказала, четко, как будто школьный диктант, разделяя слова:

— Люди злые. Почему люди злые?

Макс спросил:

— Что было с Сашей?

— Плохо было с Сашей, — Альбина усмехнулась. — Плохо. Саша потерял глаз. Не сразу — потом, позже. Когда Аля сняла трусы, Саша бросился на Эдика, закричал на него, что он свинья, он позвал на чердак, он с самого начала знал, для чего зовет. Грязная свинья! Саша опять разбил Эдику нос и, как в первый раз, обрадовался: кровь! кровь! Аля просила, Аля плакала: перестаньте драться, я люблю вас, мальчики, перестаньте драться.

— Ты уверена, — спросил Макс, — ты точно помнишь эти Алины слова: „Я люблю вас, мальчики”?

— Помню, — Альбина затянулась глубоко, выдохнула с всхрипом, какой бывал у нее в последнее время, вроде в груди, в гортани преграда. — Точно ли? Да, точно, Аля сказала: „Я люблю вас, мальчики, не надо драться”. Эдик, когда Саша расквасил ему нос, схватил палку, стал размахивать ею, как шпагой. Не знаю, Эдик метил Саше в глаз или получилось случайно, что попал в глаз. Сашу водили к докторам, в институт Филатова. Сначала доктора говорили, что глаз надо сохранить. Потом у Саши начался менингит, Саша мог умереть, и доктора сказали: глаз надо удалить.

— Аля возненавидела Эдика?

Нет, сказала Альбина, у Али не было ненависти к Эдику. За что было ненавидеть Эдика? Мальчики подрались, Саша тоже мог схватить палку и выбить Эдику глаз. У Али была жалость к Саше, потому что он остался без глаза, и жалость к Эдику была. Тоже.

Макс пожал плечами:

— А к Эдику за что?

— За что? — удивилась Альбина. — Эдика все во дворе ненавидели. Соседи говорили, что он, в таком возрасте, уже готовый бандит. Что его папа и мама должны со своим бандитом переехать в другой дом, в другой город. Дети не хотели играть с Эдиком. Он слонялся по двору один, заглядывал всем в лицо, улыбался вот такой улыбкой, — Альбина наклонила голову, ссутулила плечи, оттянула уголки рта пальцами, — все проходили мимо, как будто нет Эдика, нет мальчика, нет человека — так, пустое место.

Макс спросил:

— Аля продолжала любить Эдика?

— Да, — кивнула Альбина, — Аля продолжала любить Эдика.

Макс усмехнулся:

— Больше, чем Сашу? Или одинаково?

Альбина окунула сигарету в воду, растерла пальцами, бросила в раковину:

— Не больше, не меньше. Одинаково? Не знаю, наверное, не одинаково: по-разному. Теперь Аля знала: любовь бывает разная, потому что люди разные. И любить людей можно по-разному. Но любить. Любить.

Макс сказал Альбине, пусть повернется к нему спиной.

Альбина покачала головой:

— Прячешься! Любовь со мной хочешь делать у меня за спиной. Нет, хочу смотреть в глаза. Смотри в глаза.

Макс засмеялся, взял Альбину за плечи, повторил, пусть повернется к нему спиной — смотреть друг другу в глаза можно и в такой позиции.

Альбина вскрикнула:

— Ты делаешь мне больно! Осторожнее, ты делаешь мне больно.

III

Саша и Эдик, оба, заходили к Але. Саша кончал институт — на доктора, Эдик — на инженера. Оба говорили Але: получишь аттестат — поженимся.

До аттестата был еще целый год. Эдик убеждал Алю: все равно поженимся — чего ждать?

Сашины папа и мама говорили про своего сына: он потерял голову, он обезумел. Посмотрите на него и посмотрите на нее: день и ночь!

Аля объясняла Саше:

— Твои родители — интеллигенты! Ты мальчик из интеллигентской семьи — зачем ты ходишь ко мне? Оставь меня.

Саша спрашивал:

— Ты любишь меня?

Аля не отвечала.

— Ты любишь Эдика? — спрашивал Саша.

Аля не отвечала.

— Ты живешь с ним? — спрашивал Саша.

Аля смотрела Саше в глаза — левый глаз, фарфоровый, был почти как настоящий, — качала головой, нет, шепотом, едва приоткрыв губы, произносила „нет”, Саша хватал ее за плечи, дергал во все стороны и кричал, как полоумный:

— Живешь! живешь!

Аля говорила Саше, твой папа гинеколог, пойдем к папе, пусть обследует, Саша соглашался, пойдем, пусть обследует. После этих слов Аля сама делалась, как полоумная, вскакивала и, направив руку к двери, кричала Саше:

— Вон, и не приходи больше, и не пиши, и не зови! Ненавижу!

Потом они целовались, Саша целовал Алю — лицо, шею, плечи, руки, ноги, опять лицо, шею, плечи — говорил про Алю, что она самая красивая, самая лучшая, самая чистая.

— Говори, — просила Аля, — еще говори.

Саша повторял: самая красивая, самая лучшая, самая чистая.

И спрашивал:

— Ты любишь меня?

И сам отвечал:

— Ты не любишь меня.

На другой день приходил Эдик. Спрашивал про Сашу:

— Приходил?

Аля кивала головой: приходил. Эдик, как будто с цепи срывался, хватал Алю за руки, заводил за спину, на поясницу, наваливался всем телом, кричал Але в лицо, что хочет ее и будет...

Эдик произносил отвратительное слово, Аля падала на диван, Эдик рывком отдергивал молнию на брюках, Аля крепко сжимала ноги, Эдик кричал, пусть раздвинет, Аля сжимала еще крепче, он кричал, что задушит ее, и в самом деле душил, вдруг начинал дергаться, толчками ударялось в Алины бедра горячее, липкое, Аля прижимала к себе Эдика, плачущим голосом Эдик просил, раздвинь, ну раздвинь, в ногах у Али было странное чувство, как будто они отдельно, как будто они сами по себе, как будто она, Аля, им не хозяйка, и сейчас ноги сделают по-своему, как хочется им, как просит Эдик, Аля внезапно подтягивала ноги, коленями отжимала Эдика, руками упиралась ему в грудь и толкала, пока он не сваливался на пол.

Поднявшись, Эдик задергивал молнию, кричал Але, что взял ее, жил с ней, она пусть считает как хочет, а он взял ее, е. . . ее и еще будет! А одноглазому — во! Эдик перекладывал в сгине правую руку левой, водил из стороны в сторону кулаком и приговаривал: во!

— Уходи! — говорила Аля, — уходи и больше не приходи.

Эдик делал горькую гримасу:

— Разлюбила?

Аля качала головой: нет, не разлюбила.

Эдик подавался весь вперед, гримаса сходила с лица, глаза делались тоскливые:

— Правда? Не разлюбила?

Аля закрывала лицо руками, пальцы впивались ногтями в переносицу, и бормотала:

— Уходи, ну уходи!

Эдик становился на колени:

— Прости, прости!

— Встань, — говорила Аля.

Эдик мотал головой, нет, не встану, называл себя подонком, Аля опять приказывала, пусть встанет, подходила к Эдику, брала его за руки, он прижимался губами к Алиным ладоням, Аля брала его голову, чуть запрокидывала, смотрела в глаза и просила:

— Ну встань, прошу тебя: встань.

В этот раз Эдик не встал. Стоя на коленях, прижался к Але, лбом к животу. От запаха полыни, какой шел от Али, кружилась голова. От этого кружения, от запаха, совсем ошалел, внезапно вскочил, стал толкать Алю к дивану, пока не сообразил, зачем к дивану, почему к дивану, обхватил Алю, перегнул в пояснице, Аля сама, Эдик чувствовал, сама стала опускаться на пол. Теперь не толкать, теперь удержать надо было, чтобы Аля не ударилась затылком, не ушиблась. Эдик осторожно опустил Алю на пол, сказал, давай разденемся, он разденется, она тоже пусть разденется, стал раздеваться, пояс, брюки, рубашка, все по порядку, как будто укладывается в постель, на ночь, Аля лежала на полу, наблюдала, не сводя глаз, молча, Эдик разделся, сказал Але, ну чего, пусть тоже раздевается, вдруг засмеялся, сказал Але, нет, не надо, он сам разденет ее, захватил подол платья, стал заводить кверху, к груди, Аля наблюдала, как прежде, молча, не сводя глаз, Эдик сказал, ну чего она, будто без памяти, будто в обмороке, запустил руку под трусы, на мгновение задержался, вроде примеряясь, прищелкиваясь, рывком содрал с Али трусы, до колен, и тут же дико, по-звериному, прохваченный от паха к голове, от паха к стопам, во все стороны, пронзительной болью, завопил.

IV

Альбина сказала:

— Аля ударила его в пах. Ногой. Он кричал, как животное. Он упал на спину, подтянул колени к животу, стал кататься по полу и продолжал, животным своим криком, кричать. Аля испугалась, думала, человек, мужчина, так кричит перед смертью.

Макс покачал головой: нет, умирают молча. Кричат живые. Но удар был опасный, Аля могла просчитаться.

Нет, сощурила глаза Альбина, Аля не могла просчитаться: не было расчета. Был импульс.

— Слушай, — возмутился Макс, — какой импульс: он сдирал с Али трусы, как тогда, на чердаке. Аля говорила обоим — и ему, и тому, второму, — что любит. Но Аля запомнила — другой своей памятью, где все укладывается как реальность, как физический факт, а не метафизический бред — врага, вражью силу, которая жаждет и только это, свою жажду, знает.

Альбина прижала пальцы к ушам:

— Слышишь? Он кричит! У него повредилось там, в мошонке. Когда приехала скорая помощь, первый вопрос у врача был к Але: насилие? Аля сказала, нет, не насилие; акт изверства. И указала на себя: от нее изверство.

— Это подлость, — сказал Макс. — Поклеп на себя — подлость.

— Докторша, — кивнула Альбина, — тоже говорила: самооговор — преступление. И моральный диагноз поставила: насилие и его плоды. Санитар — школяр, парубок — заготовил: не плоды, а бесплодие. Было от чего свихнуться: один, держась руками за пах, исходит в болях, в корчах, другой — заходится в смехе.

— И я бы смеялся, — сказал Макс. — Смешно.

— В больнице, — Альбина закрыла глаза, — Эдику сделали операцию. Хирург сказал: повреждено яичко, возможны последствия. Аля предлагала Эдику, пусть подаст на нее в суд; за изуверство. Она подтвердит: акт изуверства.

— Это — подлость. Поклеп на себя, — повторил Макс, — та же подлость.

— Аля была готова к наказанию, — сказала Альбина, — Аля хотела наказания. Это, объясняла она себе, за Сашин глаз. Пусть посадят ее, пусть тюрьма — каждый получит свое. За Сашу.

Макс пожал плечами: галиматья, бред. Але было четыре года, над Алей надругались — и получили свое. В чем вина Али? Бред, повторял Макс, бред!

— Помнишь, — кивнула Альбина, — я говорила: у Али не было расчета. Явного расчета не было. Но было ожидание. Все годы было.

— Постой, — перебил Макс. — Ты говорила: Эдик не виноват. Мальчики подрались — могло случиться наоборот: глаз потерял бы Эдик, а не Саша.

— Могло, — кивнула Альбина, — но не случилось. Саша ходил с черной перевязью — вместо глаза черная матерчатая заплата. Как у инвалидов, которые потеряли глаз на фронте.

— Ты говорила, у Саши был фарфоровый протез. Очень удачный.

— Да, — кивнула Альбина. — Фарфоровый протез, очень удачный. Но сначала была матерчатая заплата, как у инвалидов, которые потеряли глаз на фронте, от немецкой пули. Во дворе Эдика называли бандитом, а потом стали кричать: фашист, гитлеровец!

Макс сказал, надо удивляться Эдику, его папе и маме, которые продолжали жить в одном доме с жертвой. Альбина

согласилась: надо удивляться. Но надо было поменять квартиру: на это ушел год. Через год Эдик переехал.

— А через десять, — засмеялся Макс, — опять появился. И опять в паре со своей жертвой.

— Не в паре, — покачала головой Альбина, — оба стали заходить к Але. У каждого был свой день. Саша и Эдик никогда не встречались. У Али — никогда. Мама говорила Але: об-разумься, ты накличешь беду! Папа молчал, папа всегда молчал, когда был трезвый. А пьяный набрасывался на мать, на Алю, кричал, хуны, лярвы, с одной колодки, от хун — все несчастья. Аля, когда папа приходил пьяный, сначала убегала. Потом сказала себе: убегать — трусость. Аля перестала убегать и предупредила отца, пора учсть: она не ребенок.

Альбина задумалась: глаза были далекие, с фокусом внутрь. Зеленые, с желтизной осеннего жухлого листа, глаза сделались совсем черные. Макс сказал Альбине: черные дыры пространства, плотность вещества такая — лучу не оторваться. Пространство без света — бездна, мрак.

Аля, сказала Альбина, предупредила отца: пусть учтет, она уже не ребенок. Отец не учел. Отец продолжал свое: хуны с одной колодки, от хун — все несчастья! Мать видела, что будет несчастье, идет несчастье, заламывала руки, умоляла Алю: помни, это твой отец, помни, он — отец!

Отец пришел пьяный. Глаза были белые, пустые. С порога закричал: бляди, всех блядей выведу на чистую воду! Иди, закричал отец Але, иди, блядь, сюда! Аля держала левую руку за спиной. Отец не видел, не понимал: левша, Аля держит левую руку за спиной. Хуна, закричал отец, одноглазый ждет у ворот, и другой ждет! Отец подошел вплотную к Але, глаза сделались совсем белые — белые, пористые, как белый известняк — схватил Алю за волосы, одной рукой схватил, другую,

пальцы в кулак, отвел для удара. Мама закричала дурным голосом: гевалт, спасите!

Отец не успел ударить Алю — Аля ударила первая. Скалка была дубовая, с металлической осью, с навинченными на ось, с обоих концов, металлическими ручками. Аля ударила сбоку, под ребро, отец ахнул, рука, державшая Алю за волосы, соскользнула, ударилась об Алино плечо. Толчок был слабый, вроде от неживого предмета. Аля удивилась, рука отца — и такая слабость. От этой мысли — от удивления, от недоумения: как же так, столько лет, всю жизнь был страх! — поднялись во всем теле, как будто шли снизу, сверху, с боков, со всех сторон, силы, бешеные, с гневом, с яростью, с ненавистью, ненавистью к отцу, к отцу и еще кому-то, был еще кто-то, Аля явственно ощущала его присутствие, кому надо мстить, кого надо бить, до последнего дыхания, бить, пока достанет сил.

Аля ударила папу сзади, по спине, папа крикнул, разинул рот, и свалился на пол. Мама закричала, как безумная: убили, ой убили!

Первая мысль, когда папа крикнул и свалился на пол, была у Али: папа пьяный, не удержался на ногах. Аля, когда увидела папу на полу, хотела поддать еще ногой. Можно ударить, чувствовала Аля, ударить — и не бояться. И никогда, больше никогда не надо будет бояться.

— Убийца! — закричала мама. — Убила родного отца!

Мама наклонилась, подняла папину голову, вдруг отдернула руку и прохрипела: кровь! Мама протянула руку, ладонью кверху, в сторону Али, на ладони было красное пятно. Под ребрами, где средостение, у Али сделалось холодно, и сжалось, как будто изнутри захватили ледяными пальцами, сжали и продолжали сжимать.

Мама подняла папину голову выше, осмотрела затылок, провела по волосам и заголосила: кровь!

К горлу у Али подступила тошнота, во рту набежало кислое, было ощущение, что сейчас вырвет. Внутри продолжало сжимать ледяными пальцами. Аля схватилась руками за живот.

— Убийца, — закричала мама, — не стой: иди на кухню, принеси полотенце и воду!

Аля наклонилась, провела рукой у папы по затылку, пятно на ладони было яркое, той пугающей кровавой яркости, которая вызывает мысли о жизни и смерти одновременно, о жизни и смерти, расположенных так близко одна от другой, что переход к смерти представляется делом мига, мгновения.

Аля объяснила маме: хорошо, что выступила кровь, иначе могло бы произойти внутреннее кровоизлияние, могла образоваться черепная гематома. У них в школе у одного мальчика была черепная гематома. Мальчик умер.

— Убийца, — застонала мама, — иди на кухню, принеси полотенце и воду!

Когда Аля вернулась, папа сидел с открытыми глазами, смотрел в одну точку.

Аля взяла отца за руку:

— Папа, ты видишь меня? Папа, посмотри на меня.

— Не смей прикасаться к нему, — мать ударила Алю по руке. — Не смей прикасаться: он не хочет видеть тебя.

— Папа, — повторила Аля, — ты видишь меня? Посмотри на меня, папа.

Отец поднял глаза, зрачки, только что сплошь черные, уменьшались, как будто под действием света, Аля потрясла папину руку:

— Папа, ты видишь меня?

Папа не отвечал, было впечатление, он что-то напоминает, Аля наклонилась, прижалась губами к папиной руке, другая оставалась свободной, мама закричала: „Не смей!“ Аля,

напротив, еще крепче прижалась — и вдруг сверху, у Али было ощущение, что хряснул и раскололся череп, ударило Алю, ударило раз и еще раз, мама схватила Алю за волосы, оторвала от папиной руки и приказала: беги!

Аля когда подняла голову, увидела папино лицо — спокойные, без злобы, глаза, взгляд удивленный, как будто человек смотрит со стороны и пытается понять, что происходит, и отдельно, с чужого лица, улыбка.

— Дочка, — поманил отец пальцем, — подойди к папе. Подойди, папа зовет тебя.

— Не смей, — затрясла руками мама, — не подходи!

Аля подошла, обняла папу, наклонилась, чтобы поцеловать, и спросила:

— Папа, ты хочешь меня ударить? Папа, я поцелую тебя. Можно?

Папа не ответил, можно или нельзя, папа плюнул Але в лицо и тихо сказал:

— Я не хочу ударить — пусть ударяют тебя другие. Я хочу плюнуть в тебя, — сказал папа и опять плюнул.

В этот раз папа не попал: Аля увернулась.

— Вон, — закричал папа, — вон из моего дома! Я потерял, я все потерял — я уже не могу потерять. Вон, хуна!

Папа встал на ноги, мама повисла на нем, заголосила, ой кровь, ой, родная кровь льется, папа оттолкнул ее, бросился к Але и затопал:

— Хуна, ты приносишь людям несчастье! Ты не человек, ты ведьма, ты вурдалак — вон из моего дома!

Мама заломила руки и закричала, нет, это не его дом, это ее дом, ее квартира, она получила от своих родителей и дала этому ханыге, этому бандиту прописку. А теперь он гонит из дому родную дочь.

— Родную дочь! Родную кровь! — кричала мама.

— Родную дочь, родную кровь! — загоготал папа. — Родная дочь моя в Доманевке, в доманевской варнице вместе со своей мамой!

Глаза у папы сделались белые, зрачки ушли под веки, обеими руками папа схватился за голову, стал мотать из стороны в сторону и горько, как будто на похоронах, только что опустили родные тела в могилу, запричитал:

— Ой, моя Лизочка, ой, моя Ривочка! Ой, почему немцы не удушили нас вместе, ой, почему я должен жить! Почему я должен жить!

— Почему он должен жить! — Лицо у мамы покрылось пятнами, на шее вздулись вены, толстые, как жгут, припорошенные синькой. — Почему он должен жить! Иди, шикер, беги в Доманевку, там еще от немцев остались полицаи — они уложат тебя вместе с твоей Лизочкой и твоей Ривочкой!

Папа перестал мотать головой. Папа смотрел в сторону, как будто прислушивается, как будто слышит в первый раз и старается понять.

— Иди, — продолжала мама свое, — иди, никто тебя не держит, иди ложись вместе с ними и пусть тебе будет, как ты заслужил!

— Как заслужил? — спросил папа и опять стал прислушиваться, как будто в самом деле ждал от мамы объяснений, в чем его заслуги.

— Да, — повторила мама, — иди к ним, а мы с Алечкой тебе чужие. И ты нам чужой — всегда был чужой, и всегда будешь чужой, и до гроба будешь вспоминать свою Лизочку и свою Ривочку, как будто живешь с ними, а не с нами!

— Хуна, — папа улыбался спокойно, приветливо, — как ты смеешь равняться? Они же были тихие, как две козочки. За всю жизнь я не слышал от них громкого слова.

— Как две козочки! — хлопнула мама в ладони. — Люди

рассказывали, как ты всегда ходил в сраных подштанниках. И жаркое всегда было кислое, у соседей животы корчило.

— Сраные подштанники? Кислое жаркое? — удивился папа. — Тебе говорили люди? Кто эти люди? Покажи пальцем: кто эти люди?

— Все говорили. Все люди, — мама повела рукой вокруг себя, — весь мир.

— Все люди, весь мир? — опять удивился папа.

Мама успела повторить, да, все люди, весь мир, папа взялся обеими руками за стол, толкнул, от сильного толчка маму отбросило к стене, счастье, что стоял диван, ударилась головой о спинку, ножки стола уперлись в диван, папа продолжал толкать, мама тоже толкала, получалась пустая возня, ни туда, ни сюда, папа сообразил первый, вдруг присел, схватился обеими руками за ножки, опрокинул стол на диван, мама закричала, что задыхается, папа, от удачного своего маневра, пришел в восторг и стал кричать, что весь мир, все люди — бляди, и он всех выведет на чистую воду.

— Всех блядей — на чистую воду! — кричал папа.

На маму нашел столбняк, глаза выпучились, как будто внезапно поразила ее зобная болезнь, вздулись на шее вены, широко, вроде у греческой маски, раскрылся рот.

Мама умела строить гримасы. Аля знала: мама — мастер строить гримасы. Но в этот раз были не гримасы — в этот раз маме в самом деле было плохо.

Аля бросилась на папу сзади, повисла, обвила руками шею и стала колотить ногами по икрам. Папа продолжал цепляться за стол, Аля сжимала папе горло, наконец папа отпустил стол, схватил Алю за руки и пытался разжать. То ли от долгой возни папу забрала слабость, то ли Алины руки свело судорогой, но разжать Алины руки папа не мог.

— Змеюка, — хрипел папа, — отпусти! Вурдалак, отпусти!

Аля не отпускала, наоборот, руки, сами, по своей воле, сводились в кольцо, в узел, все круче.

— Отпусти, — хрипел папа, — отпусти, вурдалак!

Аля готова была, Аля хотела сделать, как просил папа, но руки не слушались, руки, как будто они были чужие, не Алины, продолжали сжимать папино горло.

— Отпусти! — Крик был глухой, издавека. — Ты задушишь его — отпусти!

Голос был мамин. Аля узнала: мамин голос. Мама схватила Алю за волосы:

— Отпусти, ведьма, ты его задушишь!

Освободясь, папа лег на стол — грудью, лицом вниз, разбросав руки в стороны — и так лежал, а мама с Алей стояли и смотрели.

Потом мама сказала папе:

— Встань, иди умойся.

Папа еще немного полежал, поднялся, посмотрел на жену, на дочь и тихо произнес:

— Дочь хотела задушить отца. Дочь хотела задушить отца. Лизочка, Ривочка, — папа воздел руки, — вы видели своими глазами оттуда: дочь хотела задушить родного отца!

И вдруг — никто не мог ожидать, такой только что был он слабый, немощный — папа схватил стул, и этим стулом стал крушить все вокруг.

— Спасите! — закричала мама. — Милиция! Вызывай милицию!

— Бляди! — кричал папа. — Всех блядей — на чистую воду!

— Гевалт! — мама высунулась в окно. — Милиция!

V

Аля побежала к телефону. Автомат был рядом с домом, на углу, сначала Аля осмотрелась, нет ли милиционера поблизости. Милиционера не было. Тогда Аля стала набирать номер по автомату, но все не получалось: то ли автомат был неисправен, то ли делала что-то не так.

— Руки дрожали, — сказал Макс, — пальцы не в то гнездо попадали.

Нет, покачала головой Альбина, руки не дрожали, пальцы попадали в нужное гнездо. Аля отчетливо видела: милиция — 02.

Макс удивился:

— Ты сама сказала, Аля делала что-то не так.

Нет, покачала головой Альбина, на секунду замерла, устремив глаза в окно, как будто всматриваясь, что там, за окном, и уверенно, решительно произнесла:

— Аля делала все, как надо. Автомат был неисправен. И мысль у Али была четкая: автомат неисправен, надо бежать в милицию.

— И Аля побежала? — спросил Макс, глаза были нехорошие, и голос был нехороший.

Аля, сказала Альбина, пришла с двумя милиционерами.

— С двумя? — удивился Макс.

С двумя, повторила Альбина. Аля рассказала в милиции про папу, как он придавил маму столом, как стал крушить мебель, посуду, всю обстановку — и дежурный лейтенант велел, чтобы с Алей пошли двое.

— Полный милицкий наряд, — засмеялся Макс. — Молодцы оперативники!

Альбина кивнула: полный милицкий наряд. Аля не захотела идти домой, объяснила милиционерам, как пройти, а сама осталась у ворот.

— Испугалась, — сказал Макс.

Альбина покачала головой: нет, не испугалась.

— Я не о том говорю: не о страхе перед кем-то, — глаза у Макса были под очками синие, с блеском, как будто крытые синим лаком, с черными цилиндриками по центру. — Себя испугалась.

Нет, опять покачала головой Альбина, не испугалась. Чувство было другое — не испуг, не страх.

— Стыд? — сощурился Макс.

И не стыд, сказала Альбина. Другое.

— Что же? — Макс смотрел в упор. — Не испуг, не страх, не стыд. Что же еще?

Альбина задумалась. Зеленые глаза сделались почти черные, черноты ночного неба, когда нет месяца, а весь свет — от звезд. И от этого звездного света, от мерцания звезд небо кажется еще чернее.

— Слушай, — воскликнула Альбина. — Ты был когда-нибудь в комнате, где покойник лежит второй, третий день? Летом, когда жара, духота, когда, сколько ни обкладывай его пузырями со льдом, идет от него этот сладковатый, приторный дух? У меня, когда первый раз я вдохнула, ноги вмиг сделались слабые, слабость была мерзостна, как этот дух. Но, самое главное, слабость была не только мерзостна, а была в ней — как бы это объяснить? — притягательность. Да, да, — обрадовалась Альбина, — притягательность. Хочется бежать немедленно от мерзостного духа, но тут же, задержав дыхание, понуждаешь себя остаться. Слабость доходила до того, что подкашивались колени. Но была в ней, в этой слабости, пропитанной сладостью мертвечины, тлена, притягательность.

Макс усмехнулся:

— Пробежка перед последним забегом. Инстинкт смерти.

— Инстинкт смерти? — пожала плечами Альбина. — Не

знаю. У Али, когда милиционеры пошли за папой, а она осталась у ворот, было вот это чувство: мерзостной сладости мертвечины, тлена, и слабость в ногах такая, что вот-вот упадет.

— И хотелось упасть, и хотелось не вставать, — кивал головой Макс, как будто разговор продолжался тот же, о пробежке перед последним забегом. — Но не упала: только хотелось.

Не упала, подтвердила Альбина.

— Ты прав, — повторила Альбина, — не упала. Милиционеры вышли из парадного, один впереди, другой сзади, между ними — папа, руки, как будто связали, заложены за спину. Соседи выложились через подоконники, дети — мальчики, девочки — сбились в подъезде. А папа... Эти глаза, если бы ты видел его глаза!

Как у мальчика, сказал Макс, как у ребенка, и Аля вдруг поняла: папа — мальчик, папа — дитя, папа — сын, у сына должна быть мама, у каждого мальчика должна быть мама.

— Перестань! — Альбина закрыла лицо руками. — Перестань! Палач! Дура, кому рассказываю — врагу рассказываю.

Макс встал сзади, прижал, ладонями под челюстью, голове Альбины к себе, к животу, наклонился, поцеловал под ухом, еще раз, с другой стороны, под ухом, Альбина съежилась, как будто прохватил внезапно озноб, и зашептала прерывисто, просительным голосом: не надо, сейчас не надо, прошу, милый, сейчас не надо...

Альбина закрыла глаза, под веками — то вибрируя, то крутыми толчками — бьются глазные яблоки. Щеки, напрягшись, внезапно начинают опадать, губы заходятся в трепете — молочные, розовые, детские, с трудом крепясь чтоб не поддаться, не зайтись в плаче — подбородок заостряется, на желтой, на шафранной коже проступают веснушки, едва намеченные, как крапинки на яичной скорлупе, пальцы, поначалу

подушечками, подушечками и ногтями, затем одними ногтями, впиваются Макс в спину, в поясницу, в позвоночник, лицо, внезапно переполненное кровью, делается пунцовое, тяжелое, между ресницами, как будто пойманы в сети, мечутся две трепещущие, две водяные змейки, змейки из других водоемов, из темных, из папоротниковых времен, — и Альбина заходится в долгом, в протяжном, с гортанным, с утробным вскриком, стоне.

Макс прижался щекой, стал притираться, Альбина отодвинулась и Макс сказала:

— Отодвинься.

С Манхэттэнского моста шло тяжелое, с истерической зудящей нотой, натужное гудение. Гудение прорывалось громыханием и лязгом, притупленным, приглушенным, без привычной пронзительности звуков, какая бывает, когда железо ударяется о железо. Громыхание и лязг шли от поезда подземки, который замедлял, до человеческого шага, ход, чтобы не доводить до опасного для пролетов моста, для его ферм предела колебательную волну, от которой мосты рушатся в воду.

С Ист-Ривер донеслись пароходные гудки: один — капризный, с петухом в голосе, другой — настырный, с сиплой, с басовой нотой.

— Пароходы, — сказала Альбина, — гудят здесь по-другому. В Одессе пароход, когда гудел, звал за собой, в море. А здесь — не зовет, здесь подает дорожный сигнал, как автомобиль.

Макс сказал:

— Подвинься ко мне. Ближе.

— Первое время, — засмеялась Альбина, — я думала, пароходы здесь не гудят. Только полиция гудит, пожарные и скорая помощь

Макс сказал, он тоже не слышал здесь паровозных гудков — сегодня, когда Альбина прислушалась, он тоже прислушался и услышал. Впервые. А до этого не слышал.

— Не рассматривай меня так, — нахмурилась Альбина. — Я не люблю, когда ты меня рассматриваешь так. Мне кажется, у меня что-то не так. Мне всегда кажется, у меня что-то не так.

— У тебя все так. У тебя все так, — сказал Макс, прижимаясь лбом к Альбининой щеке. — Ты лучше всех, ты красивее всех, ты чище всех.

— Повтори, — прошептала Альбина, — повтори, что я лучше всех, красивее всех, чище всех.

Макс повторил, Альбина слушала, на губах проступала — розовая по краю белесого, парного облака — улыбка. Макс провел пальцем по Альбининым губам, как будто хотел стереть, и покачал головой:

— Не стирается.

Альбина нахмурилась:

— Проверяешь? Ну?

Макс сказал: все — настоящее.

— Настоящее, — усмехнулась Альбина. — Но лучше проверить. И что: по-прежнему я лучше всех, красивее всех, чище всех? Ты не юли: да или нет?

Макс не отвечал, Альбина требовала — „Да или нет?“ — и сама сказала:

— Давай, Емеля: твоя неделя.

Макс приподнялся, оперся на локоть, положил палец на Альбинины губы и сказал:

— Это лишнее. Поверь мне: это лишнее.

— Что лишнее? — взвинтилась Альбина. — Что ты врешь и требуешь, как будто перед тобой дурочка, чтоб покорно повторяла за тобой: да, лучшая, да, самая красивая, да, самая чистая!

Макс сказал, он ничего не требует.

— Нет, — перебила Альбина, — ты требуешь. Ты не словами требуешь, ты всем своим видом требуешь: „Ах, какой я хороший, ах, какой я благородный, какой добрый!” А у самого на уме: „Сука! Какая же она — сука!”

— Прекрати! — сказал Макс.

— Ты прав, — еще больше взвинтилась Альбина. — Поганая, грязная, сука! Папу посадили на пятнадцать суток: пятнадцать суток они дают без суда. По указу за хулиганство. Две недели, пока держали папу в каталажке, Аля то с Эдиком, то с Сашкой — полная себе королева. Эдик всякий раз канючил: „Ну, давай, ну чего — все равно поженимся”. А Сашка, тот заладил, и как дятел: „Ты была с ним? Была?” И сам отвечал: „Была!” И тут же опять: „Была? Не была?”

Макс спросил:

— А все-таки: была?

— Не была! — закричала Альбина. — А тебе-то чего: была не была — какая разница! Сто лет прошло. Вечность. Галактики, туманности — в тартарары летят!

Макс пожал плечами: при чем здесь галактики?

— Ни при чем. А ты при чем? — вскинулась Альбина. — И ты ни при чем. Ненавижу, всех ненавижу.

Альбина схватила Макса за руку, прижала ладонью к груди и, прижимая, тихонько засмеялась:

— Ненавижу — это не за себя, это — за Альку. Ну чего ненавидеть? За что? У каждого свое... своя галактика, своя туманность.

Макс обнял Альбину, поцеловал под носом, над верхней губой, Альбина рукой отвела его голову и мечтательно, как будто весь разговор, все мысли об этом, спросила:

— А галактики, туманности — это что: звезды, звездная пыль? А звездная пыль — что? Как наша пыль, на земле?

Макс сказал, пыль, но другая.

— Не надо, — махнула рукой Альбина, — не хочу слушать: неинтересно. Земная пыль, неземная пыль, как говорила Лина, мне без разницы.

— Без разницы, — согласился Макс.

Альбина сощурила глаза:

— Лину помнишь? Алина подружка, которую Эдик и Саша звали с Алей на чердак, а она не пошла: мамы боялась. У Лины тоже дома был ад. Лина дружила с Гургеном, Григорянц фамилия, армянин из высшей мореходки. Лина рассказывала Але: „Я беременна. Гурген говорит: не надо аборта, переходи в вечернюю школу, как-нибудь доносишь до аттестата зрелости. Я говорю ему: а папа, а мама? Ничего, говорит Гурген, проглотят. Представляешь себе: проглотят! Кошмар.” Аля сказала Лине: чего торчать в Одессе — махнем на Кавказ. Отцу подходил срок домой: два дня оставалось. Лина пришла в ужас: „Как махнем? Паранты с ума сойдут!” Аля сказала: не сойдут, старики — они крепкие, войну выдержали.

VI

Билеты взяли до Керчи. Ехали четвертым классом — на палубе. Легли валетом, на полу. Под утро холод так забрал — зуб на зуб не попадал. Лина предложила: давай в обнимку, друг о друга обогреемся. Аля отказалась. Лина скривила губы: почему? Противно, что беременная девка рядом? Беременность ни при чем, сказала Аля, просто не могу. Лина обиделась: не можешь, так и валетом не будем — врозь ляжем.

Легли врозь. Лина держала характер, пробрало до костей, видать, как тело ходуном ходит — а лежит, ни звука.

Аля первая сказала: ладно, пусть будет по-твоему. Лина

не сразу откликнулась, продолжала играть обиду. Ладно, повторила Аля, давай рядом, а то одной невтерпех.

Легли рядом, Лина сразу в обнимку, дышит в лицо, трется коленками, кричит от удовольствия. Аля терпела-терпела — не выдержала: нельзя, что ли, спокойно, лежать, обязательно тереться?

От чужого дыхания, от возни замутило Алю, затошнило, как будто приступ морской болезни.

— Укачало меня, — сказала Аля. — Я встану. Сейчас вернусь.

Стоя у борта, Аля корила себя: что за малодушие, почему не сказать правду? Почему не сказать прямо: мне дыхание твое, тепло твое претит. Я из жалости, чтоб другому обиды не было, себе наперекор, по чужой воле, по чужому желанию поступаю.

Вода была черна тяжелой, литой чернотой, как будто сгустили черный свет, как сгущают, до жидкого состояния, газ, и вот, сгущенный, свет плещется, ударяется о борт. Аля представила себе дно, мысленно высветила его дневным светом, но получилось другое, не здешнее, а вроде из аквариума дно, здесь же дна не было — была чернота, бездна.

— Господи, — Алю внезапно прохватил ужас, — где я, что я!

Это не был вопрос, Аля не ждала ответа, это был ужас перед чернотой, перед бездной, где нет опоры, не к чему приклониться, не к кому воззвать.

Аля отпрянула от борта, как будто оттуда, из черноты, с силой толкнули ее в грудь.

— Что с тобой, — закричала Лина, — ты падаешь!

Аля дрожала, Лина обняла ее, сказала, пусть ляжет, наверное, закружилась голова. Это бывает, когда долго смотришь с судна на воду и забываешь, что смотришь с судна.

Аля прижалась к Лине, лицом к груди, сверху, в темя, упирался Линин подбородок, у Али было ощущение, через темя, где Лина терлась своим подбородком, идут по всему телу токи, токи изгоняют озноб, возвращают телу его тепло, отнятое чернотой, бездной.

Когда легли, Аля сказала Лине:

— Все в порядке. Я вернулась.

Альбина объяснила Макс: это у Али бывало часто — чувство, как будто она возвращается. Место, из которого она возвращалась, не отделялось расстоянием: оно отделялось временем. Но время было другое, не наше, не здешнее время, которое делится на минуты, на часы, на дни. Это было время вообще — не расчлененное, не выделенное.

Макс спросил: что это значит — не расчлененное, не выделенное? Может, это было не время?

Альбина удивилась: не время? а что? Нет, уверенно произнесла Альбина, это было время — из других миров, где реинкарнировалось Алино „я“.

Макс сказал: перестань. Альбина пожала плечами: почему перестань? Каждый человек знает, что он уже был — много раз был и еще много, бесчисленно много раз будет.

Макс поморщился. Альбина сказала: как разговаривать с человеком, который корчит рожи? Аля чувствовала, Аля всю жизнь чувствовала, что возвращается...

— Понимаешь, — Альбина сжала пальцы в кулак, — возвращается. Откуда возвращается?

Макс переспросил: откуда возвращается? Ниоткуда не возвращается: у человека, в каждую физическую единицу времени, которую показывают часы, есть десятки своих, нутриных, субъективных ординат времени. Они сочетаются с ординатами и абсциссами пространства, которые прочерчивали всю жизнь человека, с колыбели. Жизнь — это опыт, опыт —

это воспоминание. Убери воспоминание — ничего от человека не останется. Человек — это воспоминание о самом себе.

Альбина закрыла уши ладонями:

— Замолчи! Умолкни! Причем здесь воспоминание о самом себе? Аля возвращалась — возвращалась из других миров. Тысячу раз на день возвращалась: то там, то тут, то где-то...

— Где? — спросил Макс. — Объясни: где?

Нигде, сказала Альбина. Человеку, когда он не хочет понимать, объяснить нельзя.

Альбина засмеялась:

— Ты же сам говорил: прямая — след движущейся точки в пространстве. А что такое точка? Точка — не реальность, точка — фикция. Фикция, — Альбина замахала руками, — движется в пространстве — и получается прямая, реальность. Это же цирк!

Макс закрыл глаза: ладно, Аля возвращалась из других миров. Воротясь к Лине, ощутив ее тепло, она обнаружила в себе...

Альбина схватила Макса за руку:

— Ты догадался?

Обнаружила в себе, продолжал Макс, девочку с Лесбоса — в тунике, с грудью, с тугими сосками, как две половинки лимона, обращенные торцами вперед.

Альбина — обеими руками, как будто амфору — взяла голову Макса, склонила влево, вправо, глаза ее сделались черные, с базальтовым блеском, губы, с парным, молочным, как у детей, налетом, подрагивали, у Макса защемило под ложечкой, Альбина покачала укоризненно головой:

— Ты не бойся, не бойся — все будет, как ты хочешь. Всегда будет, как хочешь. Главное — не бойся. И за меня не бойся.

— Боюсь, — сказал Макс, — не знаю чего, но боюсь.

— Слушай, — Альбина ударила себя ладонью по коленке, — ты накличешь, ой, накличешь! У тебя дурной глаз. Ты не знаешь, а я знаю, я чувствую: у тебя дурной глаз.

Макс обнял Альбину, чуть отстранился, чтоб лучше видеть, Альбина закричала — вот, вот, дурной глаз! — сама прижалась к Максy, сказала, уютно, так уютно, так бы всю жизнь, тут же оттолкнула Макса, опустила голову, было впечатление, что испортилось вдруг настроение — это у нее бывало: вдруг, ни с того ни с сего, портилось настроение — и шепотом, как будто боясь постороннего уха, спросила:

— Ты замечал: когда лежишь на палубе, когда плывет на тебя чернота, плывут звезды, чувство такое, как будто там, над головой, море, а ты — в небе. В пространстве.

Да, кивнул Макс, замечал. Именно так: не в небе — в пространстве.

— Лина, — сказала Альбина громко, — поцеловала первая. Она сказала: Аля, я поцелую тебя. Аля прижалась к Лине, Лина расстегнула кофточку, велела Але, пусть тоже расстегнет, сосками притерлась к соскам, захватила губами Алины губы, завела между ног Алину руку и стала елозить. Над головой качалось черное, в звездах, небо, Лина велела Але, пусть сбросит джинсы, пусть откроет живот, она ляжет сверху. Аля сказала, пусть Лина сама стянет с нее джинсы, повернулась на спину, приподнялась, опираясь на ступни, на лопатки, чтоб Лине было удобнее. У Али было ощущение, это не Лина стаскивает с нее джинсы, Лина не кричит так, не делает таких движений, двумя руками враз, с отставленными, по-мужски, локтями. Лина навалилась на Алю, завела руку под себя, Аля внезапно, в паху, как будто с силой ткнули палкой, торцом, почувствовала резкую боль, схватила Лину за руку, пусть уберет, закричала, пусть немедленно уберет, Лина ударила Алю по лицу, приказала Але, пусть замолчит, а то разорвет, разорвет у нес

всю... Лина сказала гадкое, мерзкое слово, и продолжала говорить гадкие, мерзкие слова, и твердила, что Аля понесет, и будет с брюхом, и брюхо будет расти, и все будут тыкать в ее сторону пальцем: брюхатая, брюхатая, брюхатая!

Макс засмеялся: Альбина говорила с армянским акцентом, разводила руками и гримасничала, как будто изображала человека из Еревана.

— Перестань смеяться! — закричала Альбина. — Думаешь, Аля сошла с ума? Аля не сошла с ума, Аля испугалась: Лина выкрикала страшным, гортанным голосом, с армянским акцентом, захлебываясь и размахивая руками. После каждого движения она произносила непотребное слово и требовала, чтоб Аля повторяла за ней. Аля отказалась, тогда Лина опять ударила ее по лицу и закричала, как безумная: „Слушай, я разорву у тебя всю ... Давай повторяй, давай говори!”

— И Аля стала повторять? — спросил Макс.

— И Аля стала повторять, — сказала Альбина. — И было гадко, мерзко. И было удовольствие.

— Удовольствие? — переспросил Макс. — Отчего же удовольствие?

— Не знаю, — Альбина пожала плечами. — Помнишь, у Лины был этот армянин, Гурген? Але показалось, это не Лина, это ее Гурген говорит все эти слова и требует, чтоб Аля повторяла за ним. Лине было больно. Лине надо было, чтоб Але так казалось. И Але стало в самом деле казаться.

Макс спросил: Аля знала Гургена? Альбина покачала головой: Аля не знала Гургена. Макс спросил: и не видела? Альбина сказала: не видела. Макс нахмурился: бред!

— Бред! — повторил Макс. — Делирий!

— Лине, — сказала Альбина, — было больно. Надо было помочь Лине, чтоб уменьшить боль, чтоб не было так больно...

Слушай, взвинтился Макс, а про Алю, про Алю кто думал!

Альбина пожала плечами: у каждого своя карма — карму не выбирают.

VII

С горы Митридат видна была Тамань. Тамань — кавказский берег. Аля всплеснула руками: Кавказ! Лина пожала плечами: Кавказ и есть Кавказ.

Аля встала лицом к морю, протянула вперед обе руки:

Я через овиди степные
Тянулся в каменистый Крым —
Там, где кончается Россия
Над морем черным и глухим!

Лина спросила: твой? Нет, сказала Аля, Осип Мандельштам. Лина удивилась: а книгу где взяла? Аля объяснила: книга у Саши, в папиной библиотеке. Лина скривилась: папина библиотека!

— Почему ты злишься? На кого ты злишься? — спросила Аля.

— Ни на кого не злюсь, — сказала Лина. — Дурачков не люблю.

— Не любишь, — пожала плечами Аля, -- не люби. А злиться зачем?

— Слушай, — сощурила глаза Лина, — ты брось институтку делать! Брось юродивую работать! Я тебе тогда ночью по морде дала. Ты почему терпела? Почему не разбила мне морду, почему за борт не выбросила! Я ждала: вот, сейчас Алька даст мне по морде, сейчас выбросит в море — и дело с концом. Ты же сильнее меня, ты же на турнике солнце крутишь!

— Лина, — Аля смотрела на Лину, глаза сделались совсем круглые. — Лина!

— Ты не делай круглые глаза! — закричала Лина. — Ты не делай круглые глаза: я знаю, ты меня пожалела, ты сделала, как я хочу, потому что мне надо уступать — эй, уступите место беременной женщине, уступите место будущей матери, уступите место брюхатой!

Лина расплакалась, Аля подошла, хотела обнять, Лина увернулась, закричала дурным голосом:

— Не подходи! Я ненавижу тебя: ты стукачка, ты сексота, ты на родного отца донесла! Отца родного заложила! Подлая, подлая!

Аля всхлипнула, как будто вдруг не хватило воздуха, побледнела, зеленые глаза сделались желтые, желтизна была степная, камышовая, Лина всплеснула руками: „Ты не человек — ты вурдалак, ты степная, камышовая!”.

— Да, — кивнула Аля, — я ведьма: я посадила родного отца — меня надо убить. Убить, как убили Павлика Морозова. Я — гадина. Меня надо убить.

— Давай, — радостно закричала Лина, — стучи кулаком в грудки!

— Я не только посадила отца, — сказала Аля. — Я подняла руку на отца. Я ударила отца. Ударил. Меня надо убить.

Аля подошла к обрыву, впереди, где взошло солнце, лежала кавказская земля, Тамань, в висках у Али, как будто ударяли молоточком, стучало: Тамань-Тьмутаракань, Тамань-Тьмутаракань!

— Тамань-Тьмутаракань! — крикнула Аля, взмахнула руками, Лина ахнула, хотела броситься, подхватить, но ступни, ноги, все тело приросло к земле, не оторвать, не шелохнуться, Лина закрыла руками лицо, горло, поперек, перетянули

резиновым жгутом, в ушах поднялся звон, звон был черный, душный, звуки шли снизу, из земли, внезапно, раздался грохот, звон прекратился, Лина открыла глаза, Али не было, у Лины оборвалось сердце, все, конец, Лина упала на колени, перекрестилась — помоги, Господи, смилуйся, Господи! — так, на коленях, доползла до обрыва, глянула вниз, Аля, руки раскинуты, лежала навзничь, с открытыми, в небо, глазами, Лина закричала диким голосом:

— Аля!

Когда Лина очнулась, Аля сидела рядом, склонясь над ней, проводила, как слепая, как будто изучает, пальцами по лицу и тихонько приговаривала:

— Испугалась, испугалась, испугалась...

Все тело — руки, ноги, спина, шея — болело, словно побили палками, Лина оперлась на локти, хотела присесть, не смогла — свалилась.

— Укрой, — пробормотала Лина, — укрой меня: холодно.

Аля покачала головой:

— Тебе не холодно. Это не холод, это — нервный озноб. От страха. Испугалась, — повторила Аля, — за меня испугалась. Любишь, значит. Любишь — потому испугалась.

— Ты сволочь, Алька, — сказала Лина. — Я же беременная, беременных нельзя пугать: ребенок зайкой будет.

— Зайкой? — обрадовалась Аля. — Ну, пусть зайкой. Это хорошо, это трогает, когда ребенок заикается. Заик жалуют. Если бы я была зайкой, меня бы жалели. Не говорили бы: ты продала, ты посадила родного отца, ты трусливая гадина, тебя надо убить. Не толкали бы к обрыву: бросайся — тебя убить надо.

Лина взяла Алину руку, приложила к щеке:

— Ударь, ну, ударь!

Аля покачала головой.

Лина повернула голову, подставила другую щеку:

— Ударь, ну, ударь... ударь, говорят тебе!

Аля отвела руку, будто замахивается и тут же опустила:

— Нет. Нет!

Лина зажмурила глаза, в уголках выступили слезы:

— Ты сволочь, Алька, ты мотаешь душу. Зачем ты кричала это: „Тамань-Тьмутаракань”? Ты на самом деле хотела броситься? Или притворялась? Тьмутаракань — это что?

— Тьмутаракань, — сказала Аля, — это царство. Или княжество. На Тамани. Там жили евреи. У них был полководец, Песах звали. России тогда не было. Россия потом, позже возникла. Песах победил какого-то славянского князя. Или варяга. Тогда все перепутано было.

Лина взяла Алю за руку, повернула ладонью кверху, погладила:

— Ты умница, Алена, ты хорошая.

— Саша рассказывал: на Тамани оставались следы евреев еще в XVIII веке, при Екатерине. Могилы сохранялись. Евреи, когда отступали от своего Бога, поклонялись идолам. Саша говорил, что нашли остатки каменного Ваала, Астарты, ханаанских богов. Им приносили жертвы. Я, — Аля прищурила глаза, как будто всматривается, — я видела, как приносили жертвы.

Лина схватила Алю за руку, под локтем:

— Прекрати, Алька!

— Я видела, — повторила Аля. — Я была там, с ними, когда приносили жертвы.

Лина отдернула руку, осмотрела пальцы, на пальцах была кровь:

— Кровь! — воскликнула Лина. — У тебя на руках кровь: ты разбилась!

— Они одеты были в шаровары, в халаты, на голове тюрбан, — Аля задумалась, — нет, не тюрбан, а чалма. Так, —

кивнула Аля, — у одних тюрбан, у других — чалма. Я была с ними. Там был мальчик, каштановые волосы, синие глаза. Он смотрел на меня. Он хотел меня.

— Прекрати, Алька! — закричала Лина. — Не юродствуй!

— Наступила ночь, — продолжала Аля. — Звезды на небе сверкали, как алмазы. Мальчик сказал мне: „Ты моя роза, ты отрада очей моих. Пойдем”. И я пошла. Мы пошли. В ту ночь я понесла. Сына. Где мой сын?

Лина схватила Алю за кисть, вонзилась, у запястья, ногтями, тряхнула изо всех сил:

— Замолчи, умоляю, замолчи!

— Я не знаю, где мой сын. Я искала сына, — сказала Аля. — Я помню: у меня была встреча с ним. Я не узнала его, он не узнал меня. И мы были — мы были, как муж и жена.

— Дура, — возмутилась Лина, — а возраст, возраст!

Аля запрокинула голову, зажмурила глаза:

— В той жизни мы были одного возраста. Потом мы встретились опять: он был старше меня, он меня обманул, он сказал, что женится — и обманул. Я ненавидела его. Однажды, он спал, я выколола ему глаз. Я пошла к отцу и сказала: я выколола человеку глаз, этот человек — мой сын. Он обещал, что женится — и обманул. Отец открыл один глаз, другой оставался закрытым, и сказал: „Ты мне выколола глаз”. Отец сказал: „Напой меня вином, я буду без памяти, и ты придешь ко мне, и будет продолжение нашему роду”. Я была с отцом, и понесла. Отец спал, я хотела выколоть у него второй глаз, я хотела ослепить его. Я передумала: я разбила, каблукom, у отца в паху, между ног. Он катался по полу, он извивался, он кричал. Если бы ты слышала, как он кричал! Сбежались соседи. Они говорили: вот, дочери живут с отцами — и предают отцов!

— Аля, — сказала Лина, — Аля, я люблю тебя. Тебя все

любят. Ты хорошая, ты самая хорошая: не терзай себя, не выдумывай, не мучай.

Лина привстала, протянула руки, хотела обнять, Аля вскочила, оттолкнула Лину:

— Не прикасайся ко мне. Ты тупая, ты жестокая: я открыла тебе душу — ты плюнула мне в душу. Ты ненавидишь меня!

Лина всплеснула руками:

— Алька, ты с ума сошла! Ты рехнулась! Я люблю тебя, вот, — Лина перекрестилась, — вот, Богом клянусь!

— Каким богом? — спросила Аля. — Твой папа — русский, мама — еврейка.

— Неправда, — перебила Лина, — мама не еврейка, мама наполовину!

— Я спрашиваю: каким богом? Распятый? Вы забрали его у нас: он — еврей, он обыкновенный еврей. Я помню его. Он у меня вот где, — Аля показала на свой живот, — он у меня здесь.

Лина захохотала, как полоумная:

— Алька — богоматерь!

Аля сказала:

— Я не богоматерь, у Бога нет матери. Я ему, сыну — мать.

— Не кощунствуй, — замахала кулаками Лина. — Хочешь сходить с ума — сходи. А кощунствовать не дам! Все — ваше, все — вам. У, поганое семя!

Аля смотрела на Лину, глаза были круглые, зрачок — во всю радужку: одна чернота.

Лина вдруг расплакалась, схватилась за голову:

— Господи, что я несу! Прости, Алена, прости: хочешь — на колени встану.

Аля протянула правую руку вперед, указательный палец книзу, к земле, и приказала:

— Встань.

Глаза у Али сделались желтые, камышовые, с черным, сверлящим, по центру, где зрачок, стержнем. Лина сделала движение, чтоб встать на колени, замешкалась, тело дрогнуло, как будто надломилось, Аля протянула вперед левую руку, развела пальцы и повторила:

— Встань!

Лина опустилась на колени, голову задрала кверху, перед глазами, во всю ширь, синева, по синеве — нити, бурое с красным, нити вьются, извиваются, полосуют синее небо, Лина раскрыла губы, то ли крикнуть, то ли больше воздухом глотнуть, Аля медленно, прижимая Лину к земле, опускала руки, невыносимая тяжесть давила на темя, глаза пустели, стекленели, пальцы у Али дрогнули, свесились к земле, как будто обессилели, Лина еще больше раскрыла губы — хотела крикнуть: я падаю, держи меня! — и рухнула.

Аля подошла, ткнула носком туфли Лину в бок, присела на корточки, повернула Лину на спину, выпрямила тело, руки вдоль туловища, хлопнула по щеке, по одной, по другой, Лина открыла глаза, удивленно посмотрела на Алю:

— Где я?

— Где мы? — сказала Аля. — Тамань-Тьмутаракань: ты-ща лет назад.

VIII

Археолог Сева объяснял Але: понтийский царь Митридат VI Евпатор — харизматическая личность. Два числа — двадцать два и восемьдесят тысяч — определяют его харизматичность. Двадцать два — число языков, которыми владел царь Митридат. Восемьдесят тысяч — число италиков и римлян,

которые были умерщвлены в один день по его приказу, в Анатолии. То, что в быту именуется жестокостью, в истории называется необходимостью, целесообразностью, прогресс. В Афинах царь Митридат поставил у власти учителя философии Аристиона, ненавистника имущих. Охлос, толпа, наводнил Афины ужасом и страхом. Это была демократия.

Сева присел на корточки, расковырял пальцем в земле лунку, вытащил желтую кость, положил на ладонь и сказал:

— Кость любимого осла царя Митридата. Желтое — цвет времени. Аля, — сказал Сева, — у вас желтые глаза: вы — древняя. Из какого племени приходите?

Аля пожала плечами: папа, мама — евреи.

— Иудейского, — кивнул Сева. — Вы — древняя. Вам любопытно будет узнать: одесский археолог Стемповский, современник Пушкина, коллега поэта по канцелярии графа Воронцова, полтора-два столетия назад в здешних местах обнаружил иудейское кладбище. Судя по датам смерти, иные из иудеев жили под Керчью — античный Пантикапей — во времена Юлия Цезаря, позволю себе уточнить, первый век до Рождества Христова. На Тамани, в Фанагории, — Сева повел рукой к востоку, — тоже обитали ваши соплеменники.

— Я знаю, — сказала Аля.

— Я знаю, — сказал Сева, — что вы знаете. Аля, что сохранила ваша память из тех веков?

Аля подняла высоко брови:

— Вы знаете! Откуда?

Сева протянул руки вперед, повел в стороны, как будто раздвигает пространство, и громко произнес:

— Оттуда!

Археолог Гена собирал с Линой черепки; показывая Лине свои находки — она вскрикивала: ах, прелесть! — он объяснял:

в осколке греческой амфоры чистота и правда линий, какие, однажды потеряв, человечество никогда не обретет вновь.

— Возьмите, — сказал Гена, — возьмите, Лина, этот черепок, спрячьте в карман, глубоко-глубоко, ибо тати окружают нас яко денно, так и в ночи. Этому черепку две с половиной тысячи лет, или, что то же, двадцать пять веков. Повторите...

Лина спрятала черепок глубоко-глубоко в карман и повторила:

— Две с половиной тысячи лет, или, что то же, двадцать пять веков...

Вечером ели чебуреки, запивали вином и смотрели, как обволакивается дымкой Тамань, кавказский берег. Желтый челн — молодой месяц, только что снятый с минарета и выкрашенный в флуоресцентную желтую краску — покачивался между облаков в небе, зарываясь то носом, то кормой.

Гена вынул из пачки сигарету, развернул аптечную бумажку с зеленым порошком, шилом перочинного ножа затолкал несколько крупинок в сигарету, закурил, сделал глубокую затяжку, передал Севе, тот сделал две затяжки, протянул сигарету Але, Аля покачала головой, она не курит, и спросила: почему одну сигарету курят вдвоем, теперь такая мода? Сева сказал, да, мода, но надобно уточнить: этой моде четыре или пять тысяч лет. А может, добавил Гена, еще по нулю справа. Но все равно, это тьфу, мгновение, сравнительно с возрастом нашей матери Геи, русским именем Земля.

Лина протянула руку за сигаретой:

— Я хочу.

— Хоти, дитя, — сказал Гена, — и знай: черепки, которые найдены сегодня тобою, отыщут друг друга и соединятся, через тебя, в амфоры, завещанные на хранение нам античными гончарами.

Сева зажмурился, сложил ладонь к ладони, руки, выпря-

мился, сидя на земле, как дервиш у ворот города, и пробормотал:

— Старик, посвяти отроковиц. Передай курево Але: не бысть ей сотой овцой. Не среди искомым — среди ищущих обретаться ей.

Аля закурила. Запах был странный: сыроватость погребба, который давно, а может, никогда, не проветривался. Принюхиваясь, Аля обнаружила: есть в этом запахе нечто от преющей, никогда не просыхающей травы, наваленной кое-как в кучу.

— Пахнет лежалой травой, — сказала Аля.

Сева сладко потянулся и кивнул головой:

— Угу. Девочки и мальчики курят травку. Девочки и мальчики лежат на травке. Травка мятая. Травка лежалая. Травка возлежалая.

Лина захихикала:

— Угу. Мятая. Лежалая. Возлежалая.

Развели костер. Аля сказала, она пойдет собирать хворост. Аля поднялась, ступила правой ногой, ступила левой ногой и объяснила себе: теперь надо опять правой, опять левой. Аля засмеялась и сказала: я глупая, я разучилась ходить.

Гена бормотал:

— Дети разучились ходить. Папы, мамы, ваши дети разучились ходить.

Гена развернул спальный мешок, разложил на земле, взял Лину за руку и пробормотал:

— Ходить — врозь, стоять — врозь, спать — вместе.

Сева замотал головой:

— Отец, не темни: ходить — врозь, стоять — врозь, спать — врозь.

Лина полезла в мешок, затянула под челюстью шнуровку и — то ли в страхе, то ли в розыгрыш — испуганно закричала:

— Ой, держите, плыву!

Гена схватил Лину за ноги:

— Плыви, дитя, к неведомым берегам!

Аля повторила, она пойдет собрать хворосту, положила Севе на плечи руки и сказала:

— Не отпускай меня: страшно.

Сева притянул Алю к себе:

— Не отпущу.

— Отпусти, — закричала Аля, — я ничего не понимаю, но я все понимаю: отпусти!

Сева не отпускал, Аля укусила Севину руку, Сева протянул вторую руку:

— Кусай, Цирцея!

Аля не укусила, Аля сделала шаг назад, в упор посмотрела на Севу, голова его сместилась влево, как будто не из шеи, как будто из левого плеча росла, Аля выпрямила руки, Сева закричал: „Пощади! Не обращай!“ — хрюкнул и свалился наземь.

Гена, забираясь к Лине в мешок, крикнул: „Чада, об чем тарарам затеяли? Аль заколдобилось?“

Лина засюсюкала, как будто только что из детского сада, считалочку принесла:

— Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь!

Аля, повернувшись к Лине спиной, крикнула:

— Лина, не смей!

— Ай, — взвизгнула Лина, — больно! Серенький медведь, ай, больно!

Аля присела на корточки, зажмурилась, обняла голову руками, перед глазами, с такой силой прижала, поплыли огненные кольца, внезапно кто-то схватил за плечи, захрюкал под ухом и вслед, человеческим просительным голосом, произнес:

— Цирцея, расколдуй!

Аля открыла глаза, вскрикнула:

— Ты!

— Я, — мотнул головой Сева.

Аля заплакала, Сева сказал, пусть дева вытрет слезы, пусть смотрит сухими глазами: слезы в этом мире не более капли воды в океане.

Аля обняла Севу, спросила: „Ты притворялся: я не заколдовала тебя?“ Сева сказал: „Ты расколдовала меня“, — раскатал спальный мешок, предложил Але, пусть ложится, лучше с головой, а то ночью сырость, холод — простудится.

Аля спросила:

— А ты?

Сева сделал рукой стоп: он посидит у Алиных ног, постережет.

Аля зажмурилась:

— Сева, можно я тебя поцелую?

Сева мотнул головой: нельзя, целовать строго воспрещается.

— А я хочу! — топнула Аля, схватила Севу за голову и поцеловала.

Лина крикнула мальчикам, девочкам, что пора бай-бай: ложиться с птицами — вставать с птицами. Аля заткнула уши пальцами

Сева нахмурился:

— Отвори, дева, слух: всякий звук — божий звук. Не гнушайся.

Небо было черно-синее, с звездной россыпью и клубами паровозного серого дыма, края которого, вблизи месяца, высвечивались почти до белизны молочного пара, а затем, по мере удаления от месяца, вновь обращались в паровозный серый дым.

Аля сказала:

— Как светло в небе. Откуда столько света?

— Космический свет, — сказал Сева. — Гера брызнула из своей груди, молоко расплескалось по небу, люди дали имя: Млечный путь.

— Уйдем отсюда, — Аля кивнула в сторону Лины и Гены. — Уйдем от них.

Сева раскрыл мешок, сказал Але, здесь ее дом на всю ночь, до утра. Утро вечера мудренее: проснется — все по-другому будет.

Лина опять, как раньше, когда только легли с Геной, вскрикнула: „Ай, серенький медведь, больно!”

— Идем, — Аля схватила Севу за руку, — идем отсюда!

Сева повторил, пусть Аля ползает в свой мешок, в теремок, а что до прочего — забудем большой-пребольшой болт, вот такой ширины, вот такой вышины.

Лина завывала по-дурному, Гена зарычал, Аля заткнула уши и так, держа пальцы в ушах, побежала по тропинке в темень.

У поворота начинался обрыв, среди камней тропинка тянулась до самого подножия Митридата, Сева крикнул Але, там опасно, обрыв, Аля и сама увидела, ударилась коленями о валун, перелетела через него и — счастье — застряла между коряг. Сева сказал, Аля в рубашке родилась: тут такой бифштекс отбить ей — никакая больница не примет.

Аля заплакала, Сева поднял ее на руки, сказал, вынос трупов с двух до четырех, а пока будем зализывать раны.

Аля задергала ногами:

— Опусть меня на землю — я тяжелая.

Сева сказал, не на землю, а в землю, если Аля не перестанет дергаться: воротимся на стойбище — тогда хоть на все четыре кости.

— Вот, — Сева, подал Але тампон, вату, пузырек с иодом, — наводи косметику. Но сначала протрем спиртом: подставляй ручки-ножки — я сам протру.

Аля тихонько заскулила: ой, больно, печет! Это хорошо, что печет, сказал Сева: только покойничкам не печет, а живым — всегда печет.

— Ты палач, — сказала Аля.

— Палач, — подтвердил Сева.

— Ты добрый палач, — Аля схватила Севину руку, прижала ладонью к щеке и чмокнула.

— Фу, — сплюнул Сева, — холопская страсть — лобызать барскую руку.

— Дурак, — сказала Аля, — ты, Сева, хоть археолог, а дурак.

— Дурак, — согласился Сева. — Я с тобой возжаюсь, а мне, чуть что, растление малолетних пришьют. Тебе сколько: шестнадцать, семнадцать? Семнадцать. Ну, это везуха, что старший брат, русский, поднес подарочек — татарскую землю, Крым — меньшому брату, украинцу. По киевским законам, как шестнадцать стукнуло дивчине, так в матуси пора подаваться.

Аля сказала Севе, он среди своих черепков и костей разучился по-человечески говорить.

— Наблюдение, — кивнул Сева. — Наблюдаешь, дитя. А отгадка проста: в какое зеркало смотришься, такие рожи и корчишь.

Аля не поняла:

— Какое зеркало?

Сева пожал плечами:

— Те двое, к примеру, — Сева кивнул в сторону Гены и Лины. — Или ты. Я как с вами разговариваю? По завету апостола Павла: с каждым на его языке.

Аля нахмурилась:

— Ты притворяешься? Ты лицемер?

— Ну почему лицемер, — удивился Сева. — Дорога у каждого своя, я ищу перекресток: в этой точке я могу говорить с гомо на его языке, ибо иной язык ему — немота. А перекресток — лингва франка, гибрид, язык для всех.

У Гены и Лины зажегся огонек. Сева сказал, у счастливых перекур, сделаем затяжку от их счастья, пошел к огоньку, в двух шагах остановился, потопал ногой и спросил: кто там, в теремке, можно? Из теремка ответили, можно, и пригласили внутрь: заходи, путник, — где двоим место есть, для третьего найдется. Путник сказал, он так, на огонек завернул, из теремка схватили за ноги и в два голоса — мужским и женским — потребовали, чтоб сам принял здешний кров и спутницу свою призвал. Путник твердо ответил: не призовет, и сам не останется, ибо грядет суд нечестивым.

В теремке испугались и хором ахнули: ах! Дали путнику на дорогу травки и сказали, пусть благословен будет миром, но мира ему не будет, ибо возгордился.

Аля спросила: почему так долго не возвращался, о чем разговор был? Сева ответил, сама, чай, слышала. Аля сказала, не все слышала, отдельные слова слышала. Сева махнул рукой: много будешь знать — скоро состаришься.

— Трус, — закричала Аля, — жалкий трус!

Сева свернул трубочку, затянулся, передал Але:

— Вдохни, дева: как говорили древние, ин херба веригас — в травке истина.

— Думаешь, я дурочка! — вскинулась Аля.

— Ты не дурочка, — сказал Сева. — Вдохни.

Аля затянулась, перевела дыхание, затянулась еще раз, Сева объяснил, не следует сразу выпускать дым, надо подержать в горле, в гортани, пропустить в легкие, чтоб кровь

насытить — иначе убогая самостоятельность: и смотреть тошно и бранить зазорно.

Аля осмотрелась, подняла глаза вверх:

— Месяц плывет ко мне. Звезды мигают мне. Я сильная. Я все могу. Я лучше всех. Сева, я лучше всех?

Да, сказал Сева, лучше всех.

— Сева, — Аля запрокинула голову, глаза огромные, стылые, как у незрячего, — Сева, я отца предала.

Сева не откликался.

— Слышишь, — повторила Аля, — я отца родного посадила.

— Все сажали отцов, — сказал Сева. — Время такое: детям — отцов сажать.

— Папу выпустили. Папа пришел домой.

— Кто дожил, — сказал Сева, — тех выпустили. Кого выпустили, пришел домой. Если был дом. Мой — не дожил, не выпустили, и дома не было. Мутер нашла херра. Орфографическая деталь: здесь — „херр” через два ры. Фриц. По-нонешнему, товарищ из Демократической Германии. Я — рос у бабки. Потом — воришкой. Начальное образование — в трудколони для малолетних. Потом ремеслуха — ремесленное училище. Потом — университет. У нас в стране, кто жаждет знания, все дороги открыты. Давай, залезай в теремок: холодно, платье у тебя рыбьим мехом подбито.

Аля натянула мешок, Сева объяснил, тут проблема со шнуровкой, он сам завяжет. Аля сказала, кайф, и всхлипнула.

— Ты чего? — спросил Сева.

— Ничего, — опять всхлипнула Аля.

Сева погрозил пальцем:

— Ишь, стервец, завел шарманку, что ты, Алька, баба что ль?.. Поддержи свою осанку! Над собой держи контроль!

— Сева, я сбежала из дому. За день до возвращения папы

соседка — знаешь, как умеют наши одесские еврейки — выразила сочувствие: „Алечка, я понимаю, как ты ждешь не дождешься папочки. Ах, какое несчастье! Нашим врагам”.

Сева подбросил веток, листьев в костер, пламя, поначалу, ухнуло, норовя достать человеческую руку — Севина рука вся в рыжем пуху, с бурыми веснушками — тут же, не дотянувшись, осело и медленно, пробиваясь из-под волглых листьев, стало охватывать ветки с боков.

Аля спросила:

— Сева, а вдруг я влюблюсь в тебя? Ты женишься на мне?

— Я не женюсь на тебе, — Сева покачал головой. — Я выйду за тебя замуж. Ты андроген, любовь моя, у тебя бедра мальчика, у тебя торс мальчика, у тебя сиплый голос отрока и повадки Гавроша. Любовь моя, возьмешь меня в жены?

Аля забормотала:

— А Саша? Предательство! Предала! Выдала врагам на поруганье. Саша — вне моего мира, вне меня. Ты — мой, со мной, во мне!

— Уймись, — Сева захватил Алину голову в ладони. — Уймись, милый!

Аля бормотала:

— Оставила! Бросила! Одного. Отсекла половину. Нарушение гармонии. Нежность, страсть, покой, крик испуга. Иди ко мне. Ляг со мной. Согрей дыханьем. Мой, мое! Иди, не медли!

Аля стала дергать шнуровку, движения были беспорядочны, как будто задыхается, вот-вот совсем задохнется, Сева приказал — прекрати! — распустил шнуровку, сбросил куртку, туфли, брюки и полез в мешок. Аля дрожала и, прижимаясь, продолжала дрожать, Сева левой рукой обнял, правой стал быстро, вдоль позвоночника, растирать спину, Аля закричала: „Что ты со мной делаешь!” — Сева оттянул резинку

трусов, захватил в ладонь Алины ягодицы, Аля вся подалась вперед — твоя! — Сева сначала никак не мог изловчиться, наконец, изловчился, хотел сказать Але, пусть раздвинет ноги, а то не пробиться, и в это мгновение, как полоумная, Аля завопила:

— Обманул! Обворовал! Предал!

Сева зажал Але рот ладонью, назвал нехорошим, нецензурным словом, приказал немедленно замолчать, Аля укусила Севу, он отдернул руку, Аля опять завопила: „Обманул! Обворовал! Предал!”

Сева возмутился:

— Ты же звала меня, ты сама звала!

Аля сказала, да, звала, но не для этого...

— Понимаешь, не для этого! Обманул, обманул!

Сева еще больше рассердился:

— Свидетели нужны, да?

— Подлец! — закричала Аля. — Обманул, предал! Подлец!

Сева потребовал, пусть уймется, стал выбираться из мешка, Аля схватила за подол рубашки, сказала, останься, но без этого... Сева ударил Алю по руке: „Отпусти!”

Аля заплакала, Сева сначала не обращал внимания, потом наклонился, стал гладить по голове:

— Ну не надо, не надо...

Аля заплакала еще громче, подошли Гена с Линой, у обоих глаза пустые, с красным отсветом от костра. Лина взяла Севу за руку, сказала, идем, Гене велела, пусть забирается к Але в мешок. Сева с силой, грубо, вырвал руку, встал между Геной и Алей, сказал обоим, Лине и Гене, пусть убираются. Лина подтолкнула Гёну, давай, давай к Альке в мешок, опять схватила Севу за руку и потянула за собой. Сева выругался матерными словами, хотел оттолкнуть Лину, она крепко

уцепилась за руку и не отпускала, Гена сел наземь, запустил ноги в Алин мешок, Аля, как будто взбесилась, вцепилась зубами в икры, Гена по-дурному завыл, ударил Алю. Лина набросилась на Алю: хуна, с малых лет по чердакам, с мальчишками, понесла от своего армянина, от Гургена, а тот раззвонил по всей Одессе и бросил!

Аля выбралась из мешка, закричала Лине: „Врешь, это ты с Гургеном, это тебя бросили!” Лина захохотала, как полоумная, крикнула Гене: „Ты, малафей, чего химичишь: хватай ее, хватай!” — ударила Алю по носу, пошла кровь, Аля стерла, мазнула Лину по щеке, напряглась, руки в кулаки, было впечатление, сейчас бросится на Лину, та разорвала на себе рубашку, открылась грудь, закричала Але, пусть ударит, пусть бьет, Аля схватилась за голову, крикнула „нет!”, еще раз крикнула „нет!” и побежала по тропинке вниз, к обрыву.

Сева сделал движение, видно было, готов побежать вслед, Лина встала поперек, растопырила руки, правая щека, где Аля мазнула кровью, была бурая, с блеском, как будто свежее клеймо, Сева схватил Лину за руки, Лина подалась навстречу, вдруг, Сева продолжал держать за руки, обмякла, Сева хотел подхватить, но не успел, оба свалились наземь.

Лина обняла, громко засмеялась:

— Мой! Мой!

Гена отвернулся, встал лицом к костру, Лина приказала, эй, археолог, конай за черепками, пока не покличут. Сева сделал рывок, стряхнул Лину, она закричала: „Куда!” Сева выругался последними словами, сорвался, как бешеный, и помчался в темень.

Лина — то ли смеясь, то ли плача — закричала вдогонку:

— Москва—Воронеж... Каплун! Подонок!

Теперь отчетливо было слышно: Лина плачет.

IX

В Сухуми Аля истратила последний рубль — на чашечку турецкого кофе и кулек каштанов. Абхазец попался добрый, сказал: „Деньги не надо”, — дал еще кулек.

Турецкий кофе — варили в джезве, на открытых угольях — был бурый, густой, как будто расплавили шоколад, на языке оставался маслянистый привкус. Аля представила себе Турцию: люди в фесках пьют на улице кофе, бурый, густой, как расплавленный шоколад, цикают языками и закатывают глаза к небу, ах, хорошо! Захотелось в Турцию.

До полудня Аля слонялась по набережной, сидела на скамьях под пальмами, один раз искупалась, море, издали изумрудное, вблизи было цвета прозрачного толстого стекла, под которым слой воды.

В кафе, на открытых террасах, обращенных к морю, люди с самого утра, не переставая, ели, пили, как будто не было других занятий, как будто весь мир в этом занятии — есть и пить. Во рту набегала слюна. Аля машинально заглатывала, заставляла себя смотреть в другую сторону, но все равно видела: шницели, битки, жареный картофель соломкой. Подымалось нехорошее чувство, как будто у нее, у Али, отобрали ее, отобрали и отдали другим.

Набережная кончилась, Аля остановилась на углу, посмотрела налево, направо, вспомнила: в Сухуми — виварий, обезьянник.

Пошла в обезьянник. Оказалось, вход платный. Аля объяснила, она школьница, приезжая, у нее украли деньги и вещи. Женщина на контроле сказала: если школьница, нечего разъезжать — учебный год, надо сидеть за партой. Аля оставалась на месте, смотрела на женщину, та делала свое дело, отрывала билеты, потом вдруг повернулась к Але и сказала:

заходи. Аля подала кулек с каштанами: вот, хотите? Женщина взяла один, положила в карман и повторила: давай заходи, а то начальство увидит. Аля пожалала плечами: а чего видеть, во-руем, что ли! Женщина рассердилась: ну, давай туда или сюда, а здесь не стой.

— Вы добрая, — сказала Аля, — а притворяетесь злой.

— Тьфу ты, — сплюнула женщина и засмеялась. — Ну заходи, не мотай душу.

Аля опять пожалала плечами, зашла и снова протянула кулек каштанов:

— Я даром не хочу: возьмите еще.

— Ну, — покачала головой женщина, — ты юродивая. Ей-Богу, юродивая. Небось, сбежала от папы-мамы?

Аля помахала рукой: „Чао!”, — и пошла к обезьянам.

Вольера была большая, с каменистыми уступами полупустыни, валялись клочки сена, соломы, придавая вольере вид неухоженной, полузаброшенной конюшни, в которой поселили по какой-то причине, о которой трудно было догадаться, какой именно, обезьян.

Надпись строго предупреждала посетителей, чтобы не кормили животных. Аля прочитала, вынула из кулечка каштан и бросила в вольеру. Обезьяна, тощая, с красным обвислым задом, подобрала каштан, внимательно осмотрела его, надкусила и уронила. Аля бросила еще каштан, обезьяна подобрала, надкусила и опять уронила. Аля погрозила пальцем, обезьяна глянула мельком и отворотилась, скребя ногтями зад. Аля притворилась, что уходит, обезьяна сначала не обращала внимания, затем, с криком, побежала вдоль ограды. Аля остановилась, бросила в вольеру все каштаны, показала пустые руки, вот, больше ничего нет, и словами объяснила, что в самом деле больше ничего нет, отдала последнее.

Держась руками за прутья, обезьяна смотрела на Алю

круглыми, человеческими глазами, с недоумением, с устоявшейся, от долгой привычки, грустью, какая бывает у квелых, недужных детей.

Не меняя позы, обезьяна стала мочиться, видно было, что самец, моча текла под ноги, Аля сказала, фу, повернулась спиной и быстро пошла прочь от вольеры. Всю дорогу у Али не проходило ощущение, что обезьяна стоит у ограды и ждет. Надо быть поласковее, сказала себе Аля, надо попрощаться.

Обезьяны не было у ограды. Она сидела поодаль, на камне, и делала какие-то странные — механические, угловатые — движения рукой между ног, взад и вперед от паха. Оглядысь по сторонам, обезьяна остановилась, разжала руку, которая двигалась взад-вперед, и опустив голову, стала пристально всматриваться. Аля тоже стала всматриваться и вдруг, увидя, воскликнула:

— Фу, мерзость!

По дороге Аля корила себя: какая глупость — возвращаться, чтобы не обидеть, чтобы сказать кому-то до свиданья.

Очень хотелось есть. Женщины на контроле не было. Аля рассчитывала: женщина увидит, сама догадается, добрая, и позовет Алю к себе.

Аля спросила, где базар, где гастроном. Объяснили: рынок — рукой подать.

На рынке было много людей. Много людей, подумала Аля, это хорошо. Сначала, когда Аля вошла в корпус, была на душе тревога и сосало под ложечкой, как будто ждет неприятность. Потом прошло. Абхазцы в белых халатах, молодые в картузах, старики в папахах, продавали сыр, брынзу, колбасы, балыки. Балыки, янтарные, с золотистым оттенком, были как муляжи из витрины, только что крытые лаком. Колбасы, тугие, со вздыбленными под тонкой кожурой кусочками желтого сала, разбросаны были на прилавках, как будто приглашали: ай, подходи-бери!

Женщины, прежде чем купить, пробовали. Хозяин отрезал тонкий ломтик, подавал на кончике ножа и говорил с укоризной: „Зачем пробуешь — обмана нет!”

Аля тоже пробовала, переходя от одного к другому, хозяева укоризненно цикали языком: зачем пробовать — обмана нет! Аля вернулась к старику, который кричал громче всех: „Эй, навались, отдаем даром!” У старика были цены, как у других, но громкий голос делал свое дело, женщины шли к старику и объясняли друг другу, что цены те же, но продукты лучше.

Аля взяла с прилавка кружок колбасы, повертела, как будто хочет получше рассмотреть, расстегнула рубашку на груди и быстренько, пока старик был занят с весами, затолкала кружок под грудь. Постояв с минуту, Аля сказала: „Ах, какая длинная очередь”, — и вышла, прижимая руки к животу, чтобы колбасе была опора.

Отойдя подальше, Аля вынула кружок, отломил кусок и съела со шкуркой. Потом отломил еще кусок, в этот раз шкурку сняла и бросила на пол. Подбежал черный, с цыганскими глазами, пес, схватил шкурку и в один прием, не разжевывая, проглотил. Аля хотела погладить пса, но тот испуганно отскочил, Аля рассердилась, сказала псу, пошел вон, но тут же пожалела, отломил кусочек и бросила псу под ноги. Пес, как в первый раз, проглотил в один прием, сделал еще одно глотательное движение, набежала слюна, и завилял хвостом.

Пришел еще один пес, стал рядом, тоже завилял хвостом, Аля отдала остаток колбасы и сказала псам, пусть подождут, она вернется.

Аля снова пристроилась в очередь к старику, взяла с прилавка кружок колбасы, повертела, как будто хочет получше рассмотреть, и быстренько, как в прошлый раз, затолкала кружок под грудь, постояла минуту, прижимая руки к животу,

сказала: „Ах, какая длинная очередь”, — и вышла. Собаки стояли на прежнем месте, Аля сделала им знак, что идет, уже и шаг сделала в их сторону, но в это время схватили Алю за руку, женский голос закричал: „Воровка! Держите воровку!” Сразу окружила толпа, позвали милиционера, женщина засунула Але под рубашку руку, выхватила кружок колбасы и радостно закричала: „Вот, уже второй! Я следила, я знала, что вернется. Воровка!”

Аля сначала растерялась, заплакала, а потом взяла себя в руки, сказала про женщину, что та врет, никакой другой колбасы она, Аля, не брала, а за эту хотела заплатить, но, оказалось, у нее украли кошелек. А колбасу она взяла не для себя, она колбасу вообще не ест, а взяла для собак — вон стоят голодные. Люди посмотрели, действительно, стояли два пса, по выражению было видно, что ждут. Мнения разделились: одни поверили, взяли Алину сторону, другие наоборот, еще больше возмутились и стали кричать про Алю, что она опытная воровка, со стажем, и приехала в Сухуми на гастроли.

Милиционер потребовал у Али документы, документов не было. Те, что были на Алиной стороне, заколебались, а другие окончательно пришли в ярость, стали толкать и дергать Алю со всех сторон, так что милиционеру пришлось схватиться за кобуру и защитить Алю, чтобы не вышло самоуправства.

Аля закричала в толпу: „Звери! Люди-звери!” Уже никакой симпатии ни от кого к Але не было, теперь возмущались все, и те, что раньше были на Алиной стороне, милиционер опять схватился за кобуру, потребовал, чтобы расступились, и повел Алю в отделение.

Дежурный лейтенант — с университетским ромбом, в очках — дал Але листок бумаги, пусть опишет, как все произошло, и объяснит, почему во время учебного года оказалась здесь, в Сухуми. Аля сказала лейтенанту, она писать не будет,

а может ответить на вопросы устно. Лейтенант очень удивился, сказал, это нахальство с Алиной стороны, но можно квалифицировать как хулиганство, и тогда Аля получит пятнадцать суток. Аля ответила, что пятнадцать суток ей не страшно, папа получил пятнадцать суток за то, что побил ее и выгнал из дому.

— Постой, — перебил лейтенант, — тебя избил отец и выгнал из дому?

Аля повторила, да, избил и выгнал и еще грозил, что убьет за то, что родная дочь донесла на него.

Лейтенант велел Але записать на бумаге точный адрес, где живет, в какой школе учится. Аля написала, что живет в Одессе на Петра Великого, указала номер дома, квартиру, а про школу сказала, это не имеет значения, потому что она все равно переходит в вечернюю.

— Слушай, — рассердился лейтенант, — ты фортеля здесь не устраивай: велят — отвечай!

— А ты, — сказала Аля лейтенанту, — не кричи на меня.

У лейтенанта заходили желваки, лицо сделалось желтое, видно было, человек в полном бешенстве, однако сдержал себя, милиционеру, который привел Алю, велел отвести ее в спецкомнату. Последнее слово — спецкомнату — он произнес с ударением, чтобы не только Але, а и всем, кто был свидетелем сцены, было понятно: спецкомната — это спецкомната.

Аля приготовилась кричать, думала, сейчас будут бить, для того спецкомната. Когда привели, отлегло от сердца: оказалось, спецкомната — уголок для детей, на диване, на стульях, на полу валялись куклы, плюшевые мишки, резиновые крокодилы и кубики с картинками. Аля даже засмеялась, такая была неожиданность.

Признайся, сказал лейтенант Але, испугалась. Аля призналась, да, испугалась: думала, будут бить — все люди говорят, в милиции бьют.

Лейтенант взял Алю за руку, положил на свою, поверх Алиной руки положил другую свою руку и сказал:

— Тебя под суд отдать надо. За воровство. Сечешь: под суд. Хочешь под суд?

Аля посмотрела лейтенанту в глаза — лейтенант не выдержал, отвел глаза — и ответила: хочу.

Так, сказал лейтенант, хочешь под суд. А почему хочешь? А потому, сказала Аля, что хочу.

— Хочу, — Аля снова посмотрела лейтенанту в глаза, в этот раз выдержал, не отвел, — потому что хочу. О'кей?

О'кей, кивнул лейтенант, осмотрел Алю с ног до головы, как будто только увидел, и тихо, в голосе была грусть, сказал:

— Шузня у тебя каши просит — босиком до Одессы будешь шлепать. А паранты, между прочим, из обморока не выходят. И в английской твоей спецшколе, на Льва Толстого, следопыты веревки и свечи готовят: уверены, ты в катакомбах, не иначе, застряла. Я, кстати, земляк тебе, одесский мальчик: Большая Арнаутская и Старопортофранковская, Комсомольская по-новому. Соседи были.

Лейтенант положил Алину руку, ладонью, себе на колено, крепко прижал своей ладонью:

— Слушай, Алька, давай будь человеком. Слушай, я дело говорю: будь человеком. Сломать голову — пара пустяков. Обидно: ты дивчина — во, — лейтенант показал большой палец, — таких на всю Одессу раз-два — и обчелся.

Аля вырвала руку:

— Замолчи! Замолчите!

Аля встала, вытерла глаза, лейтенант подошел сзади, похлопал по плечу:

— А насчет бати своего ты не убивайся. Все образуется, как говорил граф с одноименной улицы. Образуется, ежели

иска не вчинят, — лейтенант ухмыльнулся, указал пальцем в окно, в небо. — Оттуда.

Ворон с дерева каркнул: карр! Аля заткнула уши. Ворон подался телом вперед, как будто звук стал поперек горла: карр! карр!

Х

— Перестань каркать, — засмеялся Макс. — Накаркаешь!

Глаза, от яркого солнца, были у Альбины желты медовой желтизной, с искрящимися, как в меду, пузырьками, когда она внезапно поворачивала голову и солнечный луч, преломлясь под разными углами, дробился в хрусталике.

Альбина сказала Макс: произошло роковое. Непоправимое. Аля, когда лейтенант указал пальцем в окно, в небо, еще до тех своих слов — „ежели иска не вчинят, оттуда” — еще до того, как ухмыльнулся, учуяла, увидела: дурной глаз. Тут надо было сразу, немедленно, не колеблясь, трахнуть-бахнуть, глаза легавому выцарапать. Но Аля уши развесила на доброе слово. Ей, дурочке, важнее всего было доброе, приятное слово. Люди не понимают, у советской власти это главный прием — говорить человеку приятные слова. Кто самый честный, самый лучший в мире? Мы самые честные, самые лучшие — такая наша законная гордость. А кто подведет, того — бац! — и дело с концом.

Бац, и дело с концом, перебил Макс, это прошлое — теперь не в моде. При чем тут в моде не в моде, взвинтилась Альбина, у них вся психология такая: чуть человек не подходит — положить на него дурной глаз. И объяснять будут и угрожать, и журить, и увещивать — человек уши развесит, слушает, а на нем уже глаз дурной, уже приговор вынесли: проклят, во веки веков проклят! Как в средние века: до того

доводили, что сами себя объявляли люди оборотнями, ведьмами, сами на себя строчили, сами на костер просились. А почему? А потому, что грех обществу требуется, жареная человечина требуется. А через грех — искупление.

Вот, совсем разошлась Альбина, сопля еще, твоя Алька, а уже сколько наворотила! Зачем? Это надо было ей? Ну подумай сам: это надо было ей? Не надо было! Это кому-то надо было, чтобы она наворотила, тогда порядок — тогда граждане-гражданочки, пожалте на исправление! Никаких индивидуумов, никакой индивидуальной воли нет, а есть коллектив, коллективная воля, которая каждому, еще до рождения, через папу-маму, через деда с бабушкой, определяет роль: ты будешь Арлекин, ты — Коломбина, ты — паяц, ты — Петрушка-Пульчинелла, Синяя борода или Сорок бочек разбойников.

— А это кому надо? — спросил Макс.

— Что -- это? — нахмурилась Альбина, глаза потемнели, сделались зеленые, с блеском, как бутылочное стекло.

— Твое бесовство, — ответил Макс. — Твои бредни.

Альбина пожала плечами, сказала про Макса, кто дураком родился, тому дураком и помереть, Макс зажмурился, как кот на солнце, обнял Альбину и пробормотал:

— Я — Сорок бочек арестантов, Сорок братьев-разбойников, ты — Лейла моя, Ночь моя...

— Прочь, — Альбина оттолкнула Макса, — ненавижу тебя! Ты играешь со мной, на зуб пробуешь, ай, мягкая мышка, ай, съем серенькую! Упиваешься собой, нарцисс... — Альбина употребила неприличное слово. — Ненавижу!

Это было у нее обычное: на пике открытости — вдруг накатывала ярость. Альбина говорила: терпеть не могу исповедников, свидетелей. Макс отвечал: он не исповедник, не свидетель; он — жертва. Альбина брезгливо морщилась: сирота казанская, хочешь быть жертвой, призвание твое жидовское —

быть вечной жертвой. Племя иудино, богомерзкое: не зря Христа убили — сами, каждый, в Христа метите!

Макс поправлял — в Христосы, не в Христы — называл Альбину шомрониткой, самаритянкой, ссылаясь на Эзру-пророка, на Нехемию, которые две с половиной тысячи лет назад раскусили самозванцев — родственнички: сбоку припека! — а те все равно лезли, и вот результат: в собственном чреве растим, собственной грудью пятую колонну кормим.

— Поглядишь, самаритянка, в зеркало, — сказал Макс, — руки желтые, лицо желтое, грудь желтая. Ты — желтое племя, ты чужая.

Альбина сжала руки в кулаки, бросилась на Макса:

— Замолчи: убью! Я больше еврейка, чем ты: немцы сожгли бабушку, дедушку, тетю, дядю — всех сожгли. Пепел стучит, — Альбина наклонилась, велела Максу прижаться ухом, — пепел стучит в груди!

Макс прижался, Альбина обхватила его голову руками, подняла лицо к себе, воскликнула: „Господи, почто пытаешь!” — и неистово, как будто исклевывая вражью плоть, стала целовать Макса — глаза, виски, лоб. Он пытался остановить, перехватить ее губы, она мотала головой, увертывалась, наконец Макс покорился, сам стал подставлять лицо, Альбина приказала подняться, поволокла к дивану, принялась стягивать с Макса одежду, он хотел помочь, она закричала: „Ты — пленник, лежи!” — оставила Макса нагишом, сама села на стул, уставилась, как будто видит впервые, хочет хорошо рассмотреть, глаза сделались темнозеленые, почти черные, усмехнулась, усмешка была недобрая, и сказала:

— Вот так вас и брали самаритянки. Невелика честь. Не вы поймали — вас поймали.

— Шомронитка, чужое семя, — сказал Макс. — Уймись.

— Мачо, ~ Альбина закрыла глаза, две черные, две

мохнатые полоски легли влево, вправо от переносицы, непонятно было, видит или не видит, — мачо, где твоя воля, где твои мускулы, где твой властный голос? Ты не мачо...

— Уймись, — повторил Макс.

— ... мачо, — продолжала свое Альбина, — не просит — мачо приказывает. У мачо мускулы, у мачо зубы, у мачо...

Альбина, на манер слепого, протянула руку, шевеля пальцами, как будто хочет нащупать предмет, Макс схватил за руку, рванул к себе, Альбина успела только вскрикнуть, крик был тяжкий, стынувший, на исходе дыхания.

Потом, когда оба уgomонились, Альбина объясняла: ощущение было такое, как будто на самом деле последний вздох.

Макс спросил:

— Зачем тебе это — последний вздох?

Альбина ответила: последний вздох — как молитва.

Правоверные евреи говорят: молись всякий раз так, как будто молишься в последний раз.

Альбина засмеялась:

— Я — правоверная.

Макс рассердился:

— Не кощунствуй.

Альбина пожала плечами: она не кощунствует — всякий молится на свой лад, как дано ему. Оттуда.

— Оттуда, — Альбина показала пальцем вверх. — Все — оттуда.

Не все, сказал Макс. А свободная воля? Где она? Альбина развела руками: нигде, нету свободной воли — все оттуда. Все задано, все расписано: как оттуда наметили — так будет. Каждому свой гороскоп. А хочешь повернуть — поворачи небо, чтоб звезды по-другому встали. Макс засмеялся: овчинка выделки не стоит.

Аля, сказала Альбина, еще на Кавказе, дала себе слово, что все по-новому переиграет, перекрутит: станет перед папой на колени, пусть простит, а нет — руки на себя наложит.

— Папа, — сказала Аля отцу, — вот я, на коленях. Папа, я — Павлик Морозов. Пусть меня убьют, папа.

Мама замахала руками:

— Сволочь, встань! Где это между евреями видано: донести на родного отца! А потом убежать, чтоб у папы-мамы мозги сохли. Встань, малхамовэс!

Аля сказала: „Мама, ты сама кричала: гевалт! милиция!” Мама схватилась за сердце: „Я кричала? Чтоб наши враги всю жизнь кричали, как я кричала!”

Папа сказал:

— Ты кричала.

Мама горько усмехнулась:

— Бог с тобой. Ты был, пусть будет тебе на здоровье, хорошо выпимши. Ты не можешь помнить.

— Мама, — закричала Аля, — это неправда, это ложь! Мама ты знаешь: это ложь!

Папа показал рукой на маму, на Алю:

— Сексота большая, сексота маленькая. Перегрызите друг другу горло — я положу вас рядом.

Мама набросилась на Алю:

— Змеюка, всю семью перекусала! Подойди к отцу, обними, поцелуй, дай обещание: я буду хорошая, я буду послушная, я буду, как все.

Аля опять опустилась на колени, повторила:

— Я буду хорошая, я буду послушная, я буду, как все.

Мама, как в прежний раз, замахала руками:

— Нет, ты подойди к отцу, обними, поцелуй!

Аля, как будто бешеная собака укусила, вдруг вскочила, топнула ногой:

— Я встала на колени — вам мало! Нежностей захотели, поцелуев — а мне тошно от вас! От ваших проклятий, вашей ненависти, ваших поцелуев. Точно! Не хочу с вами жить — на улице, в канаве, под забором — а с вами не буду!

Аля выскочила из комнаты, мама побежала вслед, с трудом догнала, умоляла вернуться. Аля согласилась, но предупредила: все равно уйдет, жить с папой, мамой не будет.

— Дура, — заплакала мама, — кому ты нужна! Кто будет так терпеть, как папа с мамой!

Аля сказала, это хорошо, что не будут терпеть. Это как раз и надо, чтоб не терпели. И она терпеть не будет.

Папа показал рукой на дверь: иди.

XI

Сашины родители как топором отрубили: нет!

Саша объяснял: он любит Алю, она любит его, стало быть, взаимно. Аля переходит в вечернюю школу, они расписываются, Саша кончает институт — молодые едут по назначению.

Сашина мама уточнила:

— В Хацапетовку.

Саша кивнул:

В Хацапетовку. Или Крыжополь.

— Осел, — воскликнула Сашина мама, доктор Зонтаг, — а твоя аспирантура?

Насчет аспирантуры, сказал Саша, господ евреев просят не беспокоиться.

— Осел, — повторила мама, — она тебе вообще не пара. Ты знаешь, из какой семьи она!

Саша привел историческую справку: у товарища Сталина отец был сапожник, притом горький пьяница, жену бил смертным боем, а сын, вот, успел, и еще как успел.

— Дебил, — совсем рассердилась мама, — тебе объясняют русским языком: для нее места здесь нет. Никто не будет терпеть.

— Будут, — уверенно произнес Саша. — Колесо вертится.

— Какое колесо? — нахмурилась мама.

— Колесо истории, — объяснил Саша. — Доктор Зонтаг, повторите: колесо истории вертится.

Сашина мама, доктор Зонтаг — в девичестве Иванова — отказалась повторить. Доктор Зонтаг предложила свою версию — покрутив пальцем у виска, она тем же пальцем указала на своего сына, на Сашу:

— Мишигас!

Итак, подвел итог сын, мать отлучила родимое дитя от груди — по причине естественного отвращения к врожденному кретинизму последнего. Саша вынул носовой платок, промокнул фарфоровый глаз. Доктору Зонтаг вдруг изменила выдержка, она всхлипнула, сын обнял ее, она прижалась к нему:

— Мальчик мой, это безумие. Одумайся. Я понимаю, ты любишь. Пусть так: Аля — хорошая девочка. Я не спорю. Живите с нами. Мы потеснимся. Но дело не в метраже.

Саша подтвердил: не в метраже. Дело — в квадратуре. В квадратуре круга. Парадокс: круг — часть плоскости, площадь, здесь ваше, здесь наше, а точно вычислить нельзя. А почему? А потому, что число π — с приближением. Где приближение — там точности нету и скоро совсем не будет.

— Доктор Зонтаг-Иванова, — Саша хлопнул маму по задку, — усекли: все дело в квадратуре круга, ибо — приближение! Никакой точности — одно приближение!

— Саша, — доктор Зонтаг сплела пальцы, пальцы побелели, — ты будешь кусать локти. Мать говорит: ты будешь кусать локти.

Саша склонил голову: к тому идет — все будем кусать локти.

Аля пришла к Эдику, чтобы поставить в известность: она переходит к Саше — это окончательно. Встречи, отношения — все в прошлом.

Эдик, как будто не к нему, не видит, не слышит, схватил Алю, завел руки за спину и наглым голосом заявил:

— Ты меня хочешь.

Аля высвободила руки, дала Эдику оплеуху, он нахально засмеялся и продолжал свое. Аля рассердилась не на шутку, предупредила, она не остановится ни перед чем.

Эдик сказал, один раз было, второго не будет, повалил Алю на пол и затеял возню. Был момент — у Али сладко, с тревогой, с ужасом защемило сердце — Аля сама подалась к Эдику, он, как безумный, впился в губы, она захватила нижнюю губу его зубами, обеими руками уцепилась за волосы, он завыл, от этого воя Аля еще больше разъярилась и уже с радостью, с наслаждением, с торжеством царапала, кусала и рвала за волосы.

Когда поднялись с полу, привели себя в порядок, Аля вдруг заплакала. Эдик, бледный, по скулам лиловые пятна, зло сказал:

— Ты пришла ко мне сама. Зачем?

Аля ответила: пришла к человеку — объяснить, что все кончено.

— Вот, — Эдик показал мокрое пятно на брюках, пятно на Алином платье, — и вот. Кончено.

Аля машинально глянула, коснулась пальцами, тут же, почувствовав липкое, рывком убрала руку, хотела закричать, такая взяла гадливость, но не успела: поперек горла стал ком, ни вдохнуть, ни выдохнуть — и тут же вырвало.

Эдик спросил: принести воды? Аля не ответила, сама

пошла на кухню, над раковиной еще раз вырвало, не так обильно, как в первый раз, прополоскала горло, рот, вернулась в комнату, вытерла тряпкой пол, Эдик тупо, вроде напал столбняк, наблюдал. Аля, без слов, как будто одна в доме, нет никого, никакого Эдика, направилась к двери и хлопнула.

С Сашей встретились во дворе института, у анатомки. Саша выскочил в сером клеенчатом переднике, Аля машинально отпрянула, Саша цокнул языком, трупик попался во, пальчики оближешь, притянул Алю к себе и закричал в ухо:

— Чапаев выплыл: паранты сложили оружие!

Саша подставил щеку, Аля чмокнула, Саша сказал, не так, а так, чмокнул Алю сам, как будто из воздушки выстрелил, и вдруг весь напрягся:

— Ты откуда? Из дому?

Нет, покачала головой Аля, не из дому.

— Не из дому? — поразился Саша. — Откуда же?

Аля сказала:

— Ты знаешь откуда.

Саша опустил голову:

— От него?

— Да, — сказала Аля, — от него.

— Сама пошла? — спросил Саша. — Он звал?

— Сама пошла, — кивнула Аля.

— Сама? — Саша поднял голову, фарфоровый глаз, недвижимый, в упор смотрел на Алю. — Зачем?

Аля пожала плечами:

— Хотела, чтоб по-человечески, хотела объяснить, что все кончено.

— Зачем? — повторил Саша, фарфоровый глаз сделался совсем круглый, как у птицы, и смотрел сбоку, как у птицы. — Ты же знаешь его.

— Знаю, — кивнула Аля. — Но я хотела объяснить. Как человеку. Понимаешь, как человеку.

Аля заплакала.

— Он изнасиловал тебя? — Саша сделался белый, как полотно.

Аля не отвечала.

— Изнасиловал? — прошептал Саша.

Аля пожала плечами:

— Не знаю. Изнасиловал. Не знаю.

— Чего не знаешь? — у Саши перехватило дыхание. — Не знаешь, изнасиловал или сама... сама...

— Нет, — замотала головой Аля, — не сама... не сама... Он набросился. Я кусалась, царапала, рвала за волосы.

— Так было или не было? — закричал Саша.

Аля сказала, у него было, а у нее, нет, не было.

Саша схватился за голову:

— Ты безумная! Отвечай: было или не было?

Аля повторила: у него, у Эдика, было, вот, след на платье, а у нее не было.

— Значит, не было? — бледность Саши сошла, лицо сделалось нормального цвета. — Не было! Замолчи: не было!

— Он повалил меня на пол, — сказала Аля, — он лег на меня. Я кусалась, я царапала. Вырвала клочок волос.

-- Вырвала клочок волос! — восторженно повторил Саша. — О, мой Тилль Уленшпигель: пепел Клааса стучит в твое сердце!

— Саша, — Аля подняла голову, смотрела прямо в глаза, — я нехорошая. Саша, брось меня.

— Ты хорошая, — закричал Саша, студенты проходили мимо, обернулись на крик, — ты самая хорошая, Аленок мой, олененок мой! Ты одна, ты единственная — другой такой нету!

— Саша, — сказала Аля, — я хочу рассказать...

Не надо, перебил Саша, зажал Але ладонью рот, он все знает, все понял: она — самая лучшая, самая чистая.

— Саша, — сказала Аля, — в Крыму, когда я была с Линой, один археолог, Сева, полез ко мне в спальный мешок.

Саша засмеялся, погрозил пальцем: берешь надохлого рачка!

Аля покачала головой: никакогодохлого рачка, Сева на самом деле полез к ней в спальный мешок, она сама пригласила, потому что ночь была холодная, а спальный мешок он отдал ей и сказал, что всю ночь будет сидеть у ее ног, стеречь.

— Дальше, — Саша закрыл глаза.

Дальше, сказала Аля, Сева хотел взять ее. Он не понял, он думал, Аля позвала для этого.

Саша зажмурился, как будто солнце било прямо в глаза: а для чего же, для чего еще можно позвать в спальный мешок?

Аля объяснила, Сева тоже так думал, а она позвала потому что была холодная ночь и Севе было холодно, а в мешке тепло и было свободное место.

Аля повторила:

— Понимаешь, человеку холодно, а в мешке тепло и есть свободное место.

Понимаю, кивнул Саша, и по лицу было видно, что в самом деле понимает.

Аля обрадовалась:

— Ты понял. И я думала так. И других мыслей не было. А Сева не понял. Сначала не понял, а потом понял.

— Когда — потом? — спросил Саша, голос совсем осип. — Когда — потом?

Аля хотела рассказать про Гену, про Лину, как та толкала Гену, чтобы приступил к ней, к Але, но про Лину, решила, лучше не говорить, сказала только про Гену, что он был

обкуренный травкой и плохо соображал. Но Сева заступился за нее, за Алю, и она успела убежать.

— Успела? — удивился Саша. — А могла и не успеть?

Аля пожала плечами: могла и не успеть, разве не бывает, что не успевают.

— Бывает, — у Саши вдруг прочистился голос и сделался такой звонкий, что резал ухо, — бывает! А ты, когда звала этого хлыща в спальный мешок... ты же его первый раз в жизни видела... ты, что, не знала, что бывает! Или только сегодня сделала открытие, что бывает!

Аля сказала про Севу, что он не хлыщ, наоборот, он очень умный и много знает, его можно слушать с утра до ночи, и очень добрый и честный.

— С утра до ночи! — захохотал Саша, как будто очень смешно. — Ты, лучше, скажи: с ночи до утра!

Хорошо, согласилась Аля, с ночи до утра. И было бы с ночи до утра, если бы не пришлось убежать.

— Боже мой, — схватился за голову Саша, — а бежать пришлось почему? Потому что вся ситуация, вся обстановка была такая: бежать, а иначе...

Да, подтвердила Аля, а иначе все могло кончиться плохо. Но почему обязательно плохо? Если бы люди правильно понимали слова, не как им хочется, а как надо, не должно кончиться плохо. Наоборот, должно кончаться хорошо.

Саша запрокинул голову, закрыл лицо руками.

— Брось меня, — сказала Аля. — Я плохая. В плохую ситуацию попадают плохие — хорошие не попадают. Ты прав. Брось меня.

Из подвала донесся отчаянный, с визгом, с воем, собачий лай. Аля вздрогнула, прильнула к Саше, в ужасе пробормотала: собак режут! Саша машинально отступил, сделал рукой знак, пусть Аля стоит так, на расстоянии. А насчет собак объяснил,

беспокоиться не надо: режут под наркозом, боли никакой. Вон, Саша обвел рукой, в операционных режут людей, а тихо. И кто-то под ножом преставится — все равно будет тихо. Люди боятся крика, а тишина бывает страшнее всякого крика.

— Аля, — Саша взял себя в руки, говорил спокойно, тихо, так тихо, что надо было прислушиваться, чтобы услышать. — Аля, ты любишь меня?

— Ты знаешь, — сказала Аля, — я люблю тебя. Я люблю тебя больше всех. Больше всех на свете...

— Стоп! — Саша схватил Алю, прижал лицом к плечу, Аля стала мотать головой, хотела освободиться, но Саша держал крепко, не отпускал. — Молчи, ни слова! Никого на свете нет: только мы, только двое. Никого больше: только мы, двое.

Аля просила Сашу, пусть разожмет руки, она задохнется. Саша разжал, она громко, с шумом, вздохнула, сказала, как это хорошо — свободно, когда никто тебя не давит, дышать. Никто, повторила Аля, пусть даже оттого, что сильно любят.

Саша поймал на слове:

— Вот и не дави!

Аля рассердилась: не надо ловить ее на слове! Ловить на слове — тоже давить.

Саша удивился, хотел сказать Але, как быстро переменялось у нее настроение, семь пятниц на неделю, но Аля, как будто угадала Сашины мысли, опередила: не семь пятниц на неделю, а рот не надо затыкать человеку.

— Слушай, — Аля говорила зло, с вызовом, — ты рот не затыкай мне!

Саша едва успел вставить слово: да кто же затыкает?

— Ты затыкаешь! — стояла на своем Аля. — Мы не двое на земле. Тебе хорошо: я с тобой. А Эдику плохо. Я пошла к нему, потому что ему плохо. Я не хотела, чтобы ему было

плохо. Я хотела объяснить, что не буду с ним, что буду с тобой, потому что...

Аля запнулась, видно было, что подыскивает слово, чуть не сорвалось с языка, но во-время спохватилась: нельзя этого слова.

— Ты не мучай себя, — сказал Саша. — Вот тебе слово — одноглазый: буду, Саша, с тобой, потому что ты, Саша, одноглазый и глаз потерял из-за меня.

Аля растерялась, хотела сказать, нет, не так, у нее и в мыслях этого не было, никогда не было, ни прежде, ни теперь. Фарфоровый глаз сделался у Саши совсем круглый, как петушиный, и смотрел сбоку, как петушиный, Аля вдруг, как раньше, когда требовала, чтоб не затыкали ей рот, сказала зло, с вызовом:

— Ну думала! А что, нельзя думать?

Саша не отвечал ни да, ни нет. Саша молчал, как будто оглох, онемел, Аля возмутилась:

— Ты, что, глухонемой: давай отвечай!

Из глаза, вставного, выкатилась слеза, Саша вынул из фартука бумажку, промокнул; другой глаз, зрячий, оставался сухой, безучастно смотрел на Алю, а Али мелькнула безумная мысль: и этот глаз неживой, Саша ослеп, Саша — слепой!

— Саша, — прошептала Аля, — ты меня видишь?

Саша пожал плечами.

— Словами, — затормошила Аля, — словами отвечай!

— Вижу, — сказал Саша, — как в тумане. Вот...

Саша провел рукой у Али по волосам, по глазам, по лицу, перечислил: каштановые волосы, зеленые глаза, матовое, с шафраном, лицо.

— Саша, — закричала Аля, обхватила руками, сжала изо всех сил, — я люблю тебя! Одного тебя! Не бросай меня, не оставляй, не предавай! Люби меня, не предавай, не гони, я твоя,

навсегда твоя! Мой повелитель, мой властелин, мой любимый, накажи меня, покарай, приказывай!

Аля дрожала вся, прижималась, терлась, как будто хочет вжаться, втереться в Сашино тело без остатка, и сама объясняла, что хочет до конца, без остатка, исчезнуть, хочет слиться с Сашей, чтоб не было никакой Али, а был один Саша и в нем, в Саше, была она, Аля.

Саша пытался успокоить, обнимал, гладил, объяснял Але, у нее аффект, гиперреакция, надо взять себя в руки, а потом самого забрал озноб, стал дрожать, называл себя всякими бранными словами — подлец, негодяй, бабуин — говорил, что один виноват во всем, что отравляет бабуинскими своими реакциями Але жизнь.

Был момент, Саша стал падать на колени, Аля с трудом удержала, показывала рукой, вокруг люди, Саша бормотал, ему плевать на людей, он виноват, он заставил ее страдать, Аля отвечала, нет, это она заставила его страдать, но это последний раз, больше никогда не повторится, она будет делать все, как прикажет Саша, и будет думать, как Саша, и ничего другого ей не надо.

— Аленок мой, — бормотал Саша, — олененок мой, самый добрый, самый чистый, самый лучший в мире!

XII

Аля получила серебряную медаль, подала документы в университет, на факультет романо-германской филологии. Для медалистов был один экзамен: по русской литературе, сочинение. Але поставили тройку. Три — непроходной балл.

Саша бегал по квартире, кричал, он так этого не оставит. Доктор Зонтаг, Сашина мама, сказала сыну, придется оставить.

Саша бросился в атаку на мать: у Али — медаль! Понимаешь, еврейке дали медаль!

Доктор Зонтаг сжала губы: вечерняя школа — ликбез. Медаль — от ликбеза.

— Мама, — совсем разбушевался Саша, — это поклеп!

Аля была в отчаянии. Аля говорила, она не хочет жить, она повесится.

Доктор Зонтаг успокаивала сына:

— Не волнуйся, не повесится. У птички крепкие крылья. Еврейская девочка. Такие делали революцию.

— Мама, — Саша размахивал руками, — ты — юдофобка! Как папа живет с тобой: ты — юдофобка!

Доктор Зонтаг одергивал сына: его русская мама больше еврейка, чем другие еврейские мамы.

— Вера, — обращался Соломон Моисеевич к жене, — это наш сын?

Вера Андреевна объясняла Саше: „Дебил, я велела записать тебе национальность по отцу”, — уходила в свою комнату и плакала.

В хорошую, в спокойную минуту доктор Зонтаг предупредила сына:

— Она накручивает тебя против матери. Помни: мама одна — жен может быть сотня.

Саша уточнил: почему сотня — у царя Соломона было семь сотен. Но у доктора Соломона Зонтага — одна. И у сына его — одна.

Вера Андреевна низко поклонилась: спасибо за сравнение.

Аля сказала Саше:

— Твоя мать ненавидит меня.

Саша развел руками:

— Откуда ты взяла?

— Саша, — повторила Аля, — твоя мать ненавидит меня.

Давай уйдем. Я не хочу, чтоб меня ненавидели. Я хочу, чтоб меня любили.

— Тебя любят, — сказал Саша. — Папа тебя любит.

Аля ответила, Соломон Моисеич не хозяин здесь. Вера Андреевна — хозяйин.

— Давай без дефиниций! — вдруг сорвался Саша. — Живешь — живи.

Аля сказала: она не хочет здесь жить, она вообще не хочет жить.

— Уйдем, — Аля подошла к Саше, обняла, — уйдем, милый.

Саша усмехнулся: легко сказать — уйдем! Куда уйдем? Идти некуда. Остался один год — интернатура. Дадут назначение — уедем.

— Саша, — сказала Аля, — давай уедем. Навсегда.

Саша не понял: навсегда? Из Одессы — навсегда? Аля покачала головой: не из Одессы, а вообще, навсегда.

— Ты что! — оторопел Саша.

— Уедем, — повторила Аля. — Все евреи едут.

Саша сказал: что значит все? Кто едет, кто не едет. Большинство не едет.

— Все едут, — твердила свое Аля. — Поедем! Ты как хочешь, а я еду.

— Подожди! — остановил Саша.

— А чего ждать? — удивилась Аля. — Пока всех нас не перебьют?

Саша возмутился: это демагогия! Где ж перебили, кого перебили — вокруг полно евреев!

— Ах, — воскликнула Аля, — будешь ждать пока всех не перебьют! А мне достаточно: в университет — фигу, в аспирантуру — фигу. Чего ждать?

С аспирантурой, сказал Саша, надо погодить: еще год интернатуры.

Аля поразились:

— Ты что, мальчиж из дурдома? Ты же сам объяснял своей маме: насчет аспирантуры господ евреев просят не беспокоиться. Саша, — Аля сделала большие глаза, — ты лицемер, ты трус и ханжа!

Саша взвинулся:

— Не навешивай ярлыков! Давай не навешивай ярлыков.!

Аля пожала плечами: какие ярлыки? Александр Зонтаг, без пяти минут доктор, лицемер, трус и ханжа.

Саша закричал не своим голосом:

— Еще одно слово — я убью тебя!

Аля расстегнула рубашку, запрокинула голову, сама подставила горло:

— На, убей!

Саша схватился за голову, подскочил к окну, растворил настежь, глаза у Али сделались холодные, зрачок огромный, черный, без дна:

— Почто медлишь! Трус, — закричала Аля — почто медлишь: аль кровушки испугался, аль правдушка душу поганую когтит!

У Али дрожали губы, лицо желтое, как будто припорошили хной, каштановые волосы, на солнце, пламенели, Саша смотрел, как замороженный, внезапно подхватил Алю на руки, она сладостно, восторженно, внутри все замерло, шепотом приказала: „Бросай!” Саша качнулся к окну, Аля, на мгновение, машинально, обвила Сашину шею руками, но тут же опустила и громко, ясным голосом нетерпеливо повторила:

— Кидай! Кидай же!

— Ай, кину! — закричал Саша, отступил назад, чтоб побольше инерции для броска набрать, и вдруг, как будто все было игрой, игра кончилась, а теперь начинается настоящее,

уложил Алю на стол, набросился с поцелуями и навалился всем телом.

— Нет! — воскликнула Аля, уперлась руками, согнула ноги, коленями стала теснить Сашину грудь.

— Ты что! — изумился Саша.

— Вон, — сказала Аля, — не хочу тебя: ты гадок мне. Ненавижу. Презираю. Иди к своей маме, выблюйся: Аля не слушается, Аля дерется, Аля бяка. Иди: мама поймет, пожалует.

— Аля, — прошептал Саша, — Аленок, что с тобой?

— Ничего со мной, — заплакала, зарыдала Аля. — Ненавижу, всех ненавижу. Что ни слово: нет! О чем ни попросишь: нет! Ехать: нет! В окно выбросить: нет! А когда же — да? Кто скажет: да!

Вечером у Саши был разговор с мамой.

— Мама, — сказал Саша, — мы с Алей решили: надо ехать.

Доктор Зонтаг не спросила „куда ехать?” Доктор Зонтаг побледнела, схватилась за грудь, в глазах застыл ужас, рот раскрыт, ни вдохнуть, ни выдохнуть, Саша сжал руку в кулак, положил на стол:

— Мама, мы с Алей решили: ехать. Решение окончательное. Кассации не подлежит.

Дыхание, наконец, вернулось, Вера Андреевна приказала сыну:

— Убери кулак!

Саша смотрел маме в глаза, держал руку, как прежде, Вера Андреевна повторила:

— Саша, убери кулак! Теперь поговорим. Первое — о причинах: почему ехать? Отец — хирург, кандидат наук, заведует отделением в горклинбольнице, на улице Шолом-Алейхема. В Одессе не говорят: горклинбольница. В Одессе сто лет говорят: Еврейская больница. Фундатор Еврейской больницы —

твой прадед. Обо мне речи нет, хотя последнему дауну ясно: доктор Вера Зонтаг и доктор Вера Иванова — это две большие разницы. Ты — интерн, через полгода врач. Что же остается? Остается она: не приняли в университет. Но на романо-германскую филологию — десять прыщавых девиц и юнцов на одно место.

— Доктор Зонтаг-не-Иванова, — Саша хватил кулаком по столу, — напоминаю: Аля не прыщавая девица, не прыщавый юнец, у Али — медаль!

— Вот, — схватилась доктор Зонтаг, — хотели не хотели, а дали медаль! Хоть еврейка, а дали! Значит, заработала — получай. А в университете не заработала. Логика? Логика.

— Нет, — вскочил Саша, — логика в том, что твой папа — Иванов, а ты — дочь Иванова, и Аля для вас — паршивая жи-довка!

— Мезальянс! — закричала доктор Зонтаг. — Саша, протри глаза: кто — ты, и кто — она! Ты — доктор в четвертом колене, а она... Сол, позови своего сына, объясни ему!

Соломон Моисеевич отказался объясняться с сыном тэт-а-тэт. Он сказал: за круглым столом — обе семьи в полном составе.

Вера Андреевна поставила круглый стол в известность: она передает свой мандат супругу. Аля сказала, она тоже передает свой мандат супругу.

— Позвольте, — воскликнула доктор Зонтаг, — но у вас нет мандата!

Соломон Моисеевич сказал жене:

— Вера, ты не права. Будем решать на паритетных началах.

— Сол, — ответила Вера Андреевна, — на паритетных началах решают равные. А здесь есть хозяйка. И хозяин.

Аля обратилась к Саше:

— Зачем ты меня позвал? Чтоб отдать на суд Линча?

— Боже мой! — схватилась за голову Вера Андреевна. — Суд Линча, дело Дрейфуса, дело Бейлиса — и это в моем доме!

— Вот, — сказала Аля Саше, — теперь ты слышал собственными ушами!

Саша, как будто ткнули каленой иглой, подскочил на своем стуле:

— Я не слышал, я ничего не слышал!

— Нет, — спокойно сказала Вера Андреевна, — ты слышал. А не слышал — я повторю: дело Дрейфуса, дело Бейлиса, суд жидоморов...

— Вера, — перебил Соломон Моисеевич, — перестань лить воду на мельницу...

Соломон Моисеевич не закончил, Вера Андреевна хлопнула ладонью по столу перед Алей:

— Девушка, вам не нравится здесь — скатертью дорога! А ритуальная кровь нам не нужна — ни кацапская, ни жидовская!

Вера Андреевна вдруг побледнела, схватилась за грудь, Саша сказал: „Мама, это уже было”. Соломон Моисеевич назвал Сашу негодяем, вынул из кармана таблетку валидола, велел жене, пусть положит под язык и отправляется в свою комнату.

Вера Андреевна таблетку под язык положила, но уходить отказалась наотрез: пусть, лучше, инфаркт, инсульт, но пока еще ее дом — ее крепость.

Аля, хотя никто к ней не обращался, подтвердила:

— Ваша крепость — да. Но не Соломон Моисеича, и не Сашина.

— Аля, — покачал головой доктор Зонтаг, — вас никто не уполномочил.

Нет, возразил Саша, уполномочили. Соломон Моисеевич поднял брови, Вера Андреевна перестала сосать свою таблетку

и усталилась на сына. Саша объяснил: наши жидоморские будни уполномочили.

Соломон Моисеевич сказал сыну: не надо сгущать — идет к лучшему. Сталин хотел выморозить евреев в Сибири. Сталина нет, а евреи, как сидели, так сидят — в Москве, в Киеве, в Одессе.

Аля сказала, это неправда: не так сидят, как сидели. И не так еще будут сидеть, и еще спасибо скажут, если только сидеть!

— Фи, — скривила губы Вера Андреевна, — какая отвратительная демагогия!

— Вера, — сказал Соломон Моисеевич, — это не демагогия. Алю можно понять: ее лично травмировали. Больнее, чем нас с тобой, больнее, чем Сашу.

Вера Андреевна посмотрела на мужа, на сына, сказала, это заговор, ей, по причинам егенического порядка, здесь не место, поднялась из-за стола и направилась к двери.

Саша крикнул вдогонку: и вообще, это не круглый стол, а шестиконечная звезда! Из дверного проема Вера Андреевна объяснила сыну: шестиконечная звезда называется Маген Довид — еврею надо бы знать.

Аля заявила, поскольку Вера Андреевна ушла, она тоже уйдет. Соломон Моисеевич остановил: нет, пусть Аля останется.

— Аля, — спросил Соломон Моисеевич, — ваши папа, мама готовы ехать?

Аля ответила, она не знает, готовы или не готовы папа с мамой ехать. Но какое это имеет значение? Они с Сашей решили ехать, а папа с мамой не дети — сами решат.

Доктор Зонтаг кивнул: да, папа с мамой не дети, именно по этой причине уместно бы знать их волю. Тем более, что, по закону, выездная виза выдается только с согласия ближайших

родственников, откуда следует, что без такового согласия ни Аля, ни Саша выездной визы получить не могут.

— А вы, — Аля поставила вопрос ребром, — вы, Сашин папа, дадите согласие или не дадите?

Доктор Зонтаг сделал движение рукой в воздухе: почему Але не начать со своих папы-мамы? А пока поставим точку.

— Какую точку! — закричала Аля. — Вы трус, доктор Зонтаг, у вас нет своего мнения! Какое вам дело до моего папы! Нет у меня папы, нет у меня мамы: сами решайте, да или нет!

Саша приказал Але, пусть заткнется, пусть умолкнет, иначе...

— Вот, — обрадовалась Аля, — заступничек: еврейский сыночек за еврейского папочку! Потому вас ненавидят, потому вас презирают: жид жида держится!

Саша схватил Алю за руку, стал тянуть к двери, доктор Зонтаг, как будто напал столбняк, хотя синие глаза оставались ясные, взгляд холодный, пристальный, наблюдал молча, потом вдруг встал, сам схватил сына за руку и приказал, пусть немедленно отпустит Алю. Саша — то ли в угаре, то ли не слышал — продолжал тянуть Алю к двери, в свою комнату, папа дернул Сашину руку с силой, повторил, пусть отпустит Алю, наконец, до Саши дошло, отпустил, Соломон Моисеевич обнял Алю, подвел к дивану, усадил, сам сел рядом и сказал:

— Аля, вы правы: доктор Зонтаг — трус. Езжайте. Доктор Зонтаг не будет ставить палки в колеса. Езжайте.

Аля схватила Соломона Моисеича за руки, хотела поцеловать, он спрятал руки в карманы, подставил щеку. Аля поцеловала, крепко обняла за шею и расплакалась.

— Перестаньте, — приказал Соломон Моисеевич, — какой пример вы подаете супругу!

Два дня Вера Андреевна не разговаривала, на третий —

объявила: муж и сын выгнали ее из родного дома, она уходит к отцу.

Доктор Зонтаг предложил жене: они пойдут вместе — Андрею Кузьмичу будет неожиданный подарок. Вера Андреевна скривилась: мало вам — добились дочь, теперь хотите добить старика!

Вера Андреевна пошла сама. Андрей Кузьмич с порога спросил: а кагал где? Верину семью Андрей Кузьмич как аттестовал двадцать пять лет назад кагалом, так держался аттестации все двадцать пять лет. Надежда Михайловна, покойная, царствие ей небесное, возмущалась, негодовала на эти мужнины кунштюки, но Андрей Кузьмич только пожимал плечами и держался своего: кагал и есть кагал, чего маслить, кагал — это у них почетно. И зять брал в свидетели:

— Соломон Моисеевич, объясните, вон, темной кацапке: кагал у вас — это вроде нашей расейской общины?

Соломон Моисеевич первый раз, когда Андрей Кузьмич обратился с вопросом, ответил, да, вроде, но тесть, хотя сам предложил параллель, тут же, когда зять согласился, отверг ее:

— Нет, Соломон Моисеич, никакого вроде и нет: в общине — руками хлеб молотят, а в кагале — руками воздух колотят.

Насчет временных трудностей, какие были в России с продовольствием с октября семнадцатого года, Андрей Кузьмич объяснял, что есть тому две главные причины, но какая из них первая, в толк никак не взять: то ли ряды пожидали, то ли жида поредели.

Сашу, внука, Андрей Кузьмич любил, при всяком удобном-неудобном случае хвастал: еврейская голова!

Саша деда не любил, всегда, при встрече, передавал поклон от Василия Васильича. Дед всякий раз морщил лоб, просил у Бога памяти и, припомнив, радостно восклицал: „Это какой

же Василий Васильич будет, Розанов, что ли, который „Об обязательном и обонятельном ощущении крови у евреев” трактат сочинил?” Саша, внук, тоже радостно, в тон деду, восклицал: тот самый! Помилуй, изумлялся в ответ Андрей Кузьмич, так ведь он, почитай, полвека тому как помер! Так, подтверждал внук, сам помер, но дух его вечно живой.

Дед опять изумлялся:

— Саша, ты не об том ли, из мавзолея? Так он ведь сам из Бланков. Он и Горькому насчет себя объяснял, что у всякого русского умника в жилах еврейская кровь течет.

Андрей Кузьмич оглядел дочь, спросил: с пустыми руками пришла али кагал весточку прислал? Вера Андреевна кивнула: не с пустыми руками пришла — весточку принесла.

Андрей Кузьмич насторожился: весточка-то какой нации будет? А вот такой, ответила Вера Андреевна с вызовом, что семья Зонтагов в полном составе подает на выезд.

Старик побледнел, однако держал себя в руках и без лихости, без обычного своего озорства спросил:

— Ты, Вера Андреевна, законы знаешь?

Вера Андреевна ответила, да, знает, потому и пришла.

— Стало быть, — уточнил Андрей Кузьмич, — понадобится отцовское благословение с нотариальной печаткой: дескать, такой-сякой имярек не возражает...

Вера Андреевна, подперши челюсть рукой, кивнула:

— Как в воду глядишь, Андрей Кузьмич.

— Так вот, — сказал Андрей Кузьмич, — катись ты, Вера Андреевна, со всем своим кагалом к чертовой матери! Не только согласия не дам, а до самого Брежнева-Андропова дойду, ежели овировские хабарники визу сварганят вам! Вон, продажная тварь, вон, чесночная душа, чтоб не смердело в доме у меня!

Андрей Кузьмич затрясся, руки беспорядочно заметались

в воздухе, рот искривился, как будто сбили ударом на сторону, вбок.

Вера Андреевна вынула из сумки пузырек, накапала в стакан, налила воды, подала отцу:

— На, пей!

Андрей Кузьмич стремительно протянул руку, ударил снизу, под дно стакана, у Веры Андреевны заплескало все лицо, она взяла платочек, старательно вытерла, сказала отцу французскую мудрость — ля герр пур ля герр! — и поставила в известность: не Андрей Кузьмич Иванов, а она, Вера Андреевна Иванова, дойдет до Брежнева-Андропова и потребует, как требовал Ленин: погромщиков — вне закона!

— Вражье семя, — закричал Андрей Кузьмич, — сионисты, бундовцы, набили, нарубили, наколошматили, а теперь — драпать! У-у...

Андрей Кузьмич поднял правую руку, хотел сжать в кулак, пальцы не сжимались, лицо перекосилось, нижняя челюсть торопливо, с дробным костяным звуком, ударялась о верхнюю, о зубы, глаза наполнились ужасом, Вера Андреевна подбежала, стала прижимать челюсть снизу, челюсть не останавливалась, Андрей Кузьмич ойкнул, из горла пошел хрип, бульканье — и свалился.

— Папа, — закричала Вера Андреевна, — папа!

Андрей Кузьмич лежал на полу, глаза в потолок, Вера Андреевна набрала номер, вызвала скорую помощь, сама поставила диагноз — инсульт — голос в трубке возмутился: давайте без диагнозов — давайте симптомы.

Вера Андреевна закричала в трубку, что она — врач, у отца инсульт, и пусть вышлют спецкарету.

Прислали обычную карету, Вера Андреевна возмутилась, врач, старый еврей, с деревянным, наверное, еще от отца или деда, стетоскопом, развел руками, чего горячиться, обычный

инсульт, надо быстрее везти человека в больницу — там есть все: кардиограф, энцефалограф, шманцелограф. Главное: довести пациента.

Повезли в Еврейскую больницу, в нервное отделение. Места в палатах не было, пришлось поставить койку в коридоре. Вера Андреевна сообщила о себе, что она доктор Зонтаг, а это — ее отец.

Заведующий отделением, доктор Розенбойм, велел старшей сестре хорошо поискать в палатах. Поискали — нашли. Андрея Кузьмича перенесли в палату. Койки были без ограждений, пришлось привязать сбоку стремянку, другая сторона была обращена к стене — больной свалиться не мог.

Примчался Соломон Моисеевич, сам осмотрел тестя, спросил Андрея Кузьмича, узнает ли зятя, больной в ответ издал тяжкий, утробный звук, похожий на мычание, видимо, узнал, Соломон Моисеевич одобрительно кивнул головой и сделал знак больному, чтобы не тревожился, лежал спокойно.

Вера Андреевна заплакала: пихнули человека в могилу, теперь одаряем советами, пусть не тревожится, пусть лежит спокойно.

Доктор Зонтаг сказал, чему быть, того не миновать. Человеческая реакция — бумеранг: что пошлешь, то и вернется.

Вера Андреевна горько усмехнулась:

— Два мира — две визы: Зонтагам — Новый Свет, Иванову — тот свет!

Доктор Зонтаг скривился: пошлый каламбур.

— Сволочи, — сказала Вера Андреевна, — все вам каламбуры, все вам хохмочки!

Соломон Моисеевич сказал жене, пусть держит себя в руках, не распоясывается, повторил: человеческая реакция — бумеранг, и указал взглядом на Андрея Кузьмича.

Вера Андреевна посмотрела: щеки у Андрея Кузьмича

запали, глаза неподвижны, челюсть отвисла, рот, как черный провал, неожиданно открылся, устрояя своей чернотой.

— Сол, — Вера Андреевна вздрогнула, вроде прохватил внезапный озноб, — это она!

Доктор Зонтаг нахмурился, видно было, что не понимает, Вера Андреевна повторила:

— Это она! Я чувствую: дурной глаз. Сол, у нее дурной глаз! Она погубит Сашу! Я чувствую, я точно знаю: она погубит Сашу!

— Вера, — строго сказал Соломон Моисеевич, — Аля — жена твоего сына, твоя невестка. Вера, прекрати.

Вера Андреевна сжала губы, сощурила глаза, как будто всматривается в даль, непонятно было, слышит или не слышит, Соломон Моисеевич тронул за руку: „Проснитесь, доктор”. Вера Андреевна тряхнула головой, в глазах было такое выражение, словно откуда-то вернулась, повторила насчет дурного глаза, что она явственно чувствует его на себе и надо немедленно принимать меры: дед — только первая жертва.

Доктор Зонтаг схватился за голову:

— Боже мой, средневековье! У меня в доме — средневековье!

Вера Андреевна сказала мужу, пусть не отчаивается: у него в доме не будет средневековья — она переберется к отцу.

Аля сама предложила Соломону Моисеичу: она, Аля, уйдет — из-за нее все несчастья.

Нет, доктор Зонтаг взял Алю за руки, слегка притянул к себе, никуда она не уйдет, пусть подадут с Сашей заявление, а Веру Андреевна надо понять: когда у Али будут свои дети, она поймет.

Андрею Кузьмичу делалось то лучше, то хуже. Вера Андреевна просила Сашу, надо подождать, пока определится с

дедом. Саша отвечал, ждать нечего: никакие инфаркты, никакие инсульты Иванова не переделают.

Вера Андреевна приходила в отчаяние: откуда у Саши эта черствость, эта злоба! Дед встанет — вот те крест, Саша! — поедем всей семьей.

Саша стоял на своем: Ивановы не мутируют.

— Саша, — теряла последние капли гордости Вера Андреевна, — мать не выдержит без тебя, мать умрет! Тебя совесть замучает. Умоляю тебя: ну потерпи, подожди!

Аля была категорически против: какой смысл ждать? У Веры Андреевны семь пятниц на неделю — то едет, то не едет, то дед отдаст концы, то реанимируется. У каждого — своя семья, свои проблемы. Чего ждать: захотят — поедут.

Вера Андреевна собралась с духом, взяла себя в руки: как с ней по-бандитски, на большой дороге, так она на большой дороге — не даст сыну согласия — пусть колдунья его наколдует визу!

Аля объясняла Саше:

— Саша, твоя мать просто сволочь.

— Не смей! — ерепенился Саша.

— Саша, — повторяла Аля, — твоя мать сволочь и чеберячка. Соломон Моисеевич — несчастный человек: всю жизнь мучаться с этой чеберячкой. Зачем? Пусть разведется.

— Слушай, — Саша не находил слов, — слушай, ты!

— Пузырь, — Аля спокойно смотрела Саше в глаза, — Саша, ты — мыльный пузырь. И папа твой — мыльный пузырь. Саша, — предложила Аля, — давай вместе пойдем к нему и скажем: „Соломон Моисеевич, знаете, кто вы? Мыльный пузырь”.

Саша размахивал руками, говорил насчет мыльного пузыря, что это безграмотное сравнение и вдобавок гнусный поклеп.

Аля пожимала плечами: это не сравнение — это определение, и никакого поклепа нет. Саша сам знает, это чистая правда.

Аля не ошибалась: Саша в самом деле чувствовал — в Алиных словах есть правда. И насчет папы, и насчет него, Саши, есть в Алиных словах правда.

Саша предупредил отца: если мать не даст согласия, он отречется от нее официально и объяснит, что отрекается по причине антисемитских взглядов и антисемитской практики его матери, которая, во-первых, находится под влиянием своего отца, в прошлом члена черносотенного „Союза русского народа“, а во-вторых, преследует свои низменные интересы, вызывая к чувствам ложно истолкованного патриотизма и ловко ухваченного всеобщего жидоедства.

Доктор Зонтаг слушал сына спокойно и, когда тот кончил, сказал спокойно:

— Саша, я тебя понимаю. Саша, ты мерзавец и клеветник. Мать между молотом и наковальней: с одной стороны — парализованный отец, с другой — мерзавец сын. Тебя просят: повремени. Дай маме — я не говорю про деда — дай маме освоиться, дай привыкнуть к мысли.

Саша вдруг взвинтился: он не мыльный пузырь, чтобы на все стороны поворачиваться радугой! Доктору Зонтагу охота повертываться на все стороны радугой, тешить всякий глаз, пусть повертывается, а Саше Зонтагу — во, Саша провел рукой поперек горла.

— Скажи, — Саша глядел на отца в упор, — ты действительно не сечешь: дед никогда не переменится, мать никогда не получит его согласия!

Соломон Моисеевич сказал: у деда инсульт. Инсульт — это инсульт.

— Короче, — еще больше взвинтился Саша, — предлагается уповать на костлявую с косой: авось, решит за нас!

Доктор Зонтаг возмущился: при чем здесь уповать, при чем здесь костлявая с косой! Есть реальность, реальность ставит фигуры, реальность убирает фигуры.

Доктор Зонтаг поднял палец:

— Реальность!

Саша тоже поднял палец:

— Субстанция Баруха Спинозы!

Соломон Моисеевич кивнул:

— Добавим: бог Баруха Спинозы, который есть этот мир, Реальность.

Так, сказал Саша, это с большой буквы Реальность, а вот реальность с маленькой буквы: либо есть согласие матери — в доме мир и лады, либо нет согласия матери — в доме мор и война, сын отрекается от матери.

Вера Андреевна пришла из больницы с радостью: к отцу вернулась речь, восстановилось движение в конечностях. Больной сам вставал с койки, сам подходил к окну, сам, с короткими остановками, вышагивал из конца в конец больничный коридор.

Вера Андреевна говорила: слава тебе Господи, камень с души свалился!

Соломон Моисеевич строго-настрого наказал Вере Андреевне: старика не вовлекать — пусть окрепнет.

Аля домогалась у Саши ответа: какое нам дело до стариков? Саша отвечал: никакого дела до стариков нам нет, но старики реальность — с реальностью надо считаться.

— А мы, — Аля тыкала себя пальцем в грудь, тыкала Сашу, — мы реальность?

Саша норовил отделаться шуткой: Аля, да, реальность, а он, Саша, нет, он фикция.

— А тогда, на чердаке, — спросила вдруг Аля, — когда Эдик выбил тебе глаз, ты тоже был фикция?

Саша побледнел, синий глаз, настоящий, не вставной, сделанный под толстым стеклом огромный, со своей, отдельно от человека, жизнью и своим, отдельно от человека, ужасом.

— Саша, — закричала Аля, — закрой глаз! Саша, я боюсь: закрой глаз!

Саша повернулся, вышел из комнаты, Аля бросилась на диван, лицом в подушку, и так, лицом в подушку, пролежала дотемна.

Саша не возвращался. Аля встала, подошла к окну, всякую далекую фигуру принимала за Сашу, хоть внутри голос назойливо твердил свое: нет, не Саша.

Вечер был теплый, почти летний, какие бывают в Одессе в сентябре, вдруг прорывался запах акации, второе цветение, от акации сладко кружилась голова, Аля прошла до кирки, на углу Лютеранского переуллка, дубовые двери, как крепостные ворота, обложены полосами железа, Аля остановилась, почудилось, скрипнули двери, тяжелым ржавым скрипом, Аля отчетливо увидела, от порога до верхнего косяка, чугунный литой крест, крест накренился, Аля машинально отпрянула, перекрестилась и, перекрестясь уже, удивилась, как же так, она еврейка — и крестится!

На углу Петра Великого и Пастера Аля остановилась — как раз у дома, где жил Эдик. Это было неожиданно. Аля совсем не думала про Эдика, Аля шла просто так, без цели, куда-нибудь, просто чтобы идти, не стоять на одном месте, и вот — она у дома Эдика, у самого подъезда.

Аля была уверена, Эдика нет дома, в такой вечер Эдик не станет сидеть в духоте, в квартире, позвонила, чтобы убедиться, Эдика действительно нет дома, дверь откроет его мама или папа, и очень удивилась, когда дверь открыл сам Эдик.

У Али прямо ухнуло внутри, как будто ударили, из живота под сердце, боксерским кулаком в перчатке:

— Ты?

Эдик, точь-в-точь как Аля, только другим голосом, тоже вскрикнул:

— Ты?

Поначалу, когда Эдик взял ее, Але было очень больно. Она всякий раз вскрикивала: ах, осторожно! осторожно! Эдик повторял за Алей — осторожно, осторожно! — но тут же движения его убыстрялись, делались порывистее, резче. Аля еще громче вскрикивала, уже не просила, уже, со слезами в голосе, умоляла, осторожно, осторожно, Эдик послушался, стал осторожнее, но Аля сама тут же приказала, не надо осторожнее, пусть как раньше, и Эдик опять убыстрял движения, опять движения его делались порывистее, резче, и опять, со слезами в голосе, Аля просила, умоляла:

— Ах, больно! Ах, осторожно!

Аля, как только Эдик взял ее, закрыла глаза и так, с закрытыми глазами, делала, в ответ на движения Эдика, все свои движения. Эдик требовал, чтобы Аля открыла глаза, но Аля не слушалась, только раз открыла, не оба глаза, а один, одним глазом смотрела на Эдика, и Эдик закричал: Аля, закрой глаз, закрой глаз!

Она очень удивилась, когда услышала это имя, Аля, она не послушалась Эдика, не закрыла, наоборот, еще больше, еще шире открыла глаз, так захотелось увидеть Алю, к которой обращены были слова Эдика. Когда сделалось очень больно, она услышала — явственно, вроде закричали прямо в ухо, — радостный Алин крик: „Ага, больно! Тебе больно! Пусть будет больно как тогда, когда выбили тебе глаз!”

Эдик замедлил движения, внезапно замер, на лице застыла гримаса, как будто не живой человек, как будто маска,

Алю затошнило, она чувствовала, еще мгновение, ее вырвет, рывком подобрала колени, повернулась на бок и сбросила Эдика на пол.

— Сука! — закричал Эдик плачущим голосом. — Что делаешь!

Теребя, тиская между ног обеими руками, Эдик подергался на полу, вскочил, Аля поспешно натягивала одежду, хотел наброситься, Аля подняла туфли, каблуками вперед, и предупредила: одно движение — выколет оба глаза!

По Ланжероновской спустилась в порт. В порту шла обычная ночная жизнь: ухали басовыми, ломкими, как у подростков, голосами буксиры, ворочали, мечась между судами и причалами, негнушимися своими шеями краны, с крошечными головками динозавров, на темени красные огоньки, лязгали буферами железнодорожные вагоны, глухо, методично, загоняя в землю железобетонные сваи, ударял паровой молот.

Купаться в порту строго воспрещалось. Аля выбрала место поглуше, причал для морских трамваев, примерилась глазом, разбежалась, перепрыгнула на катер, постояла у борта, рядом, у соседнего причала, пришвартован греческий теплоход „Эллада“, на палубе ни души, в иллюминаторах темно, только в одном свет, Аля сняла туфли, платье тоже хотела снять, но передумала, белое тело заметнее, прыгнула и поплыла.

Вода была теплая, пахло гниющими водорослями. Рука ударилась о липкое, тяжелое. Аля вскрикнула:дохлая чайка, вся обложена мазутом.

Дальше вода была чище, надо было обогнуть причал, выйти к корме „Эллады“ и спрятаться между бортом и пирсом. Пограничный кордон был на берегу, пограничники поставили ограду из деревянного съемного штакетника, а сами засели в конторке пакгауза. Аля наметила конец, привязанный

к кнехту, оба — канат и кнехт — в тени, никто не заметит, как взбирается человек.

Аля была совсем уже близко от кормы, когда затарахтел мотор. Поначалу, в какую сторону ни ворочала головой, невозможно было понять, откуда идет таракхтенье: казалось, таракхтит отовсюду. Вдруг, из-под самого носа „Эллады”, вынырнул серый катер, с ветровым стеклом от борта до борта, с прожекторами по обе стороны от стекла. Огни направили прямо на Алю, первое ощущение было, что вот-вот ослепнет, такой яркий был свет. Аля зажмурила глаза, но все равно, как ни жмурилась, свет пробивался и через веки. Аля нырнула, таракхтенье тут же усилилось, катер набирал скорость, Аля держалась под водой сколько могла, пока хватало дыхания; вынырнув, чуть не ушиблась головой о нос катера.

Пограничники — их было двое, один с автоматом наперевес — приказали подняться на борт, один схватил Алю за руку, стал подтягивать, Аля перебросила ногу через борт, перевалилась и плюхнулась на дно.

В конторке Алю ждал капитан погранвойск, высокий, блондин, с пшеничными усами, очень строгое лицо, впечатление, что никогда не улыбается. Аля только успела подумать, что капитан никогда не улыбается, он улыбнулся, сказал Але, пусть пройдет в туалет, хорошенько выжмет платье, велел старшине подать Але пяток газет, когда выжмет, пусть промокнет платье газетами, будет почти сухое, и возвращается.

Когда Аля вернулась, первые слова капитана были:

— Молодец, хорошо на воде держитесь. Мы регату вашу с самого начала наблюдали, когда с пирса в воду прыгали.

Нет, сказала Аля, она не с пирса прыгала — она с катера прыгала, на другом причале.

— Ого, — удивился капитан, — так вы, стало быть, повыше квалификацией! А куда путь, можно узнать, держали? Далече?

Аля пожала плечами: она не знает, далече или не далече — на тот свет путь держала.

— Далече, стало быть, — сделал вывод капитан. — А грек зачем?

Аля опять пожала плечами: какой грек? Она не знает никакого грека. Она вообще никого не знает, и знать не хочет: она умереть хочет.

Капитан приказал пограничникам, пусть выйдут, остались вдвоем, налил, из электрического чайника, чаю Але, себе, и вдруг, ни с того ни с сего, спросил:

— Вы какой нации: еврейка?

Аля хотела сказать правду, да, еврейка, но вместо этого покачала головой: нет, не еврейка — молдаванка.

Капитан кивнул, ясно, подал Але телефонную трубку, набрал номер и приказал:

— Быстро: имя, фамилия, год рождения, адрес. Цель пребывания на территории порта.

Аля быстро, как приказал капитан, перечислила без запинки, насчет цели пребывания на территории порта немного замялась, но повторила прежнее — хотела утопиться, умереть — капитан взял из рук у Али трубку и сказал:

— Зонтаг, вы арестованы при попытке пересечь государственную границу СССР!

Аля вся похолодела, капитан смотрел пристально, как в кино смотрят пограничники на пойманного диверсанта, подал Але листок бумаги и велел подробно все изложить: когда созрел план перехода через границу, с кем была в контакте на берегу, с кем была в контакте из экипажа „Эллады”.

Аля отодвинула листок бумаги, сказал, что писать ничего не будет, а если хотят ее расстрелять, пусть расстреливают — она все равно не хочет жить. А не расстреляют — она сама покончит с собой.

Капитан велел Але положить левую руку на стол, ладонью кверху, посмотрел, провел пальцем по ладони и уверенно произнес:

— Долго жить будете, девушка. А дров наколете. Наколете! — повторил капитан.

Аля вдруг расплакалась, повторила, что не хочет жить и пусть, лучше, ее расстреляют.

— Зонтаг, — грубо осадил капитан, — прекратите свое кликушество! И благодарите судьбу...

Капитан не закончил своей мысли, почему Аля должна благодарить судьбу, махнул рукой и предупредил, что сейчас за ней приедут. Аля спросила, кто приедете, капитан не ответил, внутри у Али опять похолодело, капитан улыбнулся, улыбка была нехорошая, и зло сказал: развелось нынче охотников устраивать себе Голгофу на чужих горбах!

Когда Саша приехал, уже светало. Саша, прямо с порога, бросился к Але, стал обнимать, Аля заплакала, Саша, как заводной, уговаривал, не надо плакать, все хорошо, не надо плакать, Аля, наоборот, от этих уговоров еще больше разрыдалась, и не было никакой возможности унять.

Капитан наблюдал молча, барабанил пальцами по столу, сделал движение рукой, как будто хотел привлечь внимание, сказать слово, но, нет, ничего не сказал, только потом, когда Аля стала утихать, обратился к Саше:

— Зонтаг, возьмите свою... — капитан замялся, — молдаванку, да держите покрепче, а то, знаете, племя, молдаваночки-цыганочки!

Саша приехал на папиной „Волге”. Аля, как только сели в машину, сказала Саше:

— Саша, я должна...

Саша оборвал Алю на полслове, сказал, она ничего не должна, наоборот, он должен, он заварил кашу, и вся ответственность

на нем. Это счастливый случай, что попался такой гебист, это просто счастье, невероятное везенье.

— Вообще, — Саша хлопнул в ладони, — Аленок, ты везучий, ты неимоверно везучий!

Дома, когда легли, Саша повернулся лицом к стене, Аля проложила между собой и Сашей одеяло, он одобрил, сказал, Аленок измаялся, должен отдохнуть. Аля не ответила, притворилась, что спит, может, на самом деле спала, да, действительно, спала, потому что вдруг, как бывает только во сне, Алю подбросило, оборвалось сердце, Аля закричала, сорвала с себя одеяло и прижалась к Саше:

— Саша, я люблю тебя! Одного тебя! Саша, я люблю тебя!

Саша, как лежал лицом к стене, так продолжал лежать, завел правую руку назад, погладил Алю, она прижалась еще крепче, затряслась вся, стала дергать Сашу, чтоб повернулся к ней лицом. Саша рассердился, сказал, давай спи, а то весь день разбит, Аля оставила Сашу в покое, утихла, было впечатление, что опять уснула, Саша осторожно, чтоб не потревожить, повернулся на спину, глаза у Али были широко раскрыты, смотрели в потолок, Саша воскликнул: „Ты не спишь!” — Аля повернулась к нему лицом и чистым, звонким, как будто давно уже день, голосом произнесла:

— Саша, я была с Эдиком.

Саша обнял Алю, тихонько захрапел, Аля повторила:

— Саша, я была с Эдиком. Я отдалась. Сама.

Саша перестал храпеть, слышно было, как цокают электрические часы — цок! цок! цок! — вдруг постучали в дверь, Саша не успел ответить, дверь отворилась, на пороге стоял папа:

— Дед умер. Андрей Кузьмич.

Хоронили на следующий день. Вера Андреевна держалась

хорошо, только на могиле, когда могильщики стали торопливо сбрасывать лопатами землю, громко заплакала, Соломон Моисеевич хотел обнять, она уклонилась, люди заметили, стали шептаться, Вера Андреевна не обращала внимания, продолжала стоять одна — отдельно от мужа, от сына.

На поминках Саша выпил много водки, но голова оставалась ясная, говорил с Алей все время о Фрейде, о фрейдовских механизмах переноса, замещения, отождествления. Эти механизмы не подвластны сознанию и воле человека, ключ к этим механизмам — в подкорке, в подсознании.

Саша привел пример: жена обижена на мужа, хочет наказать его. Неведомо для себя она перевоплощается в своего мужа, идет к мужчине, отдается ему, и тот в половом акте, по сути своей, гомосексуальном, унижает, карает обидчика, ее мужа.

Современная этика слишком однозначна, прямолинейна, она неспособна справиться с трюками нашего подсознания. В результате: вместо расследования — осуждение, вместо суда — самосуд.

Аля сказала:

— Саша, хватит пить — ты совсем пьяный.

Нет, возразил Саша, он нисколько не пьян, напротив, такой ясности в мыслях давно не было. Аля предложила, давай пройдемся, Саша согласился, давай.

Маршрута не выбирали, шли просто так, иногда Аля предлагала, повернем направо, повернем налево, поворачивали направо, налево, продолжали разговор о подкорковых механизмах. Саша засмеялся: подкорка — вот он где, ящик Пандоры! Остановились на углу Петра Великого и Пастера, Аля вздрогнула, Саша, продолжая еще смеяться своей шутке насчет ящика Пандоры, внезапно развернулся, ахнул Алю кулаком по уху, Аля упала, Саша подскочил, схватил ее под мышки, стал целовать руки, лицо, глаза. Аля тоже стала

целовать Сашу — руки, лицо, глаза — и так, целуясь, прошли целый квартал.

Потом Саша извинялся, называл себя всякими гадкими словами и объяснял Але, что это все проклятая поджорка, которая превращает человека в подонка, в свинью.

Аля зажимала Саше рот: замолчи!

Ночью, уже совсем трезвый, Саша сказал про Эдика, что тот последний мерзавец, такие не останавливаются ни перед чем.

Светало, то ли во сне, то ли наяву, Але почудилось, кто-то плачет. Аля открыла глаза: Саша стоял у окна, держась обеими руками за раму, плечи тряслись, Саша положил голову на вытянутые руки, у Али сжалось сердце, она встала, подошла к Саше, обняла:

— Саша, мы оба виноваты: дед, Андрей Кузьмич, умер из-за нас.

Да, мотнул головой Саша, из-за нас: дед был крепкий, мог бы жить и жить.

— Саша, — Аля стояла голая, прижалась сзади всем телом, как будто мостится, — ты не волнуйся за последствия: я сбросила Эдика. Он упал, на пол, гадость его вся попала на пол. В меня ни капельки не попало.

Саша закрыл лицо руками: дед стоит перед ним, как живой, грозит кулаком, хохочет — нахоть, выкуси, сукин сын!

На следующий день Вера Андреевна сказала сыну:

— Оформляй документы на всех. Все поедет.

Соломона Моисеевича исключили из партии, сняли с должности заведующего отделением и перевели дежурным врачом в приемный покой.

Веру Андреевну главврач и секретарь партбюро уговаривали не ехать.

— Вы русская женщина, — говорил секретарь, — зачем

вам это? Без мужа не останетесь — найдем вам мужа. Нашего, русского человека.

Вера Андреевна ответила секретарю: вот, поэтому, чтоб не искали ей нашего, русского человека, она едет. Главврач сказал, что Вера Андреевна заражена сионистской бациллой. Секретарь поправил: не заражена, а сама сеет и распространяет сионистскую спирохету. Вера Андреевна пожала плечами: спирохета — не бацилла сионизма, спирохета — бацилла сифилиса, но в устах партначальства сойдет — как метафора.

Партначальство согласилось, сойдет, но не как метафора, а как аббревиатура СС. Главврач засмеялся: очень метко — то ли спирохета сионизма, то ли спирохета сифилиса, все одно СС.

Через месяц ОВИР Одесского областного управления МВД сообщил, что Зонтагу, Соломону Моисеевичу, бывшему начальнику медицинской части номерного завода, в выездной визе, как имевшему спецдопуск к военным объектам, отказано.

Аля сказала Саше, можно было предвидеть заранее, она тысячу раз предупреждала: не надо ждать, не надо связываться со стариками.

Соломон Моисеевич утешал Алю: не будем отчаиваться, если надо, он сторожем может работать, грузчиком — во, Соломон Моисеевич сжал руку в локте, показал свои бицепсы — а дети, Аля и Саша, пусть подадут на визу отдельно.

Аля прямо вся кипела, вспомнилось любимое выражение Эдика — на чужой ж... все операции легко переносятся! — хотела привести, но посмотрела на этих Зонтагов, на отца, на сына, Вера Андреевна ушла к себе в комнату пустить слезу, и передумала, вместо этого сказала:

— Это легче всего — сторожем, грузчиком. А мы, давайте, с плакатами, давайте, на демонстрацию, как евреи в Москве!

Саша сразу загорелся: давайте! Соломон Моисеевич

похлопал Алё по плечу: хорошо придумала, девочка, но Москва — это Москва, корреспонденты, дипкорпус, а в Одессе в два счета схватят за жену и в кутузку.

— И вообще, — быстро проговорила Аля, — на чужой жопе все операции легко переносятся.

Саша сделал большие глаза.

— Да, — повторила Аля, в этот раз без спешки, — на чужой жопе все операции легко переносятся.

Соломон Моисеевич засмеялся, сказал, очень меткое наблюдение, сам повторил, Аля вдруг покраснела, подошла к тестю, наклонила голову и попросила извинения:

— Папа, извините.

Соломон Моисеевич обнял Алё, прижал к себе, поцеловал, Але хотелось, чтобы Соломон Моисеевич держал подольше, не отпускал, сама стала прижиматься, про Сашу совсем забыла, вспомнила только, когда услышала его голос: хватит подлизываться!

Аля каждый день ходила в ОВИР, вставала в шесть утра, сама составляла списки на очередь к начальнику, в ОВИР'е про нее говорили, что она активистка и агент сионизма, люди из очереди обращались к ней с разными вопросами по поводу вызова, откуда лучше, из Америки или из Израиля, по поводу визы, по поводу обходного листа об отсутствии задолженности перед городским прокатом, перед торговлей, перед телефоном, перед энергосбытом, перед банно-прачечным комбинатом, перед конторой похоронных предприятий и вообще перед всей Одессой и всей советской властью. Насчет обходного листа Аля давала подробные объяснения, рисовала на бумажке маршрут и каждому сообщала, что обходной лист — это произвол одесского ОВИР'а, в других городах этого нет, и призывала написать письмо-протест в Москву, министру внутренних дел.

Капитан Данилова, замначальника отдела, при людях

говорила Але, чтобы прекратила свои жидовские шахер-махе-ры, а то получит по сраке, забудет, как звали, Аля отвечала капитану Даниловой, как бы та сама не получила по сраке, капитан Данилова брезгливо сплевывала на пол, называла Алю вонючей Гесей Гельфман и говорила, евреи в Одессе пусть остаются, а жидов всех вычистим, пусть смердят у себя на исторической родине или среди негров в Америке.

Однажды утром, приема в этот день не было, но люди все равно толклись у подъезда, капитан Данилова сама пригласила Алю.

— Садись, — сказала капитан Данилова. — Ты чего хочешь? Ехать? Вот, почитай письма из Америки, из Израиля: на карачках, говорят, приползем обратно в Одессу; чтоб мы оглохли, чтоб ослепли, чтоб руки, чтоб ноги у нас отсохли до того, как увидели и дотронулись до этого гнусного вызова!

Аля прочитала, капитан Данилова внимательно следила, положила письма обратно в конверты и сказала:

— Ну? Дура, с твоим характером, с твоей настырностью — куда тебе ехать, зачем, здесь устроишься, наши кацапки, хохлушки ногти будут грызть от зависти. Ну?

Аля выпрямилась, на губах играла улыбка, немного дрожали руки, спрятала под стол, чтоб Данилова не видела, и твердо ответила:

— Ехать.

— Дура! — рассердилась капитан Данилова. — Как дочери говорю: дура! На тебе, хавай свою визу, езжай к ебени матери! Дура!

— Спасибо, — сказала Аля, на глазах стояли слезы. — Спасибо.

— Выматывайся, — махнула рукой капитан Данилова. — Неделя — и чтоб духу твоего не было здесь!

Вера Андреевна, когда узнала про визу, заплакала, обняла

Алю, сказала, вот вам деньги, тысяча восемьсот рублей, по девятьсот рублей за визу, положила на стол два конверта, а под занавес — опять в слезы:

— Я не выдержу, я умру без него. Аля, берегите Сашу, умоляю вас: берегите Сашу!

Аля составила список, с кем прощаться. Папа и мама не в счет, к Лине не заходила с того времени, с Крыма, и заходить не будет, с Эдиком попрощались. Интересно: придет на вокзал или не придет?

Уже легли с Сашей спать, позвонила мама: Лина отравилась. У Али все оборвалось внутри: ее, Алину, вина — не понимала, не видела, как плохо Лине!

Лину отвезли в отделение акушерства и гинекологии медицинского института, на Пастера. Аля тут же оделась, Саша пытался остановить, время позднее, все равно не впустят, тем более в операционную. Кончилось тем, что помчались оба.

Саша оказался прав: Лина была в операционной — не впустили, не могло быть и речи.

Окно операционной выходило во двор. Саша подсадил, Аля взобралась на карниз, ногтями вцепилась в раму; прижавшись к стеклу, молча, всматривалась, вдруг вскрикнула: „Она!“ — и сорвалась. Счастье, Саша успел подхватить, а то бы навзничь, о камни, головой, позвоночником, калека на всю жизнь.

Слонялись по двору, взад-вперед, Саша смотрел на часы, пожимал плечами, какой смысл, Лине никакой пользы, и никому никакой пользы — пустая трата нервов и времени.

Аля заплакала: эгоисты, сволочи — человек умирает, а им главное свои нервы, своя польза.

В операционной погасили свет, Саша сказал, все, пациента перевезли в палату.

Аля заявила, она должна повидать Лину. Она не уйдет, пока не повидает Лину.

Под аркой, которая вела во двор, были решетчатые ворота, створы связаны цепями, на цепях пудовый замок. Аля сказала Саше, пусть подымет замок и подержит, чтобы можно было развести створы.

Аля пролезла, одно окно, из коридора во двор, было открыто, выждала момент, когда никого в коридоре не было, взобралась на подоконник, спрыгнула, побежала вдоль, до первого поворота, и притаилась у стены, за каталкой. Прошли двое, врач и сестра, остановились у поворота, постояли, Саша весь напрягся — вот, нарвалась! — но, нет, постояли, разошлись, Аля вышла из-за каталки, стала осматриваться, и тут только дошло до Саши, что помещения она не знает, что надо было объяснить, где послеоперационная палата, а он не объяснил, и теперь придется ей заглядывать в каждую дверь.

Прошло три четверти часа, каждую минуту Саша проверял время, становилось невмоготу, наконец, решил, если через четверть часа, начиная с этой минуты, Аля не вернется, он сам переберется через ворота, через окно, как сделала Аля, в отделение, а там будь что будет.

Едва Саша принял решение, из больничного коридора донесся Алин голос, самой еще не было видно, потом, из-за поворота, появилась Аля, с двух сторон держали ее под руки, один в белом халате, один в сером, Аля брыкалась, пыталась освободить руки, вдруг останавливалась, упиралась, тогда ее тащили волоком, она кричала, что здесь не врачи, не больница, здесь тюремная камера, палата номер шесть, а вместо врачей надзиратели и палачи.

В дверях, когда Алю уже вытолкали, но не успели захлопнуть, она закричала, что ее сестра умирает, а палачи не дают сказать последнее прости!

Дверь захлопнулась, гроыхнул изнутри железный засов, Аля стала дергать и колотить кулаками, Саша подошел сзади, пытался ухватить за руки, Аля ногой, каблуком, ударила Сашу по голени, боль была адская, как будто раскалили прут и прижгли. Саша едва сдержал себя, чтобы не ответить, Аля вдруг заплакала, сама обняла Сашу, положила голову на плечо и спокойным, холодным голосом, произнесла:

— Лина умирает.

Саша спросил:

— Ты видела Лину?

Аля сказала, нет, она не видела Лину, она не нашла палату, но она чувствует: Лина умирает. Аля стала дрожать, опять заплакала и повторила: она чувствует — Лина умирает.

Саша рассердился:

— Прекрати! Лина в послеоперационной палате. Когда перевезут ее в свою палату, можно будет навестить.

Аля спросила: „Ты уверен?“ Да, ответил Саша, уверен. Аля обняла Сашу, поцеловала и тихонько засмеялась:

— Саша, я люблю тебя! Саша, ты сильный — я люблю тебя!

Утром, Аля и Саша еще спали, позвонила мама: Лина устроила себе искусственные роды, ребенок родился мертвый. Лина умерла.

— Саша, — голос у Али был спокойный, холодный, как минувшей ночью, в больнице, — я убийца: я убила Лину. Я оставила ее одну, я нужна была ей, она ждала, она звала, я слышала — и не пришла. Саша, я убийца.

Аля оделась, Саша тоже оделся, сказал, пойдем вместе, он не отпустит Алю одну, нет, ответила Аля, не пойдем вместе, она хочет побыть одна.

— Аля, — Саша взял за руку, — Аленок...

Аля выдернула руку: нет!

Полдня Аля слонялась по городу: заходила в магазины,

толклась в рядах Нового базара, на Привозе, спускалась на эскалаторе от Дюка, памятника Ришелье, в порт, обратно, на бульвар, взбегала, чуть не выскакивало сердце, по Потемкинской лестнице.

Вечером пошла к Эдику. Эдик спросил: зачем пришла? Аля сказала, прощаться пришла: получили визу. Эдик нахмурился: пугаешь? Нет, покачала головой Аля, через пять дней — ту-ту, навсегда.

Эдик лег на диван, голову накрыл подушкой, руки выпрямил, вдоль туловища, подушка подрагивала, как будто снизу подталкивал вибратор, Аля подошла, сняла подушку, Эдик с силой вырвал, опять накрылся, прижал руками, Аля осторожно развела руки, сняла подушку, пригладила у Эдика волосы, поцеловала в лоб, Эдик вдруг заплакал, закрыл лицо ладонями и забормотал:

— Не уезжай! Алька, не уезжай! Не уезжай, Алька!

Аля попросила, пусть подвинется, прилегла рядом, сказала про Лину, умерла Лина, Эдик затрясся весь и стал выкликать вздох, как юродивый:

— Не уезжай: это смерть! Не уезжай — и ты умрешь! Я люблю тебя, не уезжай!

Аля обняла Эдика, он утих, оба лежали молча, Аля смотрела в потолок, Эдик привстал, заглянул Але в лицо, она чуть свела глаза, чтоб лучше видеть его, Эдик наклонился, лицо сделалось жесткое, напряженное, Аля спросила, чего хочет, Эдик не ответил, Аля пожала плечами и сказала:

— Делай, что хочешь.

Когда Эдик входил в нее, у Али было ощущение, что вводят неживой предмет, предмет распирает стенки влагалища, распирает кости таза, хотелось немедленно вытолкнуть предмет, Аля сдержала себя, сказала Эдику, пожалуйста, давай побыстрее, Эдик ответил, быстрее нельзя, у Али внутри все

сухо, Аля стояла на своем, все равно, пусть делает быстрее, Эдик сказал, он боится причинить боль, ничего, ответила Аля, пусть будет больно, только быстрее, Эдик, как только Аля произнесла эти слова, про боль, вдруг задержался, завыл и сник.

— Все, — сказала Аля, — попрощались.

Аля поцеловала Эдика, Эдик хотел обнять, просил побыть еще пять минут, еще минуту, Аля оттолкнула и решительно сказала: нет.

На углу Петра Великого и Пастера, у автомата, Аля осталась, чтобы позвонить Саше: пусть не волнуется, она идет домой. Телефон не отвечал. Аля набрала номер еще раз: телефон не отвечал. Монетка выпала из рук, Аля наклонилась, чтобы подобрать. Пока стояла так, наклонясь, из-за дерева метнулся человек, Але показалось, Саша, но тут же сама себе объяснила: нет, не Саша, не может быть, Саша не стал бы прятаться за деревом.

Домой пришли почти одновременно, едва Аля успела отворить дверь, вслед за ней появился Саша.

— Где ты была? — спросил Саша. — Я думал, сойду с ума. Где ты была?

Аля сказала, она бродила целый день по городу, не могла найти себе места, проходила мимо дома Эдика, хотела попрощаться, чтоб не замучила совесть, и объяснила Саше, что Эдик очень несчастный, если не пожалеть его, он может наложить на себя руки, может погибнуть, как погибла Лина.

Аля ожидала, Саша будет кипятиться, будет возмущаться, но Саша не кипятился, не возмущался, наоборот, сам сказал, да, с Эдиком, какой ни есть, следует попрощаться, потому что в последний раз, последний шанс, больше никогда в жизни не увидятся, но прощаться надо не у Эдика дома, Аля сама знает, чего можно ожидать от него, а надо прощаться где-

нибудь в нейтральном месте — на Соборной площади, в Городском саду или просто на улице, где вокруг всегда люди.

— Я придумал, — обрадовался Саша, — пригласи его к Дюку, я постою поблизости, где-нибудь за деревом, и не надо будет опасаться.

Аля была поражена:

— Саша, ты мог бы прятаться за деревом и тайком наблюдать? Саша, ты мог бы выслеживать и шпионить?

Саша обиделся: при чем здесь выслеживать, шпионить, если речь идет о ней, об Але, о ее безопасности! Саша снова повторил: это исключительный случай, когда заранее нельзя предвидеть...

— Чего нельзя предвидеть? — перебила Аля. — Ты, давай, не юли, говори прямо: чего нельзя предвидеть? Все можно предвидеть. Ты прекрасно знаешь: все можно предвидеть. И не прикидывайся мальчиком из дурдома, и не нужен мне никакой Дюк, не нужна мне твоя опека! Лина кричала, звала на помощь, а я бросила ее, потому что ты день и ночь требовал от меня: я один, люби меня одного, забудь всех на свете, забудь — я один! И плевать тебе было на других людей, плевать, что им тоже нужна забота, им тоже нужна любовь. Саша, ты чудовищный эгоист!

Саша сказал, нет, он не эгоист, он сам отведет Алю к Эдику, он понимает, Эдику тяжело. Аля права, она должна попроситься с Эдиком. Если Аля хочет, пусть сама идет к Эдику.

Аля смотрела внимательно на Сашу, смотрела, как он размахивает руками, сечет ладонью воздух, и спросила:

— Саша, ты в самом деле хочешь, чтобы я пошла к Эдику?

Саша перестал размахивать руками, остановился перед Алей, взял обеими руками за голову и сказал:

— Аля, ты не хочешь к Эдику. Я знаю, ты не хочешь. Но иди. Ты должна. Я разрешаю тебе: иди.

Аля обняла Сашу, прижалась, стала бормотать: самый родной, самый любимый, самый чистый на земле, другого такого нет, она будет вечно любить Сашу, и никто другой никогда не будет нужен ей! И если Саша не бросит ее, она будет самая счастливая. Она будет такая счастливая, что просто стыдно и совестно перед людьми, потому что такое дано только ей, и никому другому — только ей, и никому другому на свете.

— Ударь меня, — сказала Аля, — сделай больно. Я хочу, чтоб мне было от тебя больно. Милый, родной, ударь меня: хочу, чтоб мне было от тебя больно! Пусть мне будет страдание от тебя!

Саша поднял руку, отвел в сторону, Аля отступила, чуть качнулась, как будто хотела уклониться, Саша держал руку на весу, Аля закричала: „Ну, бей же, бей, говорят тебе!” — Саша вдруг схватился за голову и закрычал в ответ:

— Не могу, Аленок, не могу!

Глаза у Али были совсем желтые, песчаной желтизны, Саша зажмурился, как жмурятся от нестерпимо яркого света, Аля сказала: „Трус, открой глаза!”

Саша не открыл, наоборот, закрыл глаза руками и стал обзывать себя всякими нехорошими словами:

— Аля, я мерзавец, патологический тип: я хотел ударить тебя, хотел бить тебя! Аля, прогони меня: я — мерзавец!

Аля взяла Сашу за руки, отвела от глаз и сказала:

— Ты не мерзавец, Саша. Ты не мерзавец — ты хуже: ты — трус и ничтожество.

На ночь легли врозь, потом, под утро, Саша перебрался к Але, крепко обнял ее и через каждую секунду делал движение, как будто хочет втереться в Алино тело, втереться без остатка, чтоб его, Саши, не стало.

— Милый, — шептала Аля, — любимый, единственный! Я люблю тебя! Если бы ты знал, как я люблю тебя!

На другой день Вера Андреевна сказала Але:

— Аля, я была неправа, я была несправедлива к вам. Саша очень любит вас. Будьте счастливы. Берегите Сашу: он хороший, он добрый. Вам будет хорошо с ним.

С мамой у Али вышла тяжелая сцена: сначала мама занималась своими делами, вроде не к ней пришли, а так, завернул на огонек случайный человек. Потом, ни с того ни с сего, мама вдруг стала кричать про детей, что они сволочи, родишь, кормишь, воспитываешь, одни муки, а они, приходит время, пинают мать-отца ногами и доказывают, что так и надо.

Выкричавшись, мама набросилась на Алю с поцелуями и горько заплакала.

Пока мама кричала и бранилась, у Али было спокойно на душе и она думала про себя, как хорошо, что уезжает, наконец, из этого ада. Потом, когда мама горько заплакала, без слов, без жалоб, то целуя, то заходясь в слезах, Але стало по-настоящему жалко маму. С того дня, когда Аля позвала милицию и папу арестовали, мама то грызла Алю, говорила, что она Павлик Морозов, хуже Павлика Морозова, потому что у Павлика Морозова отец был кулак и враг советской власти, а у Али папа — фронтовик, слесарь, золотые руки, добывает кусок хлеба своими мозолями; то, наоборот, ругала папу последними словами, называла Алю аленьким цветочком, единственным светлым пятном в жизни, которая ей не нужна, живет только ради нее, Али.

— Где папа? — спросила Аля.

Мама пожала плечами:

— Зачем тебе папа? Разве он тебе папа? Разве ты дочка? Разве дочка пойдет доносить на папу, чтобы его посадили в тюрьму, как бандюгу, как уголовника!

— Мама, — Аля старалась держать себя в руках, — к чему это? Мы уже установили: твоя дочь — стукачка.

— Сексота, — вдруг опять стала кричать мама, как будто не было слез, не было поцелуев, — сексота! Разбила семью, разбила сердце папе, маме, а теперь — ту-ту! — и за границу! Вспомнила вдруг: она еврейка! Ты не еврейка, ты — жидовка! Евреи не едут — жида едут!

Аля сказала:

— Вот, за это нас ненавидят: сами себя ненавидим.

— Это вы, жида, — совсем потеряла контроль над собой мама, — ненавидите себя! Из-за вас евреев ненавидят, все из-за вас, жида вонючие!

Внезапно открылась дверь, на пороге стоял папа, в костюме, при орденах и медалях, которые получил на фронте.

— Скажи ей, — папа не смотрел на Алю, папа смотрел на маму и показывал в Алину сторону пальцем, — скажи ей: мне Ваньки дороже, чем ее Ицики! Ванька меня с поля боя вынес, спас мне жизнь, а Ицики пили из меня кровь и тянули последний рубль! Иисус был еврей, он был хороший, честный еврей, папа у него был плотник — они его убили, жида! Советская власть им не нравится — а советская власть, Сталин спасли их от Гитлера! Ноги должны целовать советской власти. Вон, — папа распахнул двери настежь, — вон, чаклунка, ведьмак, вон, малхамовэс, чтоб не поганила дом, чтоб не смердела!

— Папа, — сказала Аля, — прости меня. Пожалуйста, папа, я очень-очень прошу тебя: если можешь — прости.

— Боже мой, — мама заломила руки, — Боже мой, надо иметь железное сердце, чтобы это выдержать!

Папа сделал шаг вперед, захватил Алю в объятия, прижал к себе изо всех сил и весь затрясся:

— Девочка моя! Дитя мое! Ой, вэй из мир!

Прижимая Алю, папа бормотал: Адонаи Элогейну... Адонаи Элогейну... Барух ата Адона-й...

— Не помню, — сказал папа. — У меня нет памяти. Иди.

Аля хотела поцеловать, папа остановил, махнул рукой:
— Не надо. Иди.

XIII

В Вене хозяйка пансиона, фрау Августина, кричала своим сильным голосом:

— Гавноеды! Дрекшайзе! Вы не стоите тех денег, которые мы на вас потратили. Вас выкупили, чтобы вы ехали в Израиль, а вы драпаете в Америку. Дрекшайзе, пархатые, ферфлюхте юден! Нас гноили в концлагерях, а теперь мы должны мыть вам жопу и создавать условия, и вы еще недовольны: крана в комнате нет, бидэ нет, уборной нет! А срать на улице, под забором, как вы всю жизнь срали в своей вонючей России, разучились!

Люди слушали молча, на глазах стояли слезы, Аля одна возмутилась:

— Россия не вонючая! И мы не делали под забором. Это у вас мы делаем под забором.

— Еб твою мать, — фрау Августина держала на поводке террьерера, с силой дернула, пес заскулил, — кого мы тянем на свою голову! И это евреи! Вы не стоите обрезков наших мальчиков! Давайте, драпайте на курорт, драпайте в Америку, пусть ваши дочери спят с неграми, плодят своих байстрюков, своих мамзеров!

— Бандерша! — громко сказала Аля. — Все знают: у вас притон, за наш счет вы устроили притон.

— Гиви! — затопала ногами фрау Августина. — Еб твою мать, Гиви, где ты пропал? Позови полицию, и пусть составят акт.

Гиви, симпатичный парень, немножко похож на грузина, немножко на еврея, сказал Але:

— Слушай, девочка, зачем лишние неприятности? Здесь не Россия, здесь свободная страна — каждый отвечает за свои слова. Извинись перед фрау Августина, объясни: дорога, то да се, мол, немножко погорячилась, виновата.

Аля ответила, она не будет извиняться, наоборот, она сама требует: пусть позовут полицию.

— Свидетели! — закричала фрау Августина. — Кто свидетели, выходи, шаг вперед. Гиви, переведи.

Гиви перевел, люди слушали молча, никто не выходил.

— Ха-ха! — захохотала фрау Августина. — Пся крев, нет свидетелей! Русские евреи, где ваша совесть, где ваша гордость, или у вас только одна работа — строить коммунизм! Так возвращайтесь в свою Россию — Брежнев скажет вам: „Хлеб-соль, жида, с возвращением!”

Алю и Сашу поселили в одной комнате с пожилой парой, портной из Балты с женой. Утром пришел Гиви, осмотрел комнату, как будто видит впервые, пощипал языком:

— Хорошая комната, много света, много солнца, но две семьи — мало пространства для личной жизни.

Алю с Сашей перевели в отдельную комнату, к портному подселили другую пару, с ребенком.

Вечером зашла фрау Августина, с порога стала восхищаться: не комната, а палац! Поставив на стол бутылку „Советского шампанского”, фрау Августина предложила Але:

— Выпьем на брудершафт. Все евреи должны быть на „ты”.

Гостья закатала рукав, положила руку на стол: вот, номер, клеймо из каце — из Майданека.

— Аля, — сказала фрау Августина, — ты нравишься мне. А ты, — фрау Августина обратилась к Саше, — слушайся во всем, что скажет тебе жена твоя. Как Авраам Сарру. Евреи держатся на Торе: без Торы — нет еврея.

Фрау Августина налила еще по стакану, за здоровье и благополучие всех, кто с нами и кого нет с нами, Аля выпила в один прием и сказала:

— Августина, я должна была по-другому. Я виновата: извини меня.

Августина ударила кулаком по столу:

— Ты не должна была по-другому! Ты сделала, как надо, а иначе сидела бы с евреем из Балты и нюхала под мышками у его жены.

Августина схватила Сашу за уши, притянула к себе, впилась в губы, отпустив, мазнула ладонью, кивнула в Алину сторону:

— Ревнуешь? Можешь не ревновать: нацисты вырезали у меня все, что можно было вырезать, я стерильная — я была материал для опыта.

Аля закрыла лицо руками:

— Августина, прости!

— Дура, — фрау Августина взяла Алю за руки, открыла лицо, — никогда не проси прощения. У Бога проси, а у людей не проси: сама прощай себя. Сама — и никто больше, никто другой. В тебе сидит Я, это Я все видит, все слышит, все знает: перед ним проси прощения.

— А Тора? — вспомнил Саша. — А Судный день? В Судный день, учил меня дед, положено просить прощения у ближнего.

Августина отмахнулась: хорошо, в Судный день — у ближнего, но круглый год — у себя. Все виноваты перед собой, все люди, все человечество. Исключений нет.

Утром прибыла новая партия евреев. Августина носилась по этажам, по коридорам и кричала:

— Гавноеды! Дрекшайзе! Вы не стоите тех денег, которые потратили на вас. Гиви, еб твою мать, куда ты пропал!

Аля говорила Саше: Августина — удивительная женщина. Да, подтверждал Саша, удивительная: как будто ничего не потеряно, как будто все впереди.

— Саша, — сказала Аля, — я не люблю ее. Мне стыдно: я ненавижу ее. Я скажу ей: я ненавижу вас, Августина.

Когда подали автобусы, чтобы ехать на вокзал, фрау Августина расцеловалась с Сашей, потянулась к Але, Аля выставила обе руки вперед:

— Фрау Августина, я ненавижу вас!

— Молодец, — похвалила фрау Августина, подала листок бумаги и объяснила: здесь адрес римских знакомых, пригодится.

XIV

В Риме дали отдельный номер в гостинице. Наконец-то, сказал Саша, мы на Западе. Через неделю сняли комнату в Остии, в двух шагах от пляжа.

На виале Реджина Маргерита, в конторе ХИАС'а, когда только вышли за дверь, Аля заявила Саше:

— На курсы английского языка будешь ходить сам. Мне не надо.

— Нет, — сказал Саша, — надо, и ты будешь ходить, как ходят все.

Аля ответила, нет, она ходить не будет: не для того она в Риме, чтоб начинать опять с парты.

— Аля, — сказал Саша строго, — на нас потратили деньги, и мы будем все начинать здесь с парты.

Аля стояла у края тротуара, одной ногой на мостовой, тряхнула сумкой, чтобы показать Саше, разговор окончен, внезапно, Аля даже не успела заметить, только услышала тархтенье мотора, с силой дернули сумку, Аля схватилась за

ремешок, ремешок остался на плече, мотороллер промчался мимо, Саша закричал: „Полиция!“ Полиции поблизости не было, итальянцы, очень любезные люди, объяснили, как пройти в полицейский участок. Аля плакала. Один молодой человек, по лицу видно было, что сам огорчен, вызвался проводить.

— Антонио Джусто, — представился молодой человек. — Немножко говорю по-русски. Но, может быть, лучше хотели бы, чтобы по-английски?

Аля сказала: пополам, немножко по-русски, немножко по-английски. Антонио улыбнулся: очень хорошая идея, пополам, немножко по-русски, немножко по-английски.

Когда подошли к участку, Антонио обратился к Саше:

— Может быть, хотели бы иметь переводчика? У меня есть в запасе как раз полчаса.

Аля сказала, спасибо, не надо. Саша сказал, наоборот, надо: где гарантия, что в полиции говорят по-английски? Антонио засмеялся: да, как раз скорее гарантия, что не говорят.

Саша оказался прав: дежурный не говорил по-английски, спросил у Али и Саши — „Спик итальяно?“ — и больше не обращался к ним, разговаривал только с Антонио. Антонио оставил свой телефон и адрес дежурному, на отдельном листочке написал для Али и Саши, перевел слова дежурного, что шанс очень небольшой, деньги вряд ли, но документы, может быть, найдутся.

Прощаясь, Антонио сказал: у него есть с собой немножко запасных денег, так, пустяки, но Але и Саше, может быть, хватит на пару дней, а если будет случай, можно вернуть.

Аля сказала решительно: нет. Антонио кивнул головой: он угадывал заранее, что будет такой ответ, но, засмеялся Антонио, если будут трудности с деньгами, в Риме есть другое

место, фонтан Треви, сто процентов гарантии, что на дне там всегда целый банк монет со всего мира.

Аля повела пальцами: чао! Антонио поклонился — отдельно Але, отдельно Саше.

Когда остались вдвоем, Саша сказал: отличный парень, приятные, еще со старого времени, манеры.

— Саша, — воскликнула Аля, — ну ты совсем слепой: разве ты не видишь — он же педик!

Саша пришел в восторг:

— Маэстро, у вас глаз — ватерпас.

— А деньги, — сказала Аля, — надо было взять. Почему ты не взял?

— А ты? — удивился Саша.

— Я женщина, — Аля хлопнула себя по бедру, — Саша, я женщина! Тем более, под ногами Италия.

— Да, — подтвердил Саша, — под ногами Италия.

Двести долларов, которые в обмен на рубли дали перед отъездом в Одессе, были при Саше. Банки уже закрылись — надо было ждать до завтра.

Немного послонялись по городу, посидели в кафе, выпили капучино. В Остию вернулись к вечеру. Саша сразу засел за свои медицинские книги, Аля хлопотала на кухне, хлопала, в сердцах, дверью холодильника, Саша механическим голосом, как будто робот, произнес:

— Так, братишечки-матросики, жрать нечего и скоро совсем не будет!

Наконец Аля уgomонилась, стало тихо, за стеной, едва было слышно, кто-то тянул на губной гармошке „Подмосковные вечера”, Сашу забрала дрема, то ли чудилось, то ли на самом деле опять сидел в своей комнате, в Одессе, мама, по привычке, укоряла, что давно не заходил к деду, Андрею Кузьмичу, Саша возражал, как же зайти, деда-то нет, дед помер,

мать в ярости крикнула: „Ципун тебе на язык!“ — и трахнула дверью.

Аля стояла рядом, выкладывала из пластиковой сумки сыр, колбасу, шоколад-мокко, шоколад с орехами, под занавес — вырезку говядины, фунта, наверное, полтора.

Саша вытаращил глаза:

— Откуда?

Аля пожала плечами:

— От верблюда!

— Аля, — спросил Саша, — ты заняла деньги?

Аля сказала:

— Саша, я не занимала денег. Я украла. Вот это все, — Аля обвела пальцем предметы на столе, — я украла.

Саша побелел:

— Ты шутишь.

Аля сказала, она не шутит: она украла, но на самом деле никакого воровства не было, потому что у нее украли деньги, и она сделала все по справедливости.

— Аля, — поразился Саша, — но это воровство! Аля, ты...

— Воровка. Саша, не надо бояться слов: я — воровка. У тебя совесть чиста: ты ешь. Каждый отвечает перед собой. Я отвечаю перед собой.

Саша схватился за голову:

— Аля, тебя могли арестовать! Ты в чужой стране: тебя могли арестовать!

Аля покачала головой: нет, ее не могли аресговать — прежде чем взять с полки и спрятать под блузку, она очень внимательно осматривалась. Но можно было и не осматриваться: все равно, никто не следит.

Саша пришел в ужас:

— Аленок, но там зеркала! В потолке — зеркала!

Аля пожала плечами: Саше померещилось — никаких

зеркал нет. Это — во-первых. А во-вторых, при чем здесь, есть зеркала или нет зеркал: пусть бы даже ее поймали, у нее есть объяснение — у нее украли деньги. Ее спросили бы: а заявление в полицию сделали? Она бы ответила: заявление в полицию сделали. Свидетель есть? И свидетель есть: не эмигрант, не русский, а ихний, итальянец, Антонио Джусто. Эмигранту могут не поверить, а своему обязательно поверят.

— Саша, — всполошилась Аля, — ты проверь: есть бумажка от Антонио, не потеряли?

Саша снова схватился за голову: при чем здесь бумажка от Антонио! Это бред: никто не станет спрашивать, заявляла она в полицию или не заявляла, а просто поволокут в кутузку — и финита ля комедия!

— Саша, — сказала Аля, — какой ты жестокий! Ты инквизитор. Ты просто инквизитор.

Аля положила вырезку на сковородку, поджарила, разделила пополам, не строго пополам, Сашина половина больше, поставила гарелку перед Сашей и сказала:

— Очень вкусно. Ешь.

Саша ответил, он не может — кусок у него станет поперек горла. Но есть вариант: завтра Аля, нет, они вдвоем отправятся в супермаркет и скажут, что, по недоразумению, вчера не доплатили. И вот, пришли доплатить.

Аля покрутила пальцем у виска:

— Саша, ты шизик. Почему мы должны доплачивать? Нас обворовали, нас ограбили, среди бела дня, никто не заступился — и мы должны доплачивать, должны оправдываться! Саша, ты шизик.

Саша насадил на вилку кусок мяса, повертел в воздухе, откусил нехотя, вроде только пробует, пожевал, почмокал, да, вкусно, Аля вся засветилась: „Я же говорила, что вкусно!” Эх, вдруг крикнул Саша, к этому гаргантюа бы да бутыл

амонтильядо! Аля объяснила: она тоже думала про вино, но вина нельзя было взять — бутылку, как ни спрячешь, все равно заметят.

На другой день Аля опять пошла в супермаркет. В этот раз принесла две вырезки, объяснила, будет на завтра тоже, пакет сервилата и пакет нарезанного ломтями швейцарского сыра. Сыр не понравился, слишком пресный, хотелось чего-нибудь поострее. Аля объяснила, она взяла так, что попало на глаза, в следующий раз будет внимательнее.

Мясо было такое же вкусное, как вчера. Даже вкуснее. Аля сказала, дело не в мясе, просто сегодня удачнее поджарилось.

Саша ел молча, не говорил ни да ни нет, но на лице было написано, что по вкусу.

Аля засмеялась:

— Саша, ты веришь, что я удачливая? Сегодня, когда я вышла из супермаркета, у меня было ощущение, что я очень удачливая. Саша, тут дело не в экономии: просто есть чувство удачи. Вообще, такое чувство, что неудачи кончились — начались удачи.

Вечером поехали в Рим. Долго бродили по городу, Саша смотрел на часы, как бы не опоздать на поезд, Аля отвечала, милым и в шалаше рай, будем ночевать на Термини, на вокзале.

Через каждые десять шагов Аля останавливалась, прижималась к Саше, головой к груди, приказывала Саше наклониться, она хочет поцеловать его, подставляла шею, пусть Саша тоже целует, только, чур, не перекусывать горло, но если очень хочется, пусть перекусит, и объясняла Саше:

— Саша, я тебя страшно люблю! Я тебя так люблю, что могу сойти с ума. Саша, ты доктор, ты должен знать: человек может сойти с ума от любви?

Саша пожимал плечами: кто может, кто не может.

Аля всплескивала руками:

— Саша, ну какой ты глупый: я же не говорю про всех людей! Я говорю про нас с тобой: ты и я, мы можем сойти с ума от любви? Можем или не можем?

Саша переспрашивал: мы? И отвечал: мы — можем.

В полночь пришли к фонтану Треви. Аля радостно воскликнула:

— Ровно двенадцать! Полночь!

Саша покачал головой: не ровно двенадцать — пять минут первого. Аля возмутилась:

— Саша, но ты же пять минут смотрел на часы — а было ровно двенадцать!

Саша стоял на своем: пять минут первого — это пять минут первого.

Торговцы убирали с лотков свой золотой скарб, складывали в мешки, в ящики, гасили электрические, работавшие от керосина, лампы, внезапно, где только что было пятно яркого света, становилось темно, как на пустынной, окраинной улице.

Аля смеялась: ангелы выключают звезды, и на земле делается темно!

— Смотри, — закричала Аля, — дно усеяно монетами, как будто после кораблекрушения!

Неожиданно, Саша не успел остановить, Аля сбросила туфли, сбросила юбку, осталась в трусиках, в блузке, блузка была надета на голое тело, спрыгнула в воду и поплыла. Саша ожидал, люди будут возмущаться, но никто не возмущался, наоборот, стали кричать „браво!“ и аплодировать. Когда Аля выбралась из воды, опять стали аплодировать, не так громко, как вначале, когда была полная неожиданность, но все равно было видно: всем очень понравилось.

Саша снял с себя рубаху, отдал Але, она набросила поверх

блузки, велела заслонить ее спереди, пока будет снимать блузку, Саша сделал, как просила Аля, и объяснил, что опасается, как бы Аля не простудилась, потому идет навстречу, а вообще, черт знает что, полный идиотизм и балаган.

Едва Аля закончила свое травести, завязала рубаху под грудью узлом, участок живота до юбки оставался открытым, Саша потянул к себе концы, чтобы развязать и отпустить, Аля хлопнула Сашу по рукам, сказала, еще одно движение — она снова прыгнет в фонтан, пусть ныряет за ней. Саша повторил, это черт знает что, абсолютный идиотизм и балаган, он сейчас повернется и уйдет, Аля сказала, скатертью дорога, рядом весело воскликнули:

— Русский язык — такой богатый язык: скатертью дорога! Добрый вечер, Аля, добрый вечер, Саша. Встретились: скатертью дорога!

Антонио был не один — рядом стояла девушка, Антонио сделал движение, чтобы представить, девушка сама протянула руку: Ингрид Зауэрштрассе, из Регенсбурга, Бавария.

Ингрид засмеялась:

— Тоже чужая в Риме. Но теперь мы — большинство: Антонио, будешь обслуживать нас.

О'кей, сказал Антонио, будем обслуживать. Первая роль — фореитор кареты: за углом как раз ждет экипаж, сядем и поедем. Совсем недалеко отсюда: улица Монте Фараоне.

Аля взяла Сашу за руку, покачала головой:

— Саша, мы не можем ехать на Монте Фараоне. Нам надо домой, в Остию. С Пирамидо можно успеть.

— О, — воскликнула Ингрид, — но мы уже сильно опаздываем: пока доберемся, поезд совсем уедет. Саша, — Ингрид взяла Сашу за руку, — вы здесь гауптман, босс, дайте команду Антонио, чтобы вез на Монте Фараоне.

Саша посмотрел на Алю, Аля пожала плечами. Саша дал команду: на Монте Фараоне.

Дом был четырехэтажный, особняк. Антонио открыл ворота, включил свет, за стеклянной дверью, в нишах, вдоль мраморной лестницы, стояли Венера, Диана, Фемиды. Аля сказала: в этом доме, наверное, очень дорогие квартиры. Антонио ответил, да, наверное, но когда дом свой, это обходится дешевле. Родители как раз сегодня уехали на пару дней, так что Саша с Алей, если хотят, могут иметь в своем распоряжении отдельный этаж. Но сначала надо, наверное, поужинать и немножко поболтать в гостиной.

Антонио с Ингрид отправились на кухню готовить ужин, Аля сказала Саше:

— Саша, а вдруг здесь притон? А вдруг нас завлекли обманом и убьют? Саша, мне страшно.

Саша засмеялся: конечно, притон, конечно, убьют — для того и завлекли! Но сначала накормят, напоят и уложат спать.

Ингрид принесла сыр, фрукты, кофе. Антонио принес вино и бутылку шнапса. Шнапс, объяснила Ингрид, она привезла из Германии: почти та же русская водка, но немножко слабее. Русская водка и русский мороз — самые крепкие в мире.

Саша налил себе шнапса, Ингрид закурила, передала сигарету Антонио, он затянулся, еще раз затянулся, сказал, может быть, гости тоже хотят, Саша ответил за обоих, за себя и за Алю, что не хотят.

Ингрид обратилась к Саше:

— Расскажите немножко про домострой. Нас учили по русской истории, что домострой — это лежит в русском характере еще с тех дней, когда был царь Горох. А что, царь Горох — это не мифическая личность? Я лично думаю, это просто красивая легенда. Не так ли?

Саша сказал, да, царь Горох — это легенда. И домострой, как это многие представляют себе, тоже легенда. Откуда взялась бы великая княгиня Соломония, откуда взялись бы боярыня Морозова, царевна Софья, сестра Петра Великого, если бы жили по букве домостроя? Тут общая кибернетика, принцип обратной связи: есть на входе — есть на выходе, есть волевой импульс, стало быть, есть и поле, в котором он себя обнаруживает.

Ингрид крепко затянулась, поднесла сигарету к губам Али, сказала, царь Горох, даже если бы он был, давно умер, не будем бояться царя Гороха.

Аля взяла сигарету, Саша насупился, протянул руку, хотел отобрать, Ингрид перехватила Сашину руку, положила себе на колено, погладила и сделала пальцем: ну-ну, царь Горох, говорила моя русская бабка, почит в Бозе!

— Аля, — обратился Антонио, — я вижу по вашему лицу, что вы боретесь. Скажите: с кем вы боретесь? С чем вы боретесь? Рудольф Штейнер говорил: неужели человеческая душа взмывает на крыльях энтузиазма к вершинам Правды, Красоты и Добра только для того, чтобы быть сметенной в Ничто, как жалкий пузырек мозга? Саша, я обращаюсь к Вам, вы естественник, врач, я спрашиваю вас: что побуждает вас протягивать свою руку, чтобы воспрепятствовать свободному, естественному порыву другого человека? Разве наше знание не знание муравья, который, взбираясь на кочку, убежден, что весь мир — кочка, и точно так же, опускаясь в ложбину, убежден, что весь мир — ложбина!

Аля попросила Ингрид, чтобы передала ей сигарету, затянулась, зажмурила глаза, передала сигарету Саше, улыбнулась, улыбка была блаженная, в уголках рта немного скорби, и ответила Антонио: какая разница, с чем она борется, с кем она борется, разве борение само по себе не есть поиск

души, не есть тоска о мирах, которые даны нам только в догадке?

— Аля, — воскликнул Антонио, — если бы Рудольф был жив, он взял бы вас за руку, за обе руки, и сказал бы: „Госпожа моя, Мария фон Сиверс, не отпускай меня — веди меня!”

Антонио объяснил: Мария фон Сиверс, русская, из аристократической семьи, была добрым ангелом Рудольфа Штейнера и его первым помощником в теософском обществе.

— Аля, — сказал Антонио, — в вас жив дух Марии фон Сиверс. Среди естественных процессов воспроизведения человеческого духа самый будничнейший — это реинкарнация.

Аля пожала плечами: но как установить, что дух Марии фон Сиверс нашел пристанище в ее теле?

— Вот, — Антонио повел рукой, — Ингрид Зауэрштрассе. Она помнит себя мальчиком.

Ингрид подтвердила: она помнит себя мальчиком. Аля сказала, она тоже помнит себя мальчиком. Кроме того, она помнит себя зеленоглазым волчонком, которого подстрелил охотник из кремневого ружья, и водяным змеем.

Антонио сделал знак рукой: это слишком обременительно — вспоминать все воплощения, которые пришлось на долю каждого из нас.

— Приглядитесь, — воскликнул Антонио, — в метро, в автобусе, в самолете, когда человек влеком скоростью, но сам при этом неподвижен, покоен, приглядитесь, и вы увидите, нет человеческих лиц — есть маски, сквозь которые проступают лики наших предтеч: льва, лани, быка, тигра, аксолотля, орла. Но почему предтеч? — перебил себя Антонио. — Не только предтеч, но и преемников, ибо на новых витках мы используем свои прежние оболочки, как одежду, из которой душа за время своих странствий выросла и теперь,

примеряя на себя эти старые одежды, постигает меру своего роста.

Саша вскочил:

— При чем здесь реинкарнация? При чем здесь странствия души? Онтогенез повторяет филогенез, в развитии особи — элементарный калейдоскоп эволюции, ипостаси нескончаемого ряда наших предков на биологической лестнице.

Антонио смотрел широко раскрытыми глазами, взгляд был без фокуса, как будто перед глазами не было предмета или, если был, то в необозримой дали, где все обращается в точку.

Ингрид взяла Сашу за руку, потянула к себе, на диван, положила голову на Сашино плечо, Аля провела у Саши по щеке ладонью, тоже положила голову на плечо, но тут же отстранилась, осмотрелась удивленно, нахмурилась, Антонио воскликнул:

— Мария фон Сиверс! Отзовитесь, Мария!

— Здесь! — отозвалась Аля. — Здесь!

Аля протянула руку, Антонио коснулся пальцами, поспешно отдернул, как будто ударило током, и стал выкликать:

— Боренье с врагом начинай с постижения его. Одолеешь дракона, только проникнув через его шкуру. Как быка, хватай его за рога. На пике изнеможения найдешь свое оружие и своих братьев в борьбе. Вот, указан твой путь, иди же и будь самим собою! Мария, — крикнул Антонио, глядя, как будто впереди были тысячи людских голов, — отзовись, Мария!

Саша допил свой стакан, оттолкнул Ингрид, сказал, пусть убирается к чертовой матери, назвал нацистской мордой, подошел к Але, крепко схватил под локтем, дернул с силой, Аля посмотрела удивленно: „Ты кто? Ты — враг. Уходи, враг!“

Аля прижалась к Антонио, Антонио сказал, не смотри на ближнего, как на врага, и не будет тебе врага, ибо мировые приливы и отливы несут частицы нашей души, но и во враге твоём — частица твоей души.

— Аля, — Саша хотел обнять, Аля, в глазах было недоумение, как будто перед ней незнакомый, впервые видит, оттолкнула ладонями, — Аленок, идем отсюда!

Аля взяла Сашу под руку, пошли к выходу, Саша пропустил Алю вперед, она отступила, пусть Саша идет первый, Саша вышел, посторонился, Аля внезапно захлопнула дверь, вернулась к Антонио, тот смотрел далекими, без фокуса, глазами, и стал звать:

— Мария фон Сиверс! Отзовитесь!

— Здесь! — отозвалась Аля. — Здесь!

Саша колотил руками, ногами дверь, дергал как бешеный за ручку, ругался последними словами, Антонио наклонил голову, вроде прислушивается, не может понять, действительно там, за дверью, шум или ему почудилось, Аля обняла Антонио, сказала, веди, Антонио ответил: „Приказывай, Мария!“ — и повел.

Комната была большая, посредине, торцом к стене, белая, с бронзовым орнаментом кровать, поверх постели голубое, в ромбах, вроде стеганое, покрывало, Аля отвернула до середины, легла поперек, закинула руки, подняла ногу, Антонио снял туфлю, Аля подняла другую ногу, Антонио провел пальцами, завел юбку кверху, поцеловал, сначала под коленом, потом бедро, Аля задрожала, Антонио стал поворачивать Алю на живот, она закричала, нет, нет, Антонио не обращал внимания, продолжал поворачивать, стянул с Али трусики, наклонился, приник губами к копчику, Аля развела ноги, Антонио провел рукой, Аля застонала, как будто невыносимая

боль, рывком повернулась на спину, потянула Антонио на себя и торопливо зашептала:

— Мария здесь! Мария твоя! Бери, повелитель! Мария изнемогает: бери!

Антонио приподнял Алю, снял блузку, кончиками пальцев примял соски, Аля заерзала, потянула Антонио к себе, он слегка оттолкнул, Аля закричала в отчаянии: „Я — Мария, бери меня!”

Антонио улыбнулся, провел ладонью по волосам, закрыл глаза и забормотал:

— Я с тобой. Я взял тебя. Ты огрубела в своем последнем странствии: ты не чувствуешь, как чувствовала раньше.

— Ты мой, — дрожь не унималась, Аля стиснула зубы, слова с трудом проходили, — ты мой! Я чувствую, как раньше, я чувствую больше, чем раньше!

Антонио покачал головой:

— Ты стала грубее. В нашей последней встрече ты была мальчиком. Ты требуешь, как мужчина, фаллическая стихия обурекает тебя, мужские обиды гнетут — ты ведешь себя, как насильник, который жаждет мести за себя, поруганного женским невниманием.

Аля перестала дрожать, Аля закричала:

— Ты лжешь! Я больше не мальчик — я женщина!

— Смотри, — Антонио раскрыл пальцами у Али между ног, — смотри.

Аля заплакала:

— Я вижу.

— Не плачь, — сказал Антонио, вытер ладонью Алины слезы, стал раздеваться, попросил Алю, пусть подвинется, и лег рядом.

Аля сделала движение, Антонио прикрылся рукой, сказал, не надо, сам повернулся к Але и медленно стал водить

губами у Али по животу, по ребрам, по груди, под мышками, Аля опять сделала движение, успела захватить пальцами, Антонио, как в первый раз, сказал, не надо, Аля пришла в отчаяние:

— Ты не хочешь меня!

— Я хочу тебя, — сказал Антонио, — я взял тебя. Разве ты не чувствуешь: я взял тебя. Но мне не следовало брать тебя: ты сберегла свое тело, нежное, прекрасное, матовые, с персиковым отливом, щеки, зеленые, в желтом, в шафранном кольце вокруг радужки, глаза. Зубы свои сберегла — жемчужную нить, собранную на дне моря и вынесенную в белой пене волной, оставленной от Афродиты. Но люциферовские духи терзали, корежили твою душу. Астральное тело отделилось. Это было давно, в доатлантическую эпоху, когда душа твоя была еще подстать эфирной плоти — твоему телу.

— Возьми мое тело, возьми мою эфирную плоть! Возьми: я — Мария фон Сиверс, я твоя Мария!

Антонио водил пальцами у Али по спине, по лопаткам, позвоночнику, под челюстью, внезапно, как будто подхваченный порывом, опускал голову, прикивал к лону, Аля вскрикивала, прижимала Антонио к себе, Аля требовала, уже не просила, уже требовала: „Бери! Ну бери!“ — Антонио отстранялся, Аля смотрела, Аля теребила пальцами, пыталась захватить губами, Антонио грубо оттолкнул, Аля закричала:

— Ты не можешь! Ты хочешь — и не можешь! Ты — астральное тело, ты — импотент!

Антонио сел, ноги под себя, руки сложил на груди, будто женщина, хочет прикрыть свою наготу, и забормотал:

— Ариман! Вселяется, внедряется в душу. Слишком предана жизни, увязла в буднях, думаешь о себе, скуден, узок круг эфирной плоти, сама себе центр, страхи, ужасы теснят

и гонят, от центра к периферии, по всем радиусам, неизбывное, неодолимое одиночество.

— Замолчи! — Аля закрыла уши. — Умоляю: замолчи!

— Предавала, — Антонио повысил голос, — ненавидела себя, презирала, каялась, рвалась к свету, но сети, в ячейках, дробились, густели, Ариман плел свою сеть, эфирная плоть, жизнь, жалкий обрывок вечности между рождением и смертью, вытеснил астральное тело, сознание ускользнуло из сети, что осталось — тень сознания, хилые софизмы, беспомощные уловки загнанного в тупик ума, истомленного, изнемогшего мозга, путающегося в собственных извилинах.

Аля сказала:

— Ты лжешь! Я ненавижу тебя: ты лжешь!

— Зачем, — спросил Антонио, указывая пальцем на дверь, — зачем прогнала? Ангела прогнала. Не изгоняй — зови ангелов, уйми жажду, оскопи жизнь — Ариманово царство. Не предавай ближнего — себя предаешь!

Антонио встал, сделал шаг к двери, вдруг замер, круто развернулся и приказал:

— Кайся! Он пленник твой — ты изгнала его, ты всегда делала ему больно. Он любил тебя, он ждал, стремился к тебе. Не обрекай — спаси бездомную душу, приюти, дай прибежище! — Антонио наклонился, приставил ладонь к уху. — Слышишь?

Из комнаты, где осталась Ингрид, донесся странный звук — то ли плач, то ли вой, голос был не человеческий, плакало, выло животное, не в порыве внезапной боли, плакало, выло привычно, монотонно, на одной ноте, без надежды быть услышанным, без отчаяния, смиренное безответностью, какая бывает в космосе у последнего, оставшегося в живых на корабле, существа.

— Узнаешь? — спросил Антонио.

— Узнаю! — Аля закрыла уши ладонями. — Прикажи, пусть перестанет: я иду! Я предавала — на мне клеймо, вытравлю клеймо, изживу предателя, изгоню: сгинь, предатель!

Аля рванулась, нагишом, как была, к двери, Антонио остановил:

— Ариману на потребу — он ведет тебя! Астральное тело в загоне. Спасать идешь? Рушить идешь! Оденься в одежды. От сознания, от астрального тела — астральный свет. Люби: в любви — свет.

Аля оделась, Антонио внимательно осмотрел, велел заправить блузку под юбку, убрал поперечные складки, открыл дверь и сделал рукой знак: иди.

На столе горела свеча. Ингрид, голая, упершись подбородком в колени, сидела на диване, Саша, в рубашке, в трусах, брюки спущены, скомканы, лежал на диване, правая рука свисла к полу, рядом порожняя бутылка шнапса.

У Али, когда увидела, подкосились ноги, тело сделалось легкое, как будто осталась одна оболочка, наполненная холодным, с молочной синевой, светом, какой бывает от Луны.

— Саша, — закричала Аля, — ты был с ней! Саша, ты предатель! Предатель, — повторяла Аля, — предатель!

Саша сел, подогнул ноги, Ингрид помогла натянуть брюки, Аля смотрела, как замороженная, вдруг бросилась на Ингрид, хотела ухватить за волосы, Ингрид отпрянула, прижалась к Саше, как будто ищет укрытия, он с силой оттолкнул, назвал неприличным словом, ударил Алю, назвал тем же словом, Аля заплакала:

— Саша, за что? Не было, клянусь, ничего не было! Я чувствовала, тебе больно, я пришла, тебе больно — я пришла к тебе. А ты был, ты был! Саша, как ты мог! Как ты мог, Саша!

Ингрид опустила ноги на пол, достала носком комнатные туфли, встала, длинная, худая, позвонки можно пересчитать

пальцами, волосы распустила, свисли на грудь, Аля закрыла лицо руками, вся затряслась, и повторяла взхлеб: как Саша мог, как он мог!

Саша смотрел, глаза были странные, как будто оба, один и другой, вставные, не видят, произнес механическим голосом:

— Ничего не было. Ничего не было.

Ингрид подтвердила: ничего не было. Взяла сигарету, закурила и повторила: ничего не было. Сашу, сказала Ингрид, обидели. Саше сделали больно. Аля ушла с Антонио. Саша остался один. Ингрид хотела помочь, чтоб не было так больно. Это очень больно — остаться одному.

Аля закипела вся: это неправда, она не ушла с Антонио — Мария фон Сиверс ушла. Так, кивнула Ингрид, Мария фон Сиверс, но Саша остался один. Человеку, когда он один, объяснила Ингрид, бывает очень худо. Не надо, чтобы человеку было худо. Надо показать человеку: ты не один — рядом есть душа.

— Вот это, — Аля, как будто учитель на уроке анатомии, тыкала пальцем в сторону Ингрид, — вот это — душа? Это...

У Али на уме были уличные слова, какие она слыхала в Одессе, на Привозе, слова вертелись на кончике языка, но Аля не успела — открылась дверь, на пороге встал Антонио, обмотанный, как мумия, широкими полосами льняной ткани.

— Душа, — сказал Антонио, — везде, где дают ей приют. Во всякой точке тела. Во всякой точке пространства, где — любовь. Саша, прижмитесь ладонью к лону Ингрид, пусть Ингрид ответит вам тем же. Две пары, мы составим римскую квадригу. Подобно тому как пара возводится в квадрат, умноженная на самое себя, квадрига возводится в квадрат в масштабах общего поля и сообщает ему заряд, равный паре в четвертой степени. Ингрид и Саша, приступайте. Аля, — командовал Антонио, — распеленайте меня, возьмите рукой, но не прежде, чем моя рука получит доступ к вашему телу.

Аля подошла к Антонио, двигаясь по кругу, одной рукой стала распускать полосы, другой — расстегнула юбку, юбка сползла, мешала переступить, Аля замешкалась, наступила на подол, едва не упала, наконец, изловчилась, отшвырнула юбку, Антонио тем временем вращался сам, открылась курчавая, смоляная поросль, Аля протянула руку...

— Аля, — закричал Саша, — Аля, не смей!

Саша вскочил, схватил Алю за руку, она выдернула, сказала Саше, ненавижу тебя, убирайся, не хочу знать.

Антонио прикрыл глаза:

— Душа пуглива. Буйство разрушает душу. Не цепляйся за свое. От своего — слабость. Нет твоего, нет моего — все принадлежит всем.

— Уходи, — Аля толкнула Сашу. — Совсем уходи.

— Аля, — Саша взял себя в руки, голос был спокойный, — я верю: ты не была с ним. Аля, — повторил Саша, — ты не была с ним. Я верю тебе. Каждому слову верю.

— Веришь? — удивилась Аля. — Но ты же не верил.

— Верю, — повторил Саша. — Вот, — Саша повел рукой вокруг, — доказательство: зачем все это, если бы там, у тебя с ним было?

— Веришь, — Аля зажмурила глаза, улыбнулась, — я вижу: веришь. Но разве ты мне веришь? Ты логике веришь. Саша, ты веришь, потому что логично: зачем все это здесь, если бы произошло там! А что — там, что — здесь? Разве там и здесь — одно? Откуда ты знаешь, что здесь и там — одно?

— Мария фон Сиверс, — перебил Антонио, — вы — предательница: вы сражаетесь с логикой в ее уделах, вы разите логику логикой. Логика — миры затвердевших духов. В логике — правда вектора, правда кристаллической решетки. Душа логики — минерал.

— Я не Мария фон Сиверс, — топнула Аля. — Идем, Саша.

— Мария! — Антонио взял Ингрид за руку, вдвоем загородили дверь. — Обнаженные — одеты, одетые — обнажены. Мария, вы сбились с дороги. Из уделов логики нет хода в духовные миры.

Саша поднял с полу юбку, сказал Але, пусть наденет, она ответила:

— Обнаженные — одеты, одетые — обнажены. Саша, ты веришь мне, ты правду говоришь: ты веришь мне? Ты не врешь: ты в самом деле веришь каждому моему слову?

Саша ответил:

— Да. Верю.

На улице, захлопнув за собой калитку, Саша воскликнул: наконец-то, мы дома! — схватил Алю, стал целовать, как безумный, как будто тысячу лет не виделись. Аля сказала, в самом деле, тысячу лет; Антонио объяснял, за два тысячелетия человек с человеком встречаются дважды: раз — мужчиной, раз — женщиной. Саша ответил, к черту Антонио, потянул Алю за угол, поднялись на пригорок, повалил под первым деревом, Аля все твердила свое „веришь? веришь?“, Саша уже взял Алю, бормотал, как в бреду, „верю, верю, каждому слову верю!“, и на последнем дыхании, исходя, выстонал: „Верю, верю!“ И потом, когда уgomонились, смотрели, как гаснут звезды, светлеет небо, серая с утренней синевой гуашь, снова повторил, что верит, каждому слову, и это навсегда.

XV

— Колдуй,баба, колдуй,дед, колдуй, серенький медведь! — засмеялся Макс. — Хитрую квадригу сотворил этот римлянин. И всех запряг. Ну мастер, мастер! И все в одной упряжке: и немцы, и итальянцы, и парочка одесских евреев. Ну мастер!

После полуночи поезда с Тридцать третьей в Нью-Йорк

шли с интервалом в полчаса. На платформе набилась куча народу, с уплотнениями в местах, где, по расчету, должны были прийтись двери вагона. Альбина рассчитала точно, заняла скамью для себя и для Макса, спинкой к торцу, чтоб ехать лицом вперед.

Альбина говорила, ей все равно, как сидеть, вперед лицом или назад лицом, но у Макса бзик, у каждого человека свой бзик, можно принимать, можно не принимать, но считаться надо, ибо — Альбина подымала палец — реальность!

Альбина положила голову Максу на плечо, сказала, полчаса езды, можно прикорнуть, забрала руку Макса под рукав шубы, закрыла глаза, на губах, как бывает у детей, когда отходят ко сну по собственной воле, без понуждения, застыла улыбка, Макс поцеловал в лоб, в висок, Альбина прошептала, еще, Макс поцеловал еще и сказал Альбине, пусть спит по-настоящему, полноценным сном.

Альбина пробормотала:

— Как прикажешь, милый: спать по-настоящему, полноценным сном.

Поезд еще не тронулся, продолжалась посадка, набегали новые пассажиры, очумело, растопырив руки, чтоб не захлопнулась дверь, вскакивали в вагон, двое, молодые ребята, лет по двадцати, стали у дверей, видимо, ждали товарищей, точно, подошли еще двое, не торопясь, со скрутками в зубах, потянуло травкой, Альбина повела носом, вдохнула, джойнт, Макс обрадовался:

— Не спишь!

— Сплю, — сказала Альбина.

— Колдуй, баба, колдуй, дед, колдуй, серенький медведь! — Макс прижался к Альбине, она попросила, осторожнее, приспит медведь медвежонка, Макс ответил, как приспать,

кабы медвежонок, а то медведица, Альбина пробормотала, Большая Медведица и Малая Медведица, она — Малая.

— Малая, — кивнул Макс. — А римлянин твой, Антонио, какую бы предпочел — большую, малую?

Альбина хмыкнула:

— Ревнуешь! Альбина не Аля, Альбина — астральное тело: не ревнуй.

— Поганую квадригу сотворил он! — покачал головой Макс. — Сашу Пульчинеллой, Петрушкой обрядили и вприсядку заставили плясать: пляши, Петрушка, пляши, до не смогу, авось, выдюжит сердце, авось, удержится душа в теле!

Поезд тронулся, двое, со скрутками, затянулись, от усилия у обоих запали щеки, передали товарищам, подсели, один у другого на коленях, к парню на передней скамье. Тот сидел неподвижно, ноги выложил вдоль, транзистор на коленях, смотрел с улыбкой, поначалу было впечатление, что улыбается ребятам, которые вот так, по-свойски, разместились, те привстали, спихнули ноги его со скамьи, он все так же, с прежней своей улыбкой, смотрел, транзистор упал на пол, они сначала пнули, носком один к другому, потом подняли, стали настраивать, а тот, хозяин, смотрел — теперь уже отчетливо было видно, что не на них, а так, в свою, как лунатик, точку смотрит.

Альбина подняла голову, отодвинулась от Макса:

— Саша лгал. Он не верил Але. Он хитрил, он обманул Алю, у него была одна цель — увести ее от Антонио. А Аля поверила ему. Он сказал, что верит, и Аля сразу откликнулась, поверила, что верит.

— Слушай, — Макс сам отодвинулся, к проходу, — разве Аля не первая солгала? Аля твердила, Аля клялась, что не была с Антонио.

— Действительно не была, — сказала Альбина. — Ты сам знаешь, что не была.

— Знаю, что не была, — подтвердил Макс. — Но это же вопрос чистой технологии: не была, потому что у теософа, помилуй Господи, не под'ялся!

Так, кивнула Альбина, вопрос чистой технологии. Но что должна была Аля сказать, чтоб то, что она говорила, было правдой: что была с Антонио или не была?

Макс покачал головой: это казуистика.

Альбина выпрямилась, повернулась лицом к Максy:

— Но в таком случае Саша был с Ингрид. Она сидела нагая, с голым задом, Саша лежал без штанов, а между тем оба утверждали — и так на самом деле думали и чувствовали — что близости не было. Ингрид сама объясняла, что хотела, а Саша не хотел, и потому ничего не было. И действительно не было.

Макс опять покачал головой: это казуистика. У Саши и Ингрид вопрос технологии не стоял.

Альбина засмеялась:

— Вопрос технологии не стоял. А у Али и Антонио, по-твоему, только вопрос технологии и стоял. Но откуда ты знаешь, как бы вел себя Антонио, если б было по-другому, если б вопрос технологии не стоял? И как бы вела себя Аля, если б Антонио в самом деле приступил к ней?

— Аля звала его, — сказал Макс. — Ты рассказывала: Аля сама звала его.

— Звала, — подтвердила Альбина. — Но звала Антонио, у которого были проблемы с технологией. Пусть она не знала, но это не имеет значения, знала она или не знала. Антонио был такой, — Альбина задумалась, — скажем, астральный, и к такому, астральному, потянулась Аля. А был бы он не такой, был бы другой, Аля вовсе и не потянулась бы к нему. Ты

согласен, что именно к такому, к астральному, потянулась к нему Аля, и даже не Аля, какая она всегда была, а другая — Аля-Мария?

— Слушай, — Макс схватил Альбину за руку, потрянул с силой, — на суде, если бы Саша подал на развод, признал бы суд в Алиных действиях состав преступления или не признал бы?

Альбина ответила, она не знает, что признал бы суд, и вообще это к делу не относится.

— Нет, — стоял на своем Макс, — ты отвечай: признал или не признал бы?

Альбина сказала, ее не интересует право, ее интересует мораль, этика.

— Этика, мораль! — схватился Макс. — Выколи же око, если око соблазняет тебя!

— Выколоть око? — обрадовалась Альбина. — Выколи же око у каждого, соблазн был у каждого, иначе бы давно разбежались по своим углам, а не собирались на ночные бдения.

— Соблазн соблазну рознь, — сказал Макс.

— Милый, — Альбина громко засмеялась, — соблазн — всегда соблазн.

— Так вот, — Макс поднял кулак, помахал перед носом, — если встретится тебе Антонио, или Антуан, или Энтони, или другое астральное тело, вроде этих, как было с Алей, на предварительное следствие не рассчитывай — заготовь открытки с черной каймой и разошли друзьям.

— Да, милый, — Альбина прижалась к Макс, — я заготовлю открытки с черной каймой и разошлю друзьям.

Поезд миновал Четырнадцатую улицу. Двое, которые держали транзистор, осмотрелись по сторонам, полиции не было, врубили на полную громкость и стали теснить парня, хозяина транзистора. Парень улыбался, улыбка была прежняя, сначала подавался, видно было, что хочет потесниться, хотя

придвинулся впритык к стенке вагона, дальше двигаться было некуда, а те, двое, продолжали наседать.

Альбина подняла голову, внимательно наблюдала, Макс, ладонями, прикрыл Альбине глаза, сказал, не к чему забивать себе голову пустяками, пусть спит и видит приятные сны. Альбина отвела голову, ответила, весь вагон видит приятные сны, надо же кому-то и не спать.

Парень, хозяин транзистора, вдруг стал упираться. Улыбка сошла с лица, челюсти напряглись, нижняя губа выпятилась, глаза сделались черные, холодные, было впечатление, в черноте проскакивают между угольными электродами багровые искры, один из тех, из двоих, поднес транзистор к лицу парня, другой выхватил, стал пристраивать у парня к уху, тот мотнул головой, уцепился за ремешок и потянул транзистор к себе.

Двое вскочили, навалились на парня, на мгновение парень исчез, как будто расплющили или вдавили в стенку вагона.

Альбина вся съежилась, забила в угол, потребовала от Макса, пусть немедленно поможет парню, а то будет поздно, человека задушат, убьют. Макс сказал, не надо преувеличивать, не задушат, не убьют, обнял Альбину, прижал к себе, она оттолкнула, готова была вскочить, Макс положил руку на плечо, придавил с силой, другой, свободной, рукой повел вокруг: сколько людей, никто не вмешивается.

Люди, в самом деле, не вмешивались, наоборот, как ни тесно было, стояли один к другому впритирку, расступились, чтоб у тех, у двоих и у парня, больше простора было, а сами отвернулись, продолжали свои разговоры или, кто был один, без попутчика, дремали стоя, открывая глаза на миг, когда на поворотах, дергало, кидало вагон и шел из-под колес пронзительный, надсадный скрежет.

Двое, хотя накрыли парня своими телами, казалось, никакой силой, никаким маневром не выбраться ему, вдруг,

оба одновременно, отпрянули к проходу. Что отпрянули, было впечатление поначалу, пока не открылся парень, лицо было совершенно белое, меловая маска, как у мима Марсея Марсо, шея, резко выступил кадык, тоже была белая, с синими, от вздувшихся вен, полосами от челюстей к торсу, к плечам. Рубаха у парня была разорвана, на животе бугорками проступили мышцы, грудь вздулась, у оснований, слева и справа, четко вычертились тугие полукружия, теперь видно было, парень покрепче, чем представлялось по первому взгляду, и сможет постоять за себя. Судя по тому, как отпрянули те, двое, так, наверное, и было бы, но тут подоспели другие двое, стали вчетвером в проходе и заблокировали парня.

Ремешок от транзистора был у него в руке, он с недоумением осмотрел его, видимо, не мог взять в толк, куда девался приемник. Тогда один из тех, из четверых, сунул ему приемник в лицо, он сделал резкое движение рукой, хотел перехватить, но неудачно. Те стали перебрасывать транзистор один к другому, парень не двигался, только переводил взгляд, те, еще побросав, то ли потеряли бдительность, то ли наскучило им, стали расслабляться. Один, с транзистором, стал настраивать его, настройка не получалась, должно быть, что-то повредили, шла одна трескотня, как будто в ярости рвут, полосуют холстину. Парень по-прежнему не двигался, но не переводил, как до этого, когда четверо только выстроились фронтом перед ним, взгляд от одного к другому, а уставился на того, с транзистором, во взгляде была тоска, не тоска о вещи, какую намеренно разбивают, уничтожают на глазах у хозяина, — тоска была как у зверя, из зимней степи, когда воет зверь в черное, в ночное, усеянное холодными, взятыми из волчьих глаз, мерцающими зелеными огнями небо.

Альбина вскочила, подбежала к тому, с транзистором, сзади, выхватила у него транзистор, передала парню, он взял,

оглядел, глаза, как будто повернули изнутри выключатель, сделались вмиг другие, пропало волчье, степное выражение, обнаружилась волоокость, какая бывает у итальянцев с юга, из Калабрии, из Абруццо, или еще южнее, с Мессинского побережья, где чувствуется близость Африки и Леванта.

Парень смотрел на Альбину, во взгляде была признательность, была растерянность, казалось, он чувствует, надо поблагодарить свою нежданную заступницу — в вагоне было человек двести, вот, нашлась одна — но как поблагодарить, когда четверо по-прежнему держали перед ним фронт, всякий жест или слово благодарности с его стороны наверняка сочтут проявлением слабости и тут же воспользуются.

Так и получилось. Альбина улыбнулась ему, улыбаясь, задержалась взглядом чуть дольше, чем требуется для выражения сочувствия или симпатии от случайного, от стороннего человека, парень улыбнулся в ответ, один из тех, из четверых, тут же кинулся, стал выдирать из рук у парня транзистор и закричал, что тот забрал у него и хочет присвоить.

Этот, из четверки, говорил убежденно, видно было, что верит каждому своему слову, дружки его стали поддакивать, он получил поддержку извне, еще больше разошелся, теперь уже были у него в голосе обида и возмущение обворованного, на глазах у толпы, у свидетелей, человека, и к этой толпе, к свидетелям, он взывал о справедливости.

Свидетели, как будто не к ним обращались, не реагировали. Альбина в ярости, в исступлении закричала, он лжет, транзистор не его, транзистор принадлежит парню, она видела, когда зашла в вагон, парень сидел один, а потом эти стали приставать к нему и задирать.

На Альбинины слова тоже не обратили внимания, кто спал, тот продолжал спать, кто разговаривал или читал, продолжали разговаривать, читать, Альбина растолкала четверку,

встала перед парнем и заявила, пусть нападают на нее. Парень сделал попытку оттеснить ее, выйти вперед, она приказала, чтобы стоял на месте, не двигался, и повторила: пусть нападают на нее, если говорят правду, пусть дерутся за свою правду.

Этот, из четверки, который взывал к толпе, к свидетелям о справедливости, сказал Альбине, пусть не вмешивается, пусть уйдет по-хорошему, она ответила, ей плевать на его угрозы, она в России с милицией, с КГБ дралась, не для того дралась, чтобы здесь глумился, измывался всякий встречный-поперечный.

Макс сделал Альбине знак, чтобы прекратила, сами, без нее, разберутся. Альбина не видела или делала вид, что не видит. Макс встал, подошел, хотел взять за руку и вывести из круга, четверо расступились, образовался проход, Альбина ответила, нет, она не выйдет, пока эти не уберутся, не отстанут.

Четверо еще увеличили проход, стали так, что теперь всякому было видно, если не получается по-хорошему, не их вина, и просили Макса — к Альбине уже не обращались, обращались только к Макс — чтоб увел Альбину, если хочет, чтоб было без неприятностей.

Альбина, хотя к ней не обращались, опять повторила, чтобы отстали от парня, она не сдвинется с места, пока не отстанут, пока не будет по-честному.

Те, четверо, согласились: да, пусть будет по-честному, пусть парень отдаст транзистор — других претензий нет.

— Это ложь! — закричала Альбина. — Вы лжете, вы знаете, что лжете, и все знают!

Альбина повернула голову налево, направо, как будто ждала подтверждения, что в самом деле все знают и сейчас объявят вслух, чтобы слышал каждый, да, мы знаем. Но никто не откликнулся, Макс сказал Альбине, чтобы прекратила, а

то получается глупый театр, вдвойне глупый: Альбина назначает всем роли, а люди не хотят — ни в актеры, ни в зрители. Макс подумал: надо бы объяснить, он говорит о зрителях, какие бывают в театре, где топают, где свистят, где аплодируют, куда именно для этого, чтоб топать и свистеть, чтоб показать свои чувства, приходят. А тут не театр — тут у каждого свое.

Альбина сказала Максу, пусть не суетится, пусть сядет на место и сидит, как все сидят.

Парень, хозяин транзистора, пока Альбина разговаривала с Максом, прислушивался, вроде старается понять. Когда разговор окончился, когда Альбина сказала Максу, пусть не суетится, пусть сядет и сидит, как все, парень процедил, баста, хватит, оттолкнул ее, вышел вперед, те, четверо, тут же замкнули проход, который сохраняли, пока рассчитывали, что Альбина сама, по собственной воле, выйдет, приступили к парню с прежним требованием, чтобы отдал транзистор, он поднял правую руку, в которой держал приемник, Альбина закричала, нет, нет, те, четверо, решили, что он отдает, один протянул руку навстречу, чтобы взять, парень внезапно отвел руку и сверху, как копром, саданул его по темени. Тот зашатался, обмяк, было впечатление, что потерял сознание, товарищ подхватил его, двое других стали в боевую позицию, кулаки прижали к животу, он пошел на них, они — сначала один, потом другой — отступили, Альбина закричала, бей их, подонки, лжецы, трусы, но у парня были свои идеи, свой план, он оставил тех двоих, видимо, по каким-то признакам определил — как оказалось, точно определил — что сами устарились, вышли, по крайней мере на время, из игры, и можно не принимать их в расчет.

Тот, обмякший, пришел в себя, товарищ, который прежде подхватил его, не дал упасть, стал у него за спиной, парень, хозяин транзистора, протянул руку с приемником, как будто

сам теперь предлагал, вот, пусть возьмут добро, на которое заявляли претензии, ему не жалко, ему не надо, тот, в ответ, протянул левую руку, предложение принял, иначе толковать нельзя было, и внезапно, когда пальцы их соприкоснулись, выбросил вперед другую руку, правую, из кулака, как в цирке у иллюзиониста, когда показывает свои фокусы с пустыми руками, выскочило, острием к парню, к животу, лезвие ножа.

В публике ахнули, Макс приказал Альбине, чтобы немедленно оставила площадку, сам бросился к ней, к Альбине, она, наоборот, сделала шаг вперед, как будто хочет прикрыть парня, заслонить своим телом. Парню никакого прикрытия, никакого заслона не требовалось, он подпрыгнул, ногой вышиб у того нож, снова подпрыгнул, ступня его оказалась чуть не на уровне лица, тот едва успел отпрянуть, парень снова пустил в дело транзистор, хватил того по челюсти, еще раз хватил, теперь ясно было видно, что именно так, транзистором, он будет доставать его.

Двое, которых он не принимал в расчет, огляделись по сторонам, стали заходить сзади, парень не видел их, на запястьях у них были надеты кожаные, в обхват, браслеты с металлическими шипами, Альбина кинулась вслед, но чуть, на долю секунды, опоздала: те, пока парень осознал свой просчет, успели нанести по темени, по затылку несколько ударов, дело приобрело серьезный оборот, парень, в ярости поначалу, видимо, не чувствовал боли, одного ахнул то ли в живот, то ли повыше, под ребра, коленом, тот свалился, другой отступил, тут парень снова решил пустить в дело свое карате, подпрыгнул, по ярости, какая была у него в глазах, в лице, во всех движениях, было видно, сейчас для него главное — расправиться с врагом, чтобы не мог подняться, чтобы, если ударить, так наповал.

Удар ногой, если бы удалось, мог иметь какие угодно последствия. Но удар не получился: поезд набрал скорость,

полдороги между Кристофер и Хобокеном, самый большой перегон, и внезапно грохнуло, тряхнуло, как будто Земля, тело в пространстве, среди звезд, врезалось в другое тело, пространство раскололось, и звезды посыпались в провал.

Транзистор, разбитый на куски, валялся в проходе. Пришел кондуктор, ногой смел куски под скамью, сам, к пассажирам не обращался, не спрашивал, определил всех пятерых, сказал, будут отвечать за остановку поезда стоп-краном, машинист закрыл двери. В Хобокене, видимо, ждали полицию, двери держали закрытыми, не зайти, не выйти, полиции не было, поехали дальше.

Пассажиры поначалу нервничали; когда подъезжали к станции, сбивались у дверей, поезд замедлял ход, казалось, вот-вот остановится, но не останавливался, опять набирал скорость, и так ехали до Журнал-сквера, Джерси-Сити.

Парень стоял всю дорогу возле Альбины. Когда поезд дергалось, невзначай касался ее плечом, локтем, она не замечала, он отводил плечо, локоть, смотрел на Альбину, в глазах было недоумение, вроде чего-то ожидал, вдруг взял Альбину за руку, она повернула голову, посмотрела с удивлением, он крепко сжал руку, сказал спасибо, наклонился, со стороны можно было подумать, что собирается поцеловать, Альбина положила ладонь парню на грудь, рубаха висела ключьями, слегка оттолкнула, он, наоборот, прижался, она нахмурилась, сделала шаг в сторону, Макс стал между нею и парнем, спиной к парню, и сказал:

— В Джерси-Сити ждет полиция. Ты нужна ему как свидетель.

Альбина кивнула: нужна, Макс, если хочет, тоже может пойти, всякий, кто хочет, может пойти.

— Но, — Альбина подняла палец, водя туда-сюда, — хотеть или не хотеть — вот в чем вопрос!

— Оборотись, — сказал Макс. — Сотни людей торчат в поезде, не могут выйти, не могут попасть домой. Из-за тебя.

— Не из-за меня, — Альбина покачала головой, — из-за себя.

— Из-за тебя, — повторил Макс. — Ты хотела справедливости — ты разожгла ненависть. Ты видела его глаза? Он готов был убить.

Альбина подтвердила: она видела его глаза, он готов был убить. Но справедливость — это реальность или это фикция, химера?

Макс стоял на своем: Альбина подняла бучу. Ребята готовы были разойтись, сами понимали, добром не кончится, парню транзистор ни на фиг не нужен был, копеечная игрушка, полезли, обкуренные, в бутылку, а потом опомнились. И тут она, Альбина, и пошло по-новому, опять по кругу, в этот раз с коррекцией извне: даешь, ребята, Бастилию, даешь Красную Пресню!

— Справедливость, — повторила Альбина, — это реальность или это фикция, химера?

— В чем справедливость? — Макс смотрел в упор, голос ровный, на одной ноте, синие глаза под очками, холодные, с чужого лица. — Время за полночь. Люди — тысяча человек, больше тысячи — нервничают, дома ждут, черт знает какие мысли в голову лезут, в полиции трещат телефоны, на перроне выстроили батальон полисменов. Чего ради, кого ради?

Макс не ошибся: на Джорнал-сквере ждала полиция. Оцепили платформу. Один, видимо, старший, бегал взад, вперед, отдавал распоряжения, полисмены держали руки на кобурах: чуть что — бах-бабах!

Парень не отходил, держался подле Альбины. Теперь, увидев полицию, уже не намеками, не в тайном расчете на содействие, уже прямо просил быть ему свидетелем.

Открыли одну дверь, снаружи поставили патруль, в вагон вошли офицер и еще трое. Ребята сами двинулись навстречу, парень с ними, офицер искал глазами, кто еще, видимо, принял за одну компанию. Оказалось, не одна компания. Ребят вывели на платформу, парень озираясь: идет свидетельница его, не идет? Можно было не озираться: Альбина сама расталкивала людей, сама пробивалась, чтоб не пришлось в последнюю минуту, когда станут звать в свидетели.

Свидетели не понадобились: обе стороны — и те, четверо, и парень, хозяин транзистора — держались корректно, каждая с поправкой на свой интерес. Офицер сделал знак кондуктору: поезд может следовать по маршруту, в Нью-Арк.

Публика стала расходиться. У эскалатора, у лестничного марша выстроилась очередь. Макс и Альбина стали в хвосте.

— Тебе, — сказал Макс, — не здесь стоять. Тебе, — Макс указал на верхнюю площадку, — там: парад принимать.

Альбина кивнула: там. Она жмурила глаза, прижималась к Макс, улыбалась.

— Какой славный мальчик, — бормотала Альбина. — Какой мачо! Как он держался за меня!

Да, сказал Макс, мачо. Да, сказал Макс, держался за тебя.

На ночь легли врозь. Перед рассветом Альбина перетаскила свое одеяло, подушку, шепнула Макс, в ухо:

— Тебе холодно. Ты дрожишь, как осиновый лист. Я согрею тебя.

Макс спросил: как звали парня? Антонио? Альбина не отвечала. Макс повторил: как звали парня? Тоже Антонио? Итальянцы любят это имя: Антонио.

Альбина сказала: парня звали Гвидо Кавальканти. Или Джузеппе Гарибальди. Или Чипполино.

— Обними меня, — сказала Альбина. — Я — астральное

тело. Парня никак не звали. Не было парня. И Антонио не было. Я все выдумала.

XVI

В Нью-Йорк прилетели в четыре часа дня. Опоздали чуть не на сутки: должны были прилететь минувшей ночью, но в Риме всякий раз откладывали рейс. Среди пассажиров шли слухи: то Красная Бригада подложила бомбу и требует десять миллионов долларов, то Арафат заслал своих арабов и планирует угнать самолет в Ливию или Тунис, то, вдруг выяснилось, какой-то женщине стало плохо, у нее обнаружилась холера или какая-то другая опасная инфекция, и американцы требуют медицинской проверки всех пассажиров.

Саша, когда доходил очередной слух, пожимал плечами: кто чем живет, а наш, советский человек — жив слухами.

Аля удивлялась:

— Саша, ну разве не может быть, чтобы террористы подложили бомбу или хотели угнать самолет? Разве не могло кому-то стать плохо и американцы испугались, что занесут инфекцию?

Когда, наконец, объявили вылет и самолет действительно поднялся, Саша сказал: бывает, что террористы не подложили бомбу, бывает, что никого не скрутила холера, а из графика выпадают. Значит, засмеялся Саша, бывают другие причины, таинственные — над нами, Саша указал пальцем в потолок самолета, или под нами, Саша постучал ногой о пол, под креслом.

— Саша, — сказала Аля, — ты скоморох: ты думаешь, всегда можно кувыркаться и смеяться.

Саша ответил: он не думает, что всегда можно кувыркаться и смеяться, но гадать на кофейной гуще — не по его части.

Аля вспомнила Антонио, не хотела говорить вслух, но вырвалось само:

— Саша, ну как это получается? Антонио — итальянец, совсем чужой, и понимает. А ты — свой, родной, и не понимаешь.

Саша весь взъершился: Антонио ничего не понимает, и Аля ничего не понимает, это ей только кажется, что они понимают друг друга, что есть взаимопонимание, а на самом деле один бред, глупая карусель — садятся на слона из папье-маше и воображают, что какой-то Шива или Брами протягивает им все шесть своих рук!

Аля сказала:

— Саша, ты очень злой. Я думала, ты добрый, а на самом деле ты злой.

Саша закрыл глаза, у переносицы собрались складки, так, не открывая глаз, притянул Алю к себе, прижался головой, повторил: Антонио нес чепуху, ересь, Аля сама знает.

Аля рассердилась:

— Саша, ты просто ревнуешь -- и сам несешь ересь. Антонио ничего не выдумал. Антонио дано, он видит и чувствует то, чего другие не видят, не чувствуют. Я тоже вижу и чувствую, а ты не видишь и никогда не будешь видеть, потому что тебе не дано. Я не виню тебя: так ты устроен. Но надо быть честным и прямо сказать себе: не вижу, не чувствую, а есть другие, которые видят и чувствуют.

Саша отодвинулся, прислонился лбом к иллюминатору, под самолетом, сколько хватало глаз, на все стороны расстилались сугробы облаков, казалось, сугробы неземного, космического снега, так видел глаз и чувство было такое, в памяти вставали сугробы снега, наметенные на земле, в степях под Одессой, с одной стороны, по южной линии горизонта, зимнее, с далеких, до человеческой цивилизации, до самого человека,

времен, земля, и Саша, чтоб не сбиться, не предаваться наваждению, объяснял себе: это не сугробы снега, это — облака. Как будто по учебнику географии для третьего класса, само собою выскакивало в памяти: облака бывают перистые, кучевые...

— Саша, — сказала Аля, — перестань думать и объяснять: просто смотри, и не надо ничего объяснять.

Саша обернулся, в глазах было удивление, Аля постучала пальцем у Саши по темени: вот, теменной глаз, отсюда передаются мысли от человека к человеку. Саша хмыкнул, нарисовал пальцем в воздухе человеческий череп, заштриховал эллипс у основания черепа и сказал: ретикулярная формация, древнейший слой мозга, отсюда — все животные импульсы, от земноводных и рептилий до игуанодов, которые стали подниматься на задние ноги полмиллиарда лет назад и, не случись катастрофа, занимали бы сейчас на Земле место человека.

Аля покачала головой: катастрофа здесь ни при чем — все идет, как должно идти, и если бы должно было быть по-другому, было бы по-другому.

— Саша, — Аля смотрела Саше в глаза, — ты должен понять: случайностей не бывает. Все имеет свой смысл. Наш самолет выплетел почти на сутки позже. Ты думаешь, это просто так: террористы, диспетчеры, график? Нет, это не просто так: здесь свой смысл. Может быть, мы с тобой никогда не узнаем, но здесь свой смысл.

Саша развел руками:

— Но если мы с тобой никогда не узнаем, то какой смысл это может иметь для нас? Как судить?

Аля покачала головой: кроме нее и Саши, в самолете еще четыреста пассажиров, у каждого свои близкие и друзья, а у тех — свои близкие и друзья, а у тех — свои. И каждый может спросить: как судить?

Саша засмеялся: не человечество, а всемирная масонская ложа, космический заговор мудрецов синедриона!

Аля рассердилась: Саша думает, что диплом, образование это все, а на самом деле образование ограничивает. Человек думает, теперь он знает, понимает, а на самом деле еще меньше знает, меньше понимает, чем без диплома.

Саша сказал: да, это так. Жан-Жак Руссо две сотни лет назад получил премию Дижонской академии наук за то, что доказал: знания не способствуют прогрессу нравов. Учение — тьма, неучение — свет.

Аля обиделась:

— Саша, противно с тобой разговаривать, когда ты такой. Смеется тот, кто смеется последний.

Саша повернул голову, посмотрел в глаза: он знает, он точно знает, кто будет смеяться последний. Аля сощурила левый глаз, как будто прицеливается, следит за мишенью. Саша сказал: Аленок будет смеяться последний — и это будет последний звук на Земле.

— Милый, — Аля взяла Сашу за руку, погладила, — я противная, я гадкая. Ты лучше всех, ты самый умный, самый чистый. Другого такого нет. Я очень люблю тебя. Поцелуй меня. Вот так, крепче, еще крепче.

Рядом сидела пожилая женщина, очень приятная, из Москвы. Невольно посмотрела на Сашу, на Алю, сказала, Одесса совсем не русский город, скорее похожа на Неаполь, Саша кивнул, общая прабабка, Средиземное море. Женщина улыбнулась: Москва тоже порт пяти морей. Саша наморщил лоб, сделал вид, что с трудом припоминает: Москва — крупный железнодорожный узел, полторы тысячи верст к северо-востоку от Одессы.

Женщина смотрела на Алю, в глазах было восхищение: — Вашему мужу очень повезло.

Аля ответила, да, ее мужу очень повезло — Саша замотал

головой, как будто ученая лошадь в цирке: очень-очень! — но еще больше повезло ей.

В аэропорту Кеннеди, когда прошли через таможенную и получили белый талон на право постоянного жительства в Соединенных Штатах, по статусу политических беженцев, Аля — только что уверяла, что по-настоящему счастлива, никогда еще не была такой счастливой — вдруг заплакала: вот, людей встречают, обнимают, только они с Сашей одни — никто не встречает, не обнимает.

Саша просил Алю успокоиться, прижимал лицом к себе, к груди, рядом остановились парень с девушкой, говорили по-английски, Саша спросил, есть ли поблизости питьевые фонтанчики, парень ответил по-русски, без акцента, питьевых фонтанчиков нет, но питьевая вода есть.

Парень принес бутылку сельтерской. Саша воскликнул: „Аля, сельтерская, как на Дерибасовской!”

Аля подняла голову, хотела взять у парня из рук бутылку — и обомлела:

— Сева!

— Аля! — закричал Сева, выронил бутылку и бросился обнимать. — Ну чудо! У Мари-Луиз умер дед, летали в Стокгольм хоронить. В дороге — то ли в Швеции, то ли здесь — потерялся багаж. Три часа искали — вот, нашли. И вдруг ты. Ну чудо!

Саша сказал:

— Я — Саша, Алин муж. Вы — Сева, археолог. Аля рассказывала про вас: Крым, гора Митридат.

Да, схватился за голову Сева, когда это было — мезозойская эра: Крым, Керчь, кость любимого осла царя Митридата!

— Ну ты гвоздь, Алька! Гвоздь! — Сева бросился снова обнимать, Саша смотрел на Алю, на Севу, на Севину девушку,

девушка улыбалась, Сева спохватился. — Моя жена, Мари-Луиз Мальштром, шведского роду, некоторым образом лютеранка. По-русски — ни в зуб ногой.

— В зуб ногой! — засмеялась Мари-Луиз. — Как это, Сева: кубени матери, с приездом! Welcome!

Представитель Нью-Йоркской ассоциации новых американцев, по акценту, польский еврей, маленький, лысый, с рыжими веснушками по черепу, объявил в мегафон:

— Чартер из Рима! НАЙАНА приготовила для вас комфортабельные автобусы. Автобусы ждут вас снаружи, прямо возле дверей. Начнем посадку. Будем организованные и выполнять команду.

Сева взял у Мари-Луиз визитную карточку, на мгновение задумался, передал Саше.

— Сева, — обратилась Мари-Луиз, — ты можешь предложить Але и Саше: у нас свой дом, рядом океан, если желают, могут снять квартиру. Ответ не обязательно сегодня. Есть время подумать.

Саша, когда услышал про океан, сказал Але: берем. Аля ответила, она согласна, но хотела бы осмотреться, чтобы потом не было досадного чувства.

Алю и Сашу поселили в гостинице „Амбассадор”, на углу Сорок девятой и Бродвея. Саша сказал: это не гостиница, это — гадюшник, надо было сразу ехать к Мари-Луиз.

Аля встала среди ночи, разбудила Сашу:

— Саша, я боюсь. Мне страшно.

Саша повторил: Мари-Луиз с ее домом — это неслыханная удача, другие могут только мечтать.

Да, кивала Аля, другие могут только мечтать, но неужели Саша не чувствует: все так странно.

В окне напротив двое, упершись в подоконник, творили непотребство. Место выбрали с умыслом, чтобы другие видели

и чтоб сами могли видеть, как другие смотрят. Саша задернул занавес.

Аля повторила: все так странно, во всем какой-то смысл, какой-то тайный знак.

Саша нахмурился: Аленок, ну какой смысл, какой тайный знак? Обыкновенное стечение обстоятельств, теория вероятности.

Аля заломила руки:

— Саша, ты ничего не понимаешь: какое стечение обстоятельств, какая теория вероятности! В Риме десять раз откладывают рейс: случайность. Должны прилететь в Нью-Йорк ночью — прилетаем днем: случайность. У Мари-Луиз в Стокгольме умирает дед: случайность. Люди едут на похороны, возвращаются из Стокгольма, исчезает багаж: случайность. Три часа ищут — как раз к нашему приезду находят: случайность. Наконец, оба, Сева и Мари-Луиз, проходят и останавливаются в то же время и в том же месте, где мы с тобой: случайность!

Саша пожал плечами: а конфликт с отцом, а вояж с Лией в Крым, а гора Митридат, а встреча с Севой, а встреча Севы с Мари-Луиз — все случайность.

— Да, — Аля всхлипнула, закрыла лицо руками, — все началось с папы! Ты прав, все началось с папы: я предала! За мной следят. Я чувствую: за мной следят!

— Бред! — схватился за голову Саша. — Безумие! Ты никого не предавала. Ты шла своей дорогой — и никаких тайных смыслов, никаких тайных знаков не было. Ты сама выбирала — и сама решала. Чего ты боишься? Не хочешь — не будем сидеть у Мари-Луиз, снимем другую комнату, у черта на куличиках. Забудь: нету Мари-Луиз, нету никакого Севы. Все твои случайности — тьфу, дуновение ветра!

Через неделю переехали к Мари-Луиз, Манхэттен-бич, окна из спальни прямо на океан. В первый вечер чемоданы,

наполовину разобранные, стояли посреди комнаты, Саша сел в кресло, у окна, и сидел чуть не до полночи. Аля возмущалась, такого бездельника и лодыря надо поискать, но тут же сама садилась Саше на колени, прижималась, целовала и млела от восторга: о чем еще может мечтать человек — лучше не бывает!

Было ощущение, что двое в доме, вокруг ни души. Не только в доме, но и за дверью, за стенами: впереди — океан, по сторонам мерцают корабельные огни, над головой, в небе, тоже мерцают огни, несутся в черном пространстве, минуя, обходя все другие огни, чтоб не столкнуться, не расшибиться друг о друга.

В первый вечер Мари-Луиз и Сева не заходили. Саша сказал: мы на Западе. На другой день хозяева пригласили на ужин. Готовил Сева, Мари-Луиз объясняла: все археологи умеют стряпать. Если Сева надумает пойти кулинаром, у него хорошие шансы на будущее.

Аля удивилась: зачем археологу идти в кулинары? Мари-Луиз улыбнулась: разве кулинар это хуже, чем судомойка? Сева уверяет, что ему больше нравится судомойкой: остается больше времени свободно думать. Но о чем можно думать целый день, с утра до вечера?

Мари-Луиз засмеялась:

— Впрочем, ваш писатель Гончаров дал ответ на этот вопрос: можно думать не только с утра до вечера, можно думать всю жизнь, как его герой Обломов, пока не придет время хоронить. Очень правдивый русский характер.

— Мать, — сказал Сева, — перестань трепать языком: русский характер еще не открылся миру. Твои Ингеры и Хельги пришли на Русь — куда они, кунинги, подевались? В леса забрели — одни кости белеют на пнях, в болотах утопли — торфяники мхом обросли.

Русь, сказал Саша, не национальное имя: Русь — название

скандинавской торговой компании в восьмом—девятом веках на берегах французской реки Роны.

— Какая там французская река! — махнул рукой Сева. — Еще и Франции не было: так, империя франков. Грядет Русь! Согбенная Октябрем, Русь ныне только расправляется. Кто постиг смысл Октября? Кто постиг: Октябрь дан был Руси как тетива — чем туже тетива, тем далее стреле лететь.

Мари-Луиз объяснила: Сева сейчас работает над книгой про харизму России и сокровенный смысл Октября, русской революции. Параллельно Сева пишет еще одну книгу: про возможность репродукции фараона по хромосоме из мумии.

— Я думаю, — сказала Мари-Луиз, — Сева гениальный человек, как Шлиман, который раскопал Трою, потому что верил, когда другие не верили.

— Мать, — нахмурил брови Сева, — не сотвори себе кумира! Гляди вперед, не кланяйся, не озирайся, ибо обращена будешь в соляной столп, а дочерям твоим творить блуд с отцом.

Мари-Луиз вынула из сумочки две скрутки — одну сама закурила, другую передала Але, сказала, это для нее и Саши, тоже могут закурить, но, конечно, совсем не обязательно, по желанию.

Аля закурила, затянулась глубоко, потом еще раз и еще, как будто торопилась, боялась, что отберут, Саша в самом деле хотел отобрать, Аля встала из-за стола, пересела на диван, Мари-Луиз засмеялась, сказала Саше, бедный, протянула свою скрутку, может быть Саша не откажется, но Саша отказался, скрутку взял Сева и махнул рукой:

— Не испить шеломом Днепра Славутича, поплывем!

Саша предложил, пойдем к океану, Мари-Луиз вся съехала, сделала вид, что дрожит от холода. Сева тоже отказался, Аля сказала, Саша может пойти один, только не очень долго, она будет волноваться.

Саша колебался, идти или не идти, посмотрел на Мари-Луиз, блондинка, голубые, немножко холодные глаза, по выражению лица чем-то напоминает Ингрид Бергман, посмотрел на Севу, на Алю, Мари-Луиз сказала, не надо опасаться, здесь безопасный район, можно гулять, когда захочется.

Саша шел сначала вдоль берега, по песчаной отмели, под ногами трещали ракушки, попадались странные, как будто брошенные миллионы лет назад, панцири, на горизонте, нижней кромкой касаясь океана, поднимался багровый месяц, было впечатление, что гигантское поле битвы, не осталось никаких признаков жизни, только цвет, Саша смотрел как замороженный, не заметил, когда кончилась отмель, начались скалы, чуть не свалился в воду, стал перебираться со скалы на скалу, но скоро пришлось отказаться, поднялся наверх и, огибая дома, направился к Брайтон-Бичу.

В гастронOME „Москва” за столиком сидела мужская компания, пили водку, пиво, закусывали таранькой и картофелем, только что с огня, еще поднимался пар, Саша заказал водки, хозяин внимательно посмотрел, сам догадался, одессит, свежий, сел за столик и сделал рукой знак, пусть Саша тоже сядет.

Саша выпил, компания предложила закуску, сами стали подливать, оказалось, почти все одесситы, сначала настроение было неважное, потом все лучше и лучше, не заметил, как летит время, вернулся домой после полуночи.

Аля лежала на диване, глаза широко раскрыты, на губах улыбка, Саша подошел, поцеловал, Аля не реагировала, Саша провел пальцами по губам, Аля забормотала:

— Не испить шеломом Днепра Славутича! Летите голуби, гори мятежная Искоростень, сгинь в огне — за убитого кунинга Ингера, моего супруга. Приди ко мне, — Аля раскрыла руки, — я — Хельга.

Каштановые волосы, тяжелые, вязкие, как бурый глинозем, челка, напуском на лоб, зеленые, с внезапным изумрудным пересветом, глаза — у Саши ухнуло в груди, сперло дыхание, едва продохнул:

— Аля!

— Я — Хельга, — бормотала Аля. — Я — Ольга твоя, кунинг Ингер! Приди, возьми!

Саша набросился, изнутри, как будто невидимый погонщик с бичом, непрерывно подстегивало: быстрее! быстрее! Аля крепко охватила ногами, прижимала к себе, делала плавные, с мгновенным судорожным обрывом, вроде волна ударяется о берег, движения, и беспрестанно окликала: Ингер!

От непрерывного подстегивания — быстрее! быстрее! — от бича, который переместился изнутри наружу и свистел, как шамберьер дрессировщика, над головой, от имени, которым Аля окликала, от всего этого у Саши возникло ощущение, что он — чужой, смотрит на себя со стороны и видит, как можно видеть чужого, стороннего, который непонятно как оказался в доме.

— Не уходи, — Аля не отпускала, еще крепче стиснула ногами, — я твоя! Я — Хельга!

Утром, едва проснулись, Аля спросила:

— Саша, когда ты пришел? Я ждала всю ночь, не сомкнула глаз. Где ты был?

Аля была бледна, веки набрякли, под глазами синие дуги.

— Ты плохо выглядишь, — сказал Саша. — Это интоксикация: тебе нельзя курить.

— Где ты был? — Аля повернула Сашу лицом к себе, внимательно посмотрела. — Пожалуйста, отвечай: где ты был, с кем?

Саша сказал, он был у океана, потом зашел в гастроном „Москва”, потом вернулся домой, и у них с Алей был коитус.

— Фу, — воскликнула Аля, — какое противное слово!

Саша спросил: Аля уверена, что не помнит вчерашнего? Аля рассердилась: что значит уверена? Саша уверен, Саша помнит — значит, для него было. А кто не уверен, кто не помнит — для того не было.

Саша смотрел, из глаза, вставного, выкатилась слеза, вытер о подушку, Аля обняла, притянула к себе, прижала:

— Саша, ну что ты выдумываешь! Я люблю тебя, ты родной, единственный. Не выдумывай.

Саша поступил на Каплановские курсы — для подготовки к экзамену на доктора. Аля сказала: на этом этапе семью будет содержать она.

Работа была всякая: сиделкой при стариках, няней при детях, иногда приглашали в магазин одежды, постоять субботу-воскресенье за прилавком.

Мари-Луиз говорила: о, настоящая русская женщина, декабристка. Среди американок тоже есть декабристки, но не так часто. Мари-Луиз пожимала плечами: она лично — нет. И обращалась к Севе:

— Сева, правда, нет?

— Мать, — отвечал Сева, — не профанируй. Каждому свое. Всякий человек другому человеку — в испытание. Аля — в испытание любовью. Ее потенциал — от космического генератора любви. Кеплер, чтобы сфокусировать свой интеллект на создание космогонической модели, звездных эллипсов Вселенной, выкрал священные сосуды из египетского храма. Галилей в Пизанском соборе, наблюдая, как раскачивается светильник, почувствовал: удары его сердца, его пульса и размахи светильника сопоставимы по ритму, ибо ритм их — из единого источника. Аля иррадирует любовь, ни ей самой, ни другому не дано пресечь иррадиацию: разбить космический генератор любви — другого способа нет.

Мари-Луиз спрашивала: есть ли способ зарядиться от космического генератора любви? Или нет такого способа, дано изначально, из века?

Сева отвечал: дано из века, но доброе начало, заложенное в каждом человеке, продуцирует духовные кванты, несущие в себе заряд любви. Эти кванты — духовная субстанция. Субстанция в своем развитии проходит стадию физического преобразования, при которой зарядка идет удесятеренными темпами, ибо материя не что иное, как овеществленный дух.

Мари-Луиз взяла Алю за руку, попросила Севу, пусть возьмет Алю за другую руку, она чувствует иррадиацию, но хочет проверить, изменяется ли потенциал, когда в цепь включается дополнительное тело.

Мари-Луиз первая почувствовала изменение. Аля сразу не почувствовала, но затем, когда Мари-Луиз и Сева закурили, ударил запах погребной цвели, почувствовала: в руках, в ногах появилось ощущение трепета, вибрации, как будто дрожит на ветру струна.

Аля тоже закурила. Потенциал изменился, Мари-Луиз прижалась к Але, вскрикнула, ах, что Аля с ней делает, сняла с себя колготки, сказала Але, пусть тоже снимет, потом легли втроем, Мари-Луиз и Сева целовали Алю, поворачивали на живот, на спину, брали, каждый со своей стороны, за руки, за лодыжки, целовали между ног, потом Сева был с Мари-Луиз, Аля водила губами, ладонями у Севы по спине, потом Сева был с Алей, Мари-Луиз прижималась к Але сзади, делала плавные движения, как будто мужчина, и вскрикивала, когда вскрикивали Аля с Севой.

На другой день у Али было нехорошее настроение, но потом исправилось, еврей, у которого Аля была сиделкой, называл Алю хаис, душа, и клялся своим здоровьем: если бы

Аля встретила́сь ему́ на пятьдесят лет раньше, он служил бы за нее семь лет и еще раз семь, как Иаков за свою Рахиль.

— Аля, — говорила Мари-Луиз, — от вас исходят флюиды.

— Мать, — поправлял Сева, — флюиды — устаревшее понятие, подобно флогистону, в котором химия XVIII века усматривала частицы огня. Квантовая механика доказала: квант — предельно малая частица энергии. На уровне кванта материя преобразуется в дух: квант, давши о себе весть, исчезает как материальная субстанция, обращается в дух. Аля — астральный тип. Подобно тому, как Солнце ежесекундно теряет четыре миллиона тонн своей массы, снабжая теплом и светом планеты и пришельцев из Вселенной — кометы, астероиды — Аля иррадирует кванты любви, снабжая теплом и светом таких, как Мари-Луиз и Сева и иже с ними. Интенсификация контакта должна сопровождаться у Али потерей веса. Вряд ли весы могут зарегистрировать эту потерю, но Аля сама, несомненно, чувствует ее. Скажи, Аля, — обратился Сева, — бывает ли у тебя чувство физической опустошенности, облегченности — на облегчения, а облегченности?

Аля сказала: да, у нее бывает чувство облегченности, не облегчения, а именно облегченности, как будто она мяч или шар, из которого выпустили воздух. Бывают дни, она чувствует себя просто больной и потерянной.

— Потерянной! — воскликнул Сева. — Именно так: потерянной. Восполнение затраченной энергии из космического генератора любви происходит с некоторым запозданием, либо по причине удаленности генератора, либо по иной причине, о которой сегодня можно строить лишь гипотезы.

На другой день были опять втроем: Аля, Мари-Луиз и Сева. Потом складывалось по-разному: то втроем, то вдвоем, Аля с Севой. Выкуривали скрутку, иногда две-три, передавали один-другому, Сева объяснял, что человечество проходит

на новом витке халдейско-египетский цикл, материальный мир покрывает собою духовный, мы под гигантским колпаком, все, кто способен чувствовать, чувствуют: не хватает духовного кислорода, емкость наших легких недостаточна. Чтобы развить ее, необходимы высокие физические нагрузки. Где выше физические нагрузки, там выше емкость духовных легких человека. Наибольшая нагрузка пришлась на Русь, большевики нагрузили до предела. Где, в каком еще краю духовность такая, как на Руси!

Каким бы именем ни наречь, говорил Сева — эмиграция, высылка, насильственное лишение гражданства — на Западе мы изгнанники, пришельцы в чужой земле. Аля — в головном ряду среди пришельцев. Удары физического мира — все по ней, через нее — процесс космической сублимации: зла — в добро, ненависти — в любовь. Сублимация — процесс временной: как благо изобилия оборачивается пороком избытка, так добро — в точке Икс на ординате времени — может обернуться злом, любовь — ненавистью. Человеку в буднях дана Майя — мир-иллюзия. На стыке двух физических сред луч света, преломляясь, меняет свое направление. Точно так, добро и любовь в одной среде, Аля может предстать злом и ненавистью — в другой. Но, ряженная злом и ненавистью, Аля индуцирует добро и любовь, вызывая усиленный приток энергии из космического генератора любви.

Аля говорила Севе, она не хочет оборачиваться злом и ненавистью, это очень больно: есть ли способ избежать этого? Сева отвечал, нет такого способа, как нет способа удержать луч света в том же направлении на стыке разных материальных сред. Таков закон, закон же предустановлен.

Саша приходил со своих курсов поздно. Аля рассказала про космический генератор любви, Саша ничего не понял, пришлось втолковывать как школьнику: что такое космический, что такое генератор, что такое любовь. Наконец Саша

понял, Аля объяснила, есть люди, которые иррадируют кванты любви, а сами заряжаются от космического генератора.

Саша сказал, на всем белом свете есть только один человек, по имени Аленок, который иррадирует кванты любви, стал обнимать и целовать, Алю внезапно затошнило, сделалась белая, как полотно, чуть не вырвало, Саша стал считать пульс, взял свой фонендоскоп, послушал сердце, пощупал живот и вдруг заговорил голосом одесского биндюжника:

— Мамаша, вы будете смеяться, но мы беременные! У нас будет сын!

Аля заплакала, Саша стал объяснять, в Америке родить и выходить ребенка — это пара пустяков, стирать пеленки не надо, а баюкать он будет сам.

Ночью и утром у Али опять была тошнота, Саша говорил, это нормально, организм перестраивается, чтобы новому человеку было тепло, уютно и полный комфорт.

Аля вдруг взорвалась:

— Перестань ерничать!

Саша не обиделся, наоборот, извинился и сам стал убеждать, что теперь Аля имеет законное право на каприз.

— Саша, — сказала Аля, — у нас не будет ребенка.

Саша сказал твердо: у нас будет ребенок, отец и мать равны в своем праве решать.

— Саша, — сказала Аля, — я не знаю, от кого ребенок.

Саша смотрел молча, как будто не к нему, как будто не слышит, не видит, нос сделался желтый, свечной, вдоль, у основания, две синие, вроде с китайского натюрморта, тени, щеки опустились, опали, постарел сразу на двадцать лет, у Али сжалось сердце, в то же время было противно, было гадко, была злоба:

— Саша, — повторила Аля, — я не знаю, от кого беременна: от тебя или от Севы.

Саша не пошел на курсы, все утро просидел в кресле, смотрел в одну точку, Аля не беспокоила, обходила молча, иногда, как будто невзначай, перехватывала взгляд, на миг останавливалась, вроде ждала слов, наконец, не выдержала, сама обратилась:

— Саша, надо сделать аборт. Не бойся: все будет хорошо. Саша, я люблю тебя. Очень-очень люблю.

Аля заплакала, стала на колени, Саша сначала не обращал внимания, смотрел в свою точку, потом заплакал, стал на колени, обнял Алю, и так стояли вместе и плакали.

— Саша, — Аля перестала плакать, зажмурила глаза, — а вдруг я все выдумала? Саша, я все выдумала.

— Я знаю, — сказал Саша, — ты все выдумала.

Вечером Саша воротился домой пьяный. Аля раздела, уложила в постель, ласкала, требовала, чтобы Саша взял ее, если не возьмет, она тут же умрет, Саша бормотал в ответ, что тоже умрет, пристраивался с разных сторон, громоздился, но как ни пристраивался, ни громоздился, ничего не получалось.

Аля поцеловала, пригладила волосы, положила ладонь на глаза и сказала:

— Заяц слишком много выпил, отложим до утра.

Утром повторилась та же картина: Аля ласкала, нежила, Саша просил не торопить его, пристраивался с разных сторон, громоздился, но ничего не получалось.

Аля оттолкнула Сашу, уперлась руками в грудь, чтобы держать на расстоянии, и сказала:

— Саша, ты не можешь. Саша, ты доктор, ты должен знать причину, почему не можешь. Почему?

Саша ответил, это шок, нервный стресс, должно пройти.

Минула неделя, вторая, перемен не было, Аля спросила:

— Саша, может быть, тебе нужна другая женщина?

Саша ответил, ему не нужна никакая другая женщина,

никто, кроме Али. Все будет хорошо, все наладится, просто сильная нервная встряска и требуется время.

Аля спросила:

— Саша, откуда ты знаешь, что это нервная встряска и просто требуется время? А может, не просто?

Саша объяснил: медицина — экспериментальная наука, у медицины тысячелетний опыт.

Аля пожала плечами: а может, медицина здесь ни при чем, может, это указание, знак?

Саша удивился:

— Знак? От кого, — Саша засмеялся, — от Венеры, от космического генератора любви?

Аля покачала головой:

— Саша, я вижу, ты ничего не понял. Просто так ничего не бывает. Разве у другого обязательно случилось бы, как у тебя? А у тебя случилось. Почему?

Саша не мог ответить, почему у него случилось, а у другого могло бы не случиться. Тут, говорил Саша, биология, физиология, биохимия и еще сорок тысяч бочек.

Аля пожимала плечами: но почему одному такая биология, физиология, биохимия, а другому — другая?

— Саша, — спрашивала Аля, — почему?

Насчет биологии, физиологии, биохимии у Али был разговор с Севой. Нелепо, сказал Сева, искать здесь ключ к человеческой судьбе. Биология, физиология, биохимия — это формально-логические науки, главный их объект — материалы и процессы живой природы. Назначение же каждой особи и ее судьба — вне формально-логического постижения. Почему, спрашивал Сева, именно ей, Але, назначено irradiровать любовь? Потому что дух, избравший себе в обители ее физическую плоть, ближе других к раскрытию своей дхиянической, ангельской сущности.

Пять тысяч лет назад египтяне бальзамировали умерших, ибо верили: есть царство вне земных царств. Три тысячи лет спустя, распятый людьми, галилеянин Иешуа восстал из мертвых. И что же? Не сегодня-завтра восстание из мертвых станет простой лабораторной процедурой, как введение гастроскопа в желудок и клистира в анус. Хранившиеся в хромосомах, Хеопсы, Тутмосы, Рамзесы, Эхнатоны восстанут из мумий в своих пирамидах — бессмертии, явленном человеку в геометрическом теле из камня, с вершиной, в которой пересекаются, уходя в бесконечность, ребра мегалита.

Восстание из мертвых и вознесение — важнейшая из акций в деяниях Иешуа, сына Мирьям и Иосифа, еврея-плотника из Назарета. Пятостепенные детали апокрифа — непорочное зачатие, изумленные тельцы, прения с фарисеями, исцеление сухоручек — заслонили главное: восстание человека из мертвых как феномен реального, зримого бытия, а не пряная деталь из мифа об Озирисе, о Мазде, о шестируком Шиве. Зри, сказано было человеку, вот, один из тебя, переходит в иную сферу. Ты видел его своими глазами, ты касался его своими руками, ты знаешь, каковы были его дела, с каким багажом прошел он таможду из общего с тобой царства-государства в царство, о котором не знаешь, каково оно, но о котором дано тебе знать, что есть это царство: ты видел, с каким багажом входи туда. Позаботься же и ты о своем багаже, и не рассчитывай, что проскочишь, просунешь хвост, где голова не лезет, дан тебе образец: люби, для любви послан, и не ищи себе другого дела, ибо любовь — во всех делах, какие делаешь. По хромосоме, по комбинации кварков и пи-мезонов, из отпечатка в памяти потомков — будешь узнан и возвращен в кочевье. Нынче твое кочевье, твой привал здесь, на Земле. По нраву оно тебе или в тягость, в муку, и помышляешь наложить на себя руки? Вот, зависит от тебя: люби.

С курсами у Саша начались нелады: то ходил нормально, то вдруг, ни с того ни с сего, прогуливал, возвращался домой пьяный и с порога докладывал: „Заяц набрамшись!”

Аля говорила:

— Саша, ты эгоист, ты думаешь только о себе, о своем удовольствии.

Саша улыбался, обнимал Алю, целовал и отвечал, это правда, он эгоист, он думает только о себе, и непонятно, как она может терпеть такого эгоиста. Тем более в этом доме, где все бьются из последних сил.

Один раз Аля не выдержала, ответила, в этом доме не бьются из последних сил, и тут же сама пожалела:

— Саша, тебе не нравится этот дом? Ты хочешь, чтобы мы ушли? Давай уйдем.

Аля открыла шкаф, вынула чемодан и повторила:

— Ты хочешь, чтобы мы ушли? Давай уйдем.

Саша не отвечал, улыбался своей хмельной улыбкой, сделал шаг вперед, пнул чемодан ногой, задвинул в шкаф и закрыл дверцу.

— Аленок, — сказал Саша, — я жуткий эгоист, выгони меня, прогони меня: эгоисты сами не уходят.

Саша перестал улыбаться, вынул из глазницы фарфоровый глаз, положил на ладонь и протянул Але:

— Вот, на долгую и добрую память. Жду ответа, как соловей лета.

Аля протянула руку навстречу, как будто хочет взять, вдруг завела кисть под Сашину руку, ударила снизу, глаз взлетел к потолку, бело-голубой мячик, Аля закричала:

— Эгоист! Фигляр! Убирайся, чтоб глаза мои не видели тебя!

Аля бросилась на диван, лицом в подушку, вся дрожала и тряслась, Саша подошел, сел рядом, погладил, Аля затряслась

еще сильнее, сделала движение корпусом, вроде хочет сбросить Сашу с дивана, он, наоборот, уселся глубже, прижался к Алиной спине и забормотал:

— Молчи! Не надо слов. Молчи.

Потом легли — Аля постелила, сама раздела Сашу — обняли друг друга, прижались изо всех сил и прижимались, пока не заснули, как будто опасались, кто-то придет и попытается оторвать, разлучить.

Среди ночи Аля проснулась, немного покурила, взяла Сашину руку, положила у себя между ног, и так спали до утра.

Утром Аля сказала:

— Саша, я очень люблю тебя. Почему мы ссоримся? Люди не должны ссориться. Люди должны любить друг друга. Мы больше никогда не будем ссориться.

Не будем, Саша потряс в воздухе руками, чтоб разогнать после сна кровь, улыбнулся — улыбка была веселая, как вчера, когда появился под хмельком — взял Алю руками за голову, и сказал, какое это счастье — видеть, проснувшись поутру, эту голову рядом с собой на подушке.

— Замолчи, — Аля закрыла лицо ладонями, — еще одно слово — я умру от счастья!

С хозяевами дома Аля не виделась целую неделю. Встретили очень приветливо. Сева говорил, мы не располагаем прямой информацией об уровне иррадиации космического генератора любви, которому, по всем признакам, свойственна цикличность, характерная для всех фундаментальных процессов во Вселенной. Имеются, однако, косвенные признаки, что в данный момент интенсивность иррадиации в координатах времени и пространства, условно обозначаемых — как это принято для ураганов — именем „Аля”, весьма высока.

Аля сказала, она не знает, в какой степени ее собственное

самоощущение может быть свидетельством, но, несомненно, общий потенциал любви сейчас более высокий, нежели обычно.

Закурили. Мари-Луиз взяла Севу за руку, велела Але, пусть возьмет за другую, Сева нахмурился:

— Мать, не кощунствуй!

Мари-Луиз и Сева легли, Аля сидела в кресле, курила, жмурилась, на губах играла улыбка, вдруг открывала широко глаза, смотрела сосредоточенно, Сева поворачивался спиной, Мари-Луиз, наоборот, приподнявши голову, обращала лицо к Але, старалась перехватить взгляд, вся дергалась, вроде хочет выжать, исторгнуть из себя нечто, от чего тело ее забирало конвульсией, Аля вдруг поднялась, пошла к дверям, на миг задержалась, спросила, вопрос был сам по себе, никому не адресован:

— Разве любовь — мука, старание?

Мари-Луиз перестала дергаться, крикнула вдогонку:

— Вернись! Жестокая! Вернись!

Сева вскочил. Прикрываясь руками, побежал за Алей, загородил дверь, присел и так, на корточках, глядя снизу вверх, сказал:

— Можешь — переступи.

Аля сощурилась, как будто от сильного света больно глазам, подняла ногу, Сева наклонился, чтоб удобнее было переступить, Аля взяла Севу за волосы, отвела голову назад, Сева закрыл глаза, Аля улыбнулась, улыбка была блаженная:

— Идем! — сказала Аля.

Позже, когда отдышались, лежали спокойно, Сева объяснял: космическая иррадиация любви, в высоких циклах, исключает императивное начало. Любовь есть всегда готовность уступить, готовность поступиться. Цикл повышенной иррадиации любви есть прорыв обыденности, на ее пике — две тысячи лет назад — людям открылось чудо воскресения из мертвых, чудо, которое, по его, Севиным, расчетам, не позднее 1997-го

года будет воспроизведено в лабораторных условиях. Любость — ядро, сердцевина праведности. О праведных же сказано в Писании: „Будете идти всеми путями Моими”. Всеми — в их числе творение жизни и миров, как творил Он, Единый.

XVII

Аля пошла на Кони-Айленд, где аттракционы, купить травку. Лу, когда увидел Алю, весь засиял:

— О, миллион лет не виделись! А Сева где? Мари-Луиз где?

Сева и Мари-Луиз, сказала Аля, улетели на Ямайку.

— На Ямайку? — удивился Лу. — Они не говорили мне, что летят на Ямайку. Я с Ямайки. А ты почему не полетела?

Лу потер большой палец об указательный, весело засмеялся — по money, по funny! — синее лицо лоснилось, как будто крыто пленкой, какая бывает от керосина на воде в пасмурную погоду, Аля чмокнула Лу в щеку, он тоже чмокнул, подал Але скрутку, сказал, денег не надо, это презент, Аля сказала, нет, надо, это работа, за работу надо платить.

Лу вдруг засуеился:

— Спрячь! Кап идет.

Полисмен, черный, замедлил шаг, вроде намеревался остановиться, Аля держала в руках книжку, раскрыла, стала показывать пальцем, у Лу скулы сделались бурые, сказал, закрой, противно притворяться, пусть, черный гад, сам притворяется.

Аля удивилась:

— Ты сам черный. Ты презираешь черных полисменов?

— Я презираю всех, — сказал Лу, — кто сам себя презирает. У нас был лидер, Малколм Экс. Он был честный человек, настоящий человек. Он ненавидел белых и говорил открыто: я ненавижу белых!

Аля спросила:

— Лу, ты ненавидишь белых? Ты ненавидишь меня, Севу, Мари-Луиз?

Лу засмеялся, на лице выступили синие, как синие бусины, капельки пота:

— Вы не белые, вы — люди. Все люди — люди. В Африке, среди бушменов, есть дикое племя, совсем дикое. Они говорят о себе: человек! У них даже нет множественного числа — люди — есть только единственное число: человек!

— Лу, — сказала Аля, — я думала, все негры добрые, а ты не добрый. В пятом классе мы читали книгу „Хижина дяди Тома“, там все негры — добрые.

Пфе, Лу шелкнул пальцами, „Хижина дяди Тома“ — это белая клюква. Белые — все расисты. И Джордж Вашингтон, насиловал своих черных рабынь и заразил сифилисом, и Линкольн — все расисты. А этот, Рони из Голливуда, полный фашист, как Гитлер: разделяет людей на группы, подзуживает одну общину против другой — давайте, бейте, мы белые, мы в Белом Доме!

— Слушай, — воскликнул Лу, — я смотрю на тебя: ты не белая! Сева и Мари-Луиз — белые, а ты — нет. Ты глаза свои видела? Вот, сравни, как миндаль, как мои. И волосы, — Лу потер между пальцами, — жесткие, хрустят. Нет, ты не белая: в тебе наша кровь, из Африки. Твои предки были рабами. У нас.

Аля пожала плечами: может, и были. Ну и что?

— Ну и что? — удивился Лу — И тебе все равно?

Все равно, сказала Аля. Все люди — люди. Люди должны любить. Любить — это желание уступить, желание поступиться. Тот, кому уступают, тоже должен уступить.

Лу скосил глаза, весело подмигнул: если все уступают — кому же профит, кто выигрывает!

С грохотом, с лязгом, как будто нагруженные железным ломом, неслись с горки вагончики. На подъеме грохот прекращался, оставался степной неторопливый колесный скрежет, на высшей точке звук сходил почти на нет, вроде последняя остановка, дальше дороги нет, и внезапно, с отчаянного человеческого крика, уханья, от которого перехватывало дыхание здесь, на земле, свергалась новая волна грохота и лязга и сыпались с неба невидимые обломки железных конструкций.

Лу предложил: прокатимся?

— Прокатимся, — сказала Аля.

Лу похлопал по спине: он думал, Аля испугается. Молодец, не испугалась. Аля пожала плечами: немножко испугалась — это кровь от белых, но черная кровь сказала, иди, не бойся, и Аля пошла.

Лу засмеялся:

— А ты говорила, тебе все равно. Нет, тебе не все равно. Никому не все равно. Только притворяются. Бояться.

Когда сели в вагончик, Лу объяснил, на спуске надо наклонять голову вперед, иначе такое ощущение, как будто переламывают шейные позвонки. Сильная инерция.

Аля сидела прямо, крепко сжала зубы, уцепилась руками за скобу, смотрела вперед, говорила себе, смотреть вверх не надо, потом, когда трянуло и стали взлетать, было ощущение, что дорога отвесная, прямо в небо, Аля взглянула вверх, обмерла от ужаса, захотелось немедленно выскочить, пусть разбиться, пусть что угодно, только бы прекратить пытку, сквозь грохот слышала голос Лу — наклони голову, наклони! — Алю внезапно рвануло, полетели назад, небо оказалось под ногами, голову, вместе с шеей, одним движением, задвинуло между лопаток, хрустнули, как у курицы, переломленные позвонки, и тут же, как будто ничего не было, грохот прекра-

тился, началось плавное скольжение, Лу выскочил из вагончика, подал руку и сказал: вылезай, приехали!

У Али болела шея, Лу помассировал, крепко вминаясь пальцами, стало легче, у Али было приятное чувство, о ней заботятся, Аля спросила: а своей жене, Джессике, Лу делал массаж? Лу сказал, он делал массаж Джессике, он делал массаж Монике, Робертине, Джине-Бесс...

— И Але делал, — засмеялась Аля.

— Делал, — кивнул Лу, — ты не хуже, чем они. Ты лучше, чем они.

Аля спросила: чем лучше? Лу пожал плечами:

— Ничем, просто лучше. Глаза у тебя такие: нельзя обманывать. Обманешь — самому хуже.

— Лу, — Аля подняла голову, смотрела в глаза, — но я белая.

Лу махнул рукой: зачем повторять? Сказано: все люди — люди.

Зашли в тир, Лу везло, выиграл два приза: один — коала, кукла с большими грустными глазами, другой — не то кот, не то тигр. Коала отдал Але:

— Это тебе. А это — Анджеле, сестренке.

Потом посидели на бордвоке — деревянном помосте вдоль берега. Курили джойнт — один на двоих: Аля передавала Лу, Лу передавал Але.

Потом гуляли вдоль берега. Нашли пакет с хлебом, бросали чайкам, птицы налетали с криком, гонялись одна за другой, норовили вырвать прямо из клюва.

Лу цикал языком: глупые птицы, глупые и жадные, как люди.

— Лу, — сказала Аля, — Ариман — хозяин тебе.

Лу нахмурился: Ариман? Кто такой Ариман?

Ариман, объяснила Аля, злой дух, не сам по себе злой,

но обреченный на эту роль, которая ему самому ненавистна: зло ненавидит само себя. Но зло — мост к добру.

Лу ухмыльнулся:

— Я — зло, я — мост к добру. Все черные — мост к добру.

Аля сказала, нет белых, нет черных: черные воплощаются в белых, белые — в черных. В предыдущем своем воплощении Лу, возможно, был белым, держал черных рабов.

— Шутишь! — сказал Лу. — От белых рождаются белые, от черных рождаются черные. Смотри, — Лу отвел нижнюю губу к подбородку, — мои губы. Видишь? А это, — Лу вынул зеркальце, поднес Але к лицу, — твои. Видишь?

Аля сказала: губы, нос, кожа, волосы — эфирное тело. Каждый человек — эфирное тело. Астральное тело — сознание, дух — в загоне. Задача человека — освободить астральное тело.

Лу покачал головой: люди не могут быть одинаковые. Все люди — разные. Аля и Лу, Джонни и Сони — все разные.

Аля повернула Лу лицом к себе, положила руки на плечи, люди проходили мимо, озирались, Лу сказал:

— Видишь, все оглядываются: черные, белые — все оглядываются. Почему оглядываются? Объяснить?

Аля села Лу на колени, вынула изо рта у Лу скрутку, затынулась, глаза были совсем сонные, вдоль нижних век две белые, как у слепых, полосы, Лу взял Алю на руки, пошел к воде, Аля спросила: „Хочешь утопить?“ — крепко обняла за шею и засмеялась: „Утопи!“

Миновали аквариум, начинался Брайтон-Бич, Аля сказала, стоп, дальше она пойдет сама. Лу не останавливался. Аля стала дергать ногами:

— Стоп! Я сказала: стоп!

Лу поставил на ноги, усмехнулся:

— Своя зона. Не хочешь, чтобы видели: черный несет белое астральное тело.

— Лу, — сказала Аля, — ты глупый, ты очень глупый. Нет, — замахала руками Аля, — не слушай: это я глупая. А ты умный, ты честный, ты хороший. Ты самый хороший. Ты лучше всех на свете. Лу, отведи меня домой. Ты знаешь, где мой дом? Отведи меня домой.

Расположились в гостиной, на Севиной половине, выкурили скрутку, Аля спросила:

— Лу, ты умеешь слушать тишину? Слышишь, тишина.

Цокали электрические часы, Аля прислушивалась, вдруг засмеялась, стала цокать вслед.

— Вот, — сказала Аля, — время пошло вдвое быстрее. Это я придумала в детстве. За стеной, у соседей, тикали ходики. Когда мне было грустно, время тянулось медленно, я ускоряла время: тик-так, тик-так, тик-так! И грусть проходила. Лу, ты хочешь посмотреть, какая я? Раздень меня.

Разложили диван, Аля принесла подушки, простыню, Лу стал расстегивать рубашку, Аля сказала, нет, велела сидеть в кресле, сама улеглась, Лу сначала сидел молча, смотрел, потом вдруг вскочил, затеял танец на месте, было впечатление, что робот, руки-ноги на шарнирах, и запел:

Домино, домино!

Как люблю я играть в домино!

Как люблю я играть в домино:

О, домино! У, домино!

Аля сказала:

— Лу, ты Аполлон. Черный Аполлон. Иди ко мне!

Аля протянула руки, Лу сел на диван, сказал Але:

— Раздень меня!

Аля опустила руки, смотрела, в глазах было удивление, Лу, кистью, в отмашку, ударил по щеке:

— Раздень!

— Ах! — Аля вскрикнула, схватилась за щеку.

— Раздень! — повторил Лу, ударил опять, в этот раз ладонью.

Аля стала раздевать — туфли, носки, брюки, гусы, рубашку — раздевая, смотрела Лу в глаза, улыбалась, по щеке, по левой, текла слеза, Лу вытер пальцем, спросил, где ванная, принес из ванной лосьон, расположился перед зеркалом, стал умашаться, потом передал склянку Але, лег на диван и сказал:

— Натри.

Аля натерла грудь, живот, остановилась, Лу показал пальцем, натри здесь — здесь! — Аля натерла, как велел Лу, он сказал, хватит, ляжем, включил телевизор, закурил сигарету, передал Але, повернулся вполоборота, положил Але на живот, поперек, руку, Аля смотрела в недоумении: она разрезана пополам, черное, по форме человеческая рука, рассекло ее пополам, но ей не больно, наоборот, приятно, что рассечена. Потом недоумение прошло, Аля поняла: так и должно быть — то, что казалось половинами, в действительности не половины, а два отдельных тела, каждое со своей, отдельной, жизнью, случайно приставленные одно к другому. Верхнее тело, где глаза, уши, рот, нос, похожи на Алю, но не Аля, Аля где-то в стороне, над головой, над теменем этой, будто бы похожей на нее, половины.

Нижняя половина — таз, пах, бедра, ноги — были неизвестно чьи, ноги отделялись, Аля видела их плывущими в пространстве, тыкающимися, как тычутся палкой, шестом, щупом слепые во все, что попадает на пути. Руки, отделясь от верхней половины, тоже парили в воздухе, пальцы шевелились, как щупальцы, окруженные серебристым свечением, какое бывает в морской воде.

Ярко светило солнце. Одесское летнее солнце. Аля и Саша лежали на берегу Большого Фонтана. Саша рассказывал: Лидро в трактате о Даламбере рассматривает интересный феномен — утраты человеком пространственного представления

о своем теле. У человека возникает ощущение, что части его тела независимы, ведут самостоятельную жизнь. Это отголосок того времени, которое предшествовало добровольному договору, когда органы согласились подчиниться одному центру, мозгу, и координировать свои действия. Иногда, хотя дело давнее, прошли миллионы лет, в тоске о своей былой независимости органы начинают бунтовать и норовят вернуться к прошлому. С точки зрения современной биологии, смеялся Саша, это полный вздор, ересь. Но сам по себе феномен диссоциации пространственного самовосприятия человека дает повод ко всяким фантастическим бредням о человеческом теле как конгломерате автономных органов и частей.

Саша положил Але руку на грудь, рука очень загорела, Аля хотела сбросить руку, но Саша прижал с силой, стало трудно дышать, едва хватило воздуха, чтобы ответить:

– Саша, ну почему бредни: свою руку, ногу, грудь я могу укачивать, баюкать, как будто они мои дети.

Саша прижался, засопел, от него пошел странный, незнакомый запах, Аля сказала, пусть отодвинется, запах чужой, неприятный, Саша, наоборот, еще крепче прижался, Аля рассердилась и оттолкнула:

– Ну зачем, зачем это: ты же все равно не можешь!

Саша – от гнева, от злости – весь почернел, как будто вымазали лиманской грязью, ударил Алю, Аля ударила в ответ, оба схватились, упали на пол, Аля закричала:

– Саша, ты же говорил, что любишь! Папа, – закричала Аля. – папа!

Папа протянул руки, грудь уперлась в решетку, глаза были белые, безумные:

– Дочка, – кричал папа, – дитя мое, доченька!

Светало. Аля проснулась, оделась, Лу лежал на полу, на

белой простыне черный, как будто из куска черного, эбенового дерева, Аля смотрела, не могла понять:

— Лу, почему ты здесь?

Лу спросил в ответ:

— А ты почему здесь?

Аля нахмурилась:

— Я у себя дома. Это мой дом.

Лу сказал:

— Это не твой дом.

Аля осмотрелась, в глазах была растерянность:

— Это не мой дом. Там, — Аля указала пальцем на дверь, — мой дом. А Саша где? Ушел?

Лу покачал головой: Саша не ушел, Саша, Лу указал пальцем на дверь, там.

— Лу, — спросила Аля, — когда ты пришел? Как ты вошел?

Лу покрутил пальцем у виска.

— Уходи, — сказала Аля, — ты не добрый, ты — злой. У тебя злое лицо. Уходи.

Лу натянул штаны, рубашку, помахал рукой: передай привет Севе и Мари-Луиз!

У дверей Лу остановился, повернулся к Але, было впечатление, чего-то ждет, Аля сказала:

— Ты злой. У тебя злое лицо. Уходи.

Аля приняла душ, вылила на себя полфлакона шампуня, растерлась мочалкой, тело покраснело, как будто весь день жарились на солнце.

Саша спал. Аля хлопнула дверью, чтобы Саша услышал: она пришла. Саша не услышал, Аля взяла из шкафа одеяло, прилегла рядом, Саша, со сна, протянул руку, Аля придвинулась ближе, чтобы мог обнять, Саша стал притягивать Алю к себе, и так спали, пока не зазвонил будильник.

Саша встал, приготовил завтрак себе и Але, сказал, он виноват: ждал своего Аленка — и заснул. Позор.

— Саша, — сказала Аля. — Если человеку кажется, что было, и в то же время, что не было, как различить, было или не было?

— По народному рецепту: быль—небыль, былица—небылица. Вот быль, — схватился вдруг Саша, — готовь хрюшку, будем копить гульденy: русская газета взяла мою статью о медицине в СССР! Умоляли: пишите еще, сколько напишите, столько напечатаем.

— Колоссально! — обрадовалась Аля.

Саша вскочил, зашел сзади, обнял, как медведь лапами, как будто на радостях готов задушить:

-- Аленок, живем!

С курсов Саша воротился за полночь, вдрызг пьяный. Вынул свой фарфоровый глаз, бросил в стакан с водой, хотел выплеснуть в раковину, счастье, Аля успела перехватить, завыл дурным голосом:

У Петра Великого

Ближних нету никого —

Только лошадь да змея,

Вот и вся его семья.

Аля раздела, уложила в постель, массировала грудь, живот — Саша хихикал: щекотно! — ласкала, бормоча, как будто баюкает:

— Родной мой! Самый чистый, самый дорогой, самый любимый.

XVIII

Альбина спросила:

— Если человеку кажется, что было, и в то же время, что не было, как различить, было или не было?

— По рецепту сказки, — кивнул Макс, — быль-небыль. Или встать перед зеркалом, смотреть себе в глаза, пока не захочется отвести или сплюнуть.

Альбина пожалла плечами: а где гарантия, что захочется?

Макс засмеялся: кто ищет гарантий, тому не захочется.

Альбина расстегнула у Макса куртку, рубаху, прижалась грудью:

— Аля все выдумала. Ничего не было. Целуй меня. Будем целоваться в каждой подворотне.

Макс пожал плечами: какие подворотни — это Нью-Йорк. Нью-Йорк — не Москва, не Одесса: какие подворотни!

— Хочу в Одессу! — Альбина зажмурила глаза. — Хочу целоваться в подворотне.

Макс обнял Альбину, прижал к ограде — проволочная сетка, за сеткой ряды машин, брошенных хозяевами, непонятно, то ли на ночь, то ли навсегда — Альбина сказала:

— Закрой глаза. Нас двое. Делай, что хочешь. Нас двое.

Возвращались с работы, из лаборатории цитоплазмы. Альбины руки пахли лизолом. Макс поднес к губам, пробормотал: „Знамение века — лаборантка совращает своего шефа”.

По Восьмой авеню шли в Нижний Манхэттен, в Гринич-Виллидж. Справа, когда пересекали широкую улицу, открывались огни Нью-Джерси: пологий берег Гудзона, с террасами в несколько ярусов, обозначенных в ночи желтыми, зелеными, красными полосами и кругами, среди которых, вкраплениями, разбросаны белые огни.

Альбина остановилась, спиной прижалась к Макс, повела рукой в сторону Нью-Джерси:

— Чужой берег, неведомая страна, неведомые люди... В басурманском дальнем синем море бригантина поднимает паруса...

Подошел бродяга, еще до того, как подошел, протянул

руку, объяснил, дома больная жена, дети, нечего есть, он мог бы выйти с ножом, зарезать, но резать, убивать — противно его натуре, он порядочный человек и хочет жить честно, как живут все порядочные люди.

— Один доллар! — бродяга раскрыл ладонь, белые пальцы дрожали и дергались.

Макс положил на ладонь четвертак, бродяга стал сжимать пальцы, но пальцы не сжимались:

— Один доллар! — повторил бродяга.

Макс махнул рукой, пусть уходит, бродяга не уходил, повторил насчет больной жены, детей, нечего есть, умирают с голоду, мог бы взять нож и пойти резать, но чувство порядочности не позволяет. Бродяга повернул ладонь, сбросил монету наземь и сказал:

— Один доллар!

Макс внимательно смотрел, глаза были холодные, бродяга стоял неподвижно, как будто прирос ногами к земле, Альбина засмеялась:

— Вы уверены, что мы должны вам доллар?

— Один доллар! — сказал бродяга.

Макс взял Альбину за руку, потянул с силой, Альбина уперлась, вырвала руку — надо дать человеку еще семьдесят пять центов! — вынула из сумочки, положила бродяге на ладонь три квотера, он снова, как заведенный, повторил свое:

— Один доллар!

Носком туфли Макс указал на монету, которую бродяга сбросил наземь, тот, глядя Макс в глаза, велел поднять и подать. Альбина наклонилась, Макс едва успел одернуть, выругался матерными словами, бродяга, неуловимо быстрым движением, сунул руку в карман, тут же выхватил, направил на Макса, блеснуло на свету лезвие, Макс обеими руками, связав пальцы в один кулак, ударил бродягу поперек кости,

ниже локтя, с тротуара на мостовую покатился звонкий drobный звук, бродяга прижал руку к губам, завыл, Макс заслонил Альбину, завел кулак для нового удара, Альбина, из-за спины, закричала:

— Макс, ложка! Столовая ложка!

На мостовой валялась ложка, лоток блестел под фонарем, как детская формочка для песка, бродяга плакал, вздрагивали плечи, Макс сказал Альбине, пошли, она оттолкнула Макса, вынула из сумочки пять долларов, протянула бродяге:

— Возьмите.

Бродяга поднял голову, глаза были печальные, с устоявшимся страданием, как будто гнетет привычная, давняя боль, и произнес прежним, вроде ничего не произошло, механическим голосом:

— Один доллар!

— Макс, — Альбина зажмурила глаза, голос сделался сиплый, — он безумный! Он — блажной!

Макс приказал Альбине, пусть прекратит юродствовать: это — Нью-Йорк, Нью-Йорк есть Нью-Йорк.

— Макс, — сказала Альбина, — мы не люди. Ненависть ослепила нас: мы — звери.

Бродяга стоял с протянутой рукой, пальцы дрожали и дергались, Альбина подняла монету, положила на ладонь, бродяга сжал пальцы, движение было быстрое, резкое, как будто рука робота, повернулся, вроде насажен на ось, на одной ноге и зашагал прочь.

Альбина смотрела вслед, руки свисали немощно, как плети, было впечатление, что лишилась сил, не может двинуться с места.

— Слушай, — сказал Макс, — мы не в театре. Это — Нью-Йорк, Восьмая авеню, полночь.

— Грех, — бормотала Альбина, — на тебе, на мне — грех:

ты ударил, я — соучастница. Он безумен. Макс, ты ударил безумного. Ты бил сумасшедшего.

Макс сказал, он не бил, он один раз ударил, не безумного, не сумасшедшего, а нью-йоркского бама, профессионального вымогателя, который вполне мог обернуться бандитом.

— Он безумен — я видела, — продолжала свое Альбина, — видела — и не остановила. Мы не люди, мы — звери: ненависть ослепила нас!

До Гринич-Виллиджа шли молча. Альбина то забегала вперед, то отставала, Макс тут же ускорял или замедлял шаг, чтобы двигаться вровень. Всякий раз, ускоряя или замедляя шаг, Макс чувствовал тревогу, как будто надвигается опасность, надо немедленно принять меры, чтобы предупредить. Внезапно, со скрипом, какой бывает от высушенной шкуры, от кожи, проносилась над головой птица, распластав перепончатые крылья, Макс невольно подымал глаза, корил себя за нелепые страхи, но вслед за этим — слева, справа, сзади — опять появлялись птицы, с перепончатыми, как у летучих мышей, крыльями, звероящеры, оплетенные побегами папоротника, Макс видел их с поразительной явственностью, как будто оживали экспонаты из музея естественной истории, хотелось броситься к Альбине, оградить ее, оберечь, вроде опасность была подлинная, реальная, но Альбина, вдруг забежав вперед, ускользала от Макса, бросаясь навстречу чудовищам, со скрипучими их крыльями и когтями на перепончатых сочленениях.

На Бликкер-стрит, у витрины антикварного магазина, Альбина внезапно остановилась, глаза сделались огромные, два круглых, два черных, как тоннель, хода в черноту, простирающуюся во все, без предела, без привычной линии горизонта, стороны.

— Вот, — Альбина ткнула пальцем в стекло. — Они! Летали у нас над головой, скрипели своими кожаными крыльями, запускали когти в волосы. Смотри!

Погрузив пальцы в волосы, Альбина отделяла прядь от пряди, пальцы дрожали, дергались судорожно, вроде запутались и не могут выбраться.

— Они, — повторила Альбина, указывая на витрину. — Летают зигзагами. Ломаная линия. Траектория из обломков прямой. Пространство без кривизны. Кривых линий нет — одни обломки прямой. Какой прямой? куда? откуда?

Витрина, вроде подворья керамической мастерской, где глиняные истуканы по мере изготовления выставляются один к другому, так что стороннему глазу представляются случайным нагромождением, хаосом, была заполнена химерами. С козлиными ногами, с копытцами, с островерхими коническими ушами, с перепончатыми крыльями, с мерзопакостной, глумливой усмешкой, едва намеченной приподнятыми уголками похабного рта, извергающего хулу, не грубую, площадную, а под покровом соблазнительных слов, чтоб на виду хулы не было, а был один, как в сновидениях, чистый соблазн, и ко всему — скорбная, согбенная поза, как будто время невидимыми пластами ложится и давит, еще мгновение — раздавит. Но так уже века, тысячелетия, никак не раздавит, сохраняется лишь угроза, и снова расправляют крылья, летают зигзагами, по траектории, составленной из обломков прямой, которая как напоминание человеку о совершенстве, о прямизне, какая в луче Солнца, в луче Месяца и звезд — световой ткани, из которой, как давно уже догадались люди, составлена ангельская плоть, ангельское тело, если уместно употреблять в отношении духовных сущностей вещественные, из привычного материального обихода, понятия тело, плоть.

Альбина тыкала пальцем в стекло, метила короткими

щелчками: вот, ее совесть, совесть Макса, совесть нью-йоркского бродяги, который, как улитка, забирается, ввинчивается спиралью, в свою раковину — в безумие.

— Химеры! — Альбина топнула, повернулась, вроде насажена на ось, на одной ноге. — Корчи совести! Вранье! Бред! Целуй меня! — Альбина схватила Макса за голову, стала целовать сама. — Хочу танцевать. Идем: хочу танцевать!

По каменным ступеням спустились в подвал, ресторан „Масличное дерево”, который держали израильтяне. За столиками сидели по четыре, по шесть, по восемь, впритык один к другому, наклонясь, подперев головы руками, по-рыбьи вода влево-вправо глаза, у женщин с резкими, как принято на востоке, тенями по верхнему и нижнему веку, с длинными, вроде накладные, ресницами, с останавливающимся вдруг насмешливым, ожидающим взглядом, который тут же сменялся полнейшим равнодушием и отчуждением.

Альбина заказала фалафел, велела положить побольше луку, поперек не резать, кольцами, хрустела и чавкала так, что люди оглядывались, за соседним столиком ребята улыбались, подмигивали и громко объясняли, что в последний раз так ели три тысячи лет назад, когда были пастухами, когда умели еще есть, знали толк в простой, натуральной еде и не было нужды остерегаться чужих глаз, чужого языка, которые могли бы осудить.

Макс подал Альбине бумажную салфетку, она тут же скомкала, бросила на стол, вытерла губы ладонями, крикнула, забросила в рот кольцо лука, запила глотком вина, сказала Макс, ничего вкуснее в своей жизни не ела, отодвинула, в один толчок, задом, стул, и вышла на середину зала, на деревянный настил перед оркестром, где парни со своими девочками изгибались, корчились, вода друг перед другом бедрами.

Альбина была в сапогах, высокий тонкий каблук-шпилька, прямая юбка, прямая блузка, все в одну линию, все черное, завела руку над головой, щелкнула пальцами, как будто подает оркестру команду, ударник выбил дробь, сбросив в кучу, в хлам недоигранный рок, трубач вытянул пронзительный, из песчаной, из каменной пустыни, звук, напрягши, как лук, линию горизонта, с тетивой, упершейся углом, по стреле, в голубое небо, в зенит, где вершина гигантского шатра, Альбина, оттолкнувшись обеими ногами, ухватила за вершину, закрутив, завертев над землей свое тело, и так, продержавшись до следующего звука в воздухе, опустилась, оставив за собою в небе бесшумную гряду пылающих осколков метеорита, внезапно отдавшихся, при ударе о землю, раскатистым, дробным, вроде каменные осколки стучат по каменным уступам, удаляющимся рокотом.

Танцоры на площадке расступились, выделявая свои па по краю деревянного настила, за которым начинались ряды столов. Здесь проходила граница. Граница, как все в мире границы, была неприкосновенна, за пределами границы располагались зрители и наблюдатели, у которых был свой интерес, враждебный интересу танцоров, ибо те, приблизясь вплотную к границе, норовили ступить на чужую землю, этой земли, чужой, им не хватало, чтобы чувствовать себя нестесненными, чувствовать себя свободно, вольготно, как чувствует себя человек в поле, в степи, когда один, всему вокруг и самому себе, полный хозяин.

Альбина держалась в центре, мелкими шажками, пунктиром, намечая круги, переходившие, по спирали, один в другой; спираль раскручивалась, унося Альбину все дальше от центра, все ближе к краю, где начиналась граница, чужая земля.

По прежнему настроению, можно было ожидать, хозяева воспротивятся, дадут отпор чужаку, посягающему на их землю.

Альбина, приспустив веки, скашивала взгляд влево, вправо, никто не противился, напротив, в глазах у людей было ожидание, был призыв войти в их землю, расположиться на ней и быть, как они, хозяева этой земли, у себя дома.

Кружась на меже, отделявшей свою землю от не-своей, Альбина выносила корпус в чужое пространство, хозяева, подчинясь внезапному порыву, подавались навстречу, но тут же, опасаясь спугнуть странницу неумеренной страстью, отступали от межи, от границы, вглубь своей земли, и оттуда приветливо махали руками и звали: войди!

Высоко подняв правую ногу, Альбина выпрямляла ее над чужой землей, мужчины, чтобы в тот миг, когда женщина ступит на их землю, встать с ней рядом, рванулись вперед, грудью, как будто кони в одной упряжке, над которыми закрутил свой бич колесничий, но Альбина, закружась на месте, направила поднятую ногу к тем, что махали ей и звали, войди, и сама делала им знак рукой, иду, и шептала губами, иду, но на самом деле двигалась уже назад, к центру, и тут, в изнеможении, опустилась на землю, накрыв голову руками.

Парень за соседним столиком сказал:

— Вот так нас и брали самаритянки. И эдомитянки, и эламитянки, и моавитянки, и хеттеянки, и все другие брали. И получился великий гибрид: вечный жид, бродяга Агасфер, и космическая женщина, праматерь ее, Рахиль, снаряжаясь в дорогу с мужем, украдала идолов из дома отца, арамеянина, и прятала под верблюжьим седлом от обоих — от отца и от мужа.

Макс допивал вино из Альбининого стакана, тело наполнялось чужими соками, настоящими на ночных травах в охряных, с поясами черной глазури, глиняных кувшинах, скрипел журавль вадуфа, поднимая ведро к следующему, уровнем выше, желобу, блеяли овцы, звенели колокольчики верблюдов, пастухи хриплыми гортанными голосами, натруженными

в кочевьях песчаных, с бурыми песками, пустынь, окликали на одной ноте людей и скот.

Домой воротились на рассвете. Звезды теряли яркость, меркли, невидимая в вышине рука поворачивала реостат, наполняя небо ровным молочным светом.

Макс говорил Альбине:

— Где ты?

Альбина отвечала:

— Вот я.

— Обернись ко мне, — говорил Макс, — хочу видеть тебя.

Альбина отвечала:

— Вот я, обернулась к тебе. Смотри.

Розовое, алое, палевое, едва заметно, как в замедленной до предела киносъемке, шевелится, колышится, всходит и опускается, обтекая тело Макса, огражденное двумя отвесными волнами, щупая упругими, шелковистыми, как у молочных телят, губами, с робким нажимом, какой дает о себе знать прикосновением, вызывающим едва заметную вмятину на теле, метку прикосновения, тут же исчезающую.

Палевое, розовое, алое поворачивало Макса с боку на бок, поглощало, запирало в раковину, с жемчужными краями, с густой бахромой, свисающей, как ресницы, со створок, раковина, раскрывшись, оснащалась мачтой, непомерно длинной, торцом упиравшейся в палевое, в алое небо, под которым, у основания мачты, как крылья гигантской бабочки, трепетали два лиловых, формой круга, паруса.

Внезапно, непонятно откуда налетая, прохватывала Макса тревога, какая бывает у человека, когда вдруг, без видимой причины, без предварительного знака, повышается температура, гонец болезни, ее вестовой, за которым следует, по пятам, сама болезнь, у Макса возникало ощущение, он схвачен,

пойман, заточен в чрево, он Иона, он во чреве кита, ввергнут в глубину, в сердце моря, потоки окружили его, все воды и волны проходят над ним, бездна объяла его, голова обвита морской травой.

Внезапно налетев, так же внезапно тревога отступала, клубился розовый, с синевой по краям, туман, в тумане, подталкиваемый невидимыми струями, плыл крошечный, формой человеческого эмбриона, ковчег, обернутый, запеленутый в тростниковые листья, швы между листьями залеплены воском, в ковчеге было тепло, уютно, мягкие влажные стенки всходили и оседали, как живое тело, у Макса было ощущение, он ударяется головой, плечом, коленями в эти стенки, как будто ищет выхода, не может найти, но точно знает, выход есть, узкий канал, соединяющий лагуну с морем, с океаном, к горлу подступал щемящий, сладостный ком — вот-вот, где-то совсем рядом, откроется выход — нетерпение росло, с удвоенной, с утроенной частотой ударялся Макс о стенки, удары поглощались мягкими тканями, чем ближе к месту, где лагуна соединялась с открытым морем, тем полнее, как будто человек и мягкие ткани, принимающие на себя его удары, составляют одно целое и разъединены только в той мере, какая необходима для движения, внезапно, на перепаде от поступательного к попятному, движение прекращалось, Макс чувствовал, его нет, он растворен, он слился, хотелось, чтобы так навсегда, но тут же, вроде никакого желания, никакой иной воли не было, движение возобновлялось, выбравшись из лагуны, ковчег судорожно скользил по каналу, в открытый океан, над головой, в предутреннем синем небе, загоралась звезда, стремительно разбухая, звезда обращалась в диск, в шар, с нестерпимо ярким, ослепительным, как будто поднесли солнце к глазу, блеском, и вмиг, когда казалось, гибель человека неминуема, сотрясаши взрывом пространство, звезда

разлеталась на тысячи, на миллионы осколков, полосуюя небо длинными дымными хвостами.

Макс обнимал Альбину, радостно, как после долгого забега, еще не вполне отдышавшись, бормотал в ухо:

— Ты жива? Жива!

— Сойди, — сказала Альбина, — ты тяжелый, как три Макса.

— Небесная механика, — смеялся Макс, — произведение массы на скорость. Панглосс дает уроки служанке.

— Я не служанка, — Альбина погрозила пальцем. — Я послушница. Скажи: наставник любит послушницу? Скажи, как любит.

Макс покачал головой: сказать нельзя.

— Почему нельзя? — нахмурилась Альбина. — Любовь прохудилась али словарь оскудел?

Любовь, сказал Макс, сторонится богатого словаря, любовь косноязычна.

— Мой наставник — демагог, — Альбина повернула голову, внимательно смотрела в глаза. — Хочу слышать слова любви. Любовь делает косноязычие красноречивым. Говори.

Макс молчал.

— Говори, — повторила Альбина.

— Будем слушать тишину, — Макс закрыл глаза. — Лу, ты умеешь слушать тишину? Слышишь, тишина.

Альбина отодвинулась, отбросила угол одеяла, проложила между собой и Максом.

— Будем слушать тишину, — повторил Макс. — Слышишь, тишина.

— Прекрати, — сказала Альбина.

— Лу, — сказал Макс, — не имя, Лу — кличка. Аля знала имя этого аптекаря с мостовой?

— Ты палач, — кивнула Альбина. — Люсьен. Его звали Люсьен.

Макс спросил:

— Что было у них, у Али с Люсьеном?

Ничего не было, сказала Альбина. Али больше нет: ничего не было.

— И тебя не было, — сказала Альбина. — Где ты был? Ты пришел к Але, сказал: „Вот я, Аля”? Не было тебя, не пришел. Ты — тень, отброшенная в прошлое. Фикция.

Макс ткнул пальцем в средостение:

— Вот, болит. Теням не больно.

Щелкнули часы. Слышишь, сказал Макс, настоящее стало прошлым. Опять щелкнули часы. Слышишь, сказал Макс, будущее стало прошлым.

— Вот, — Макс ткнул пальцем в средостение, — болит. Мне больно, следовательно, я существую. Существую во всяком времени, где мне больно.

Альбина повернулась, обхватила голову Макса, прижала к себе:

— Тебе не больно! Смотри: я — Альбина. Времени нет: время — фикция, выдумка мазохистов.

Глаза у Альбины, поначалу цвета жухлого листа каштана, сделались совсем желтые, как будто из кристалликов песка, из пустыни, оставленной людьми тысячелетия назад под присмотр сфинксов, окамневших от давности сторожей, с такими же, из желтого песка, глазами.

ХІХ

Сашу приняли в резидентуру. Аля объясняла Саше: это огромная удача, надо плясать и радоваться. Да, отвечал Саша, огромная удача, плясать и радоваться.

Первое дежурство было у Саши полуторасуточное: две ночи и день. Обещал позвонить из госпиталя, пожелать спокойной ночи, но не позвонил.

Аля до полночи ждала у телефона. Так, у телефона, и заснула. Всю ночь напролет, как будто крутили одну ленту, повторялся сон про какую-то девочку: едва оттолкнувшись от земли, девочка перелетала через водоемы — через пруды, через озера — с одного берега на другой, нигде не могла остановиться, сначала было приятно, все время в полете, потом, понемногу, стала забирать тревога, а вдруг так навсегда, на всю жизнь, навечно, без остановки. Аля хотела рассмотреть девочку, заглядывала ей в лицо, но девочка всякий раз увертывалась, и Алю вдруг охватил ужас: у девочки нет лица! Как только Аля поняла, что у девочки нет лица, она увидела синюю, вроде вырезали из предрассветного неба, маску, вместо глаз два зиявших черных отверстия, но отверстия — Аля отчетливо видела — наблюдали за ней, как будто глаза, не человеческие, а какого-то существа, у которого синее, синьковое, лицо-маска, вырезанное из предрассветного неба.

Саша позвонил утром, голос был бодрый, ночь, сообщил Саша, выдалась трудная, но это была ночь доктора — первая ночь доктора Александра Зонтага в Америке.

Аля ждала, Саша спросит, как прошла у нее ночь, но Саша не спрашивал. Аля сама рассказала про свой сон, про девочку с синим, как будто вырезали из куска неба, лицом, про полет, который никак нельзя было прекратить, Саша засмеялся, сон на актуальную тему, женщина в космосе, в трубке вдруг громко, торопливо запищало, Саша объяснил, это бипер, срочно зовут к больному, сказал, вечером позвонит опять, пусть Аля ждет. Аля хотела сказать еще два слова, хотела спросить у Саши, любит ли ее, но не успела: Саша повесил трубку.

Полдня Аля провела у старика еврея, перемыла посуду, приготовила обед, подмела. Старик рассказывал про свою старуху, которая за всю жизнь палец о палец не ударила и все равно была недовольна. Аля сказала, может, потому и была недовольна, что палец о палец не ударила.

Старик развел руками: кто знает, может быть. И спросил: а она, Аля, довольна? Аля задумалась.

Довольна, старик кивнул головой, довольна: по глазам видно. Когда женщина довольна, это сразу видно.

У евреев, у кабалистов, сказал старик, есть история про Адама и Еву, как они прилетели на Землю с далекой планеты, а по дороге миновали шесть других планет. Кем они были, когда летели с одной звезды на другую? Людьми? Старик покачал головой: они не могли быть людьми, из мяса и костей, как мы, потому что это неподходящий материал для межпланетных вояжеров. Спрашивается: чем же они были? Они были, сказал старик, идеей, мыслью Ягве, который велел им пуститься в это путешествие и сделать остановку на Земле. А из какого материала они были сделаны? Пока они летели, в небе, материал мог быть только один: тот самый, из которого сделано небо.

Аля вздрогнула, пробежал озноб.

— Фейгеле, — засмеялся старик, — птичка! Я плохо представляю себе, как из такого материала мог выглядеть Адам. Но я хорошо вижу, как выглядела эта космическая вояжерка, Ева. Она выглядела, как ты. И по глазам, как у тебя, было видно, что она тоже давно-давно, уже много тысяч лет, в дороге. И когда, со своим Адамом, она приземлилась в Эдемском саду и встретилась со змеем, я даю гарантию, это был уже не первый змей в ее жизни. И она хорошо знала, с кем имеет дело. Поверьте мне, — старик зажмурил глаза, — эта дама хорошо знала, с кем имеет дело. И Элохим, Хозяин мира, когда

устроил ей встречу со змеем, знал наперед, что из этого выйдет, и хотел еще раз получить удовольствие, потому что какой мог быть расчет на этого растяпу, на этого простака Адама, а Ева была настоящий партнер, Ева понимала: Хозяин не любит равновесия, не любит баланса — Хозяин любит поиск, риск.

Саша сдержал слово, позвонил вечером, сразу предупредил, что ни единой свободной минуты, труба зовет, Аля просила задержаться на полминуты, хотела рассказать про своего старика, Саша буркнул, потом-потом, чмокнул в микрофон и повесил трубку.

Аля смотрела на телефон, ждала, вот-вот зазвонит опять, сама себе объяснила, это нелепо, Саша вторые сутки на ногах, ни сил, ни времени, а она навязывается со всякими глупостями.

Аля взяла трубку, хотела позвонить Севе, вспомнила Крым, ночь на горе, кость любимого осла царя Митридата — немножко отлегло. Но за этим пошли другие мысли, другие картины, было неприятное чувство, не хотелось думать, Аля сказала себе, нет, к Севе, к Мари-Луиз она не пойдет, вообще к ним больше ходить не будет.

Садилось солнце. Аля стояла у окна, смотрела на океан, на миг показалось, она совсем одна, среди океана, никого вокруг, брошенная, ненужная, стало страшно, сжалось, защемило сердце, как будто схватили ледяными щипцами, Аля заплакала, обняла себя — руки на груди, крест-накрест, ладони на плечах -- сделалось совсем горько, приткнулась лбом к стеклу, захотелось вышибить, выпрыгнуть, утонуть в океане, все останется как было, голько ее, Али, не будет и ее одиночества, ее боли не будет.

Выплакавшись, Аля немного успокоилась, стала объяснять себе, уговаривать, громко, как будто не себя, как будто другого, стороннего, что не следует предаваться отчаянию, все

будет хорошо, Саша ее любит, но сейчас, пока не освоится на новом месте, ему не до нее, а она, наоборот, должна, особенно в эти дни, показать Саше, что любит его еще больше, еще сильнее.

Аля решила, надо купить к Сашиному приходу цветы. Цветов должно быть много, чтобы Саша удивился, чтобы понял, как Аля ждала его и специально готовилась.

На Брайтон-Биче цветочного магазина не было, иногда продавали цветы с лотка, с земли, но выбор скудный. Аля решила поехать в Манхэттен, Гринич-Виллидж, там всегда большой выбор.

Можно было ехать в джинсах и куртке, как была одета весь день, но Аля подумала, поездка за цветами — это уже начало праздника, нельзя в джинсах и куртке, надо одеться, как на праздник.

Аля надела черную шелковую юбку, подол до щиколоток, белую блузку с кружевным воротником и кружевными рукавами, поверх тонкая золотая цепочка с парусом на шитке слоновой кости, насчет обуви не могла решить сразу — то ли сапоги на высоком каблуке, то ли туфли — выбрала туфли, тоже на высоком каблуке, с перепонкой. Осмотрела себя в зеркале, подняла ногу, согнула в колене, поболтала перед зеркалом, выпрямила, как будто подает и ждет, чтобы сняли туфлю с ноги, засмеялась, сказала вслух, Сашин голос и Сашины слова:

— Хороша Аленушка!

В поезде смотрели на Алю, делали вид, что случайно, но было видно, не случайно, получают удовольствие и не могут устоять, всю дорогу, до Четвертой Вест, поворачивали голову в Алину сторону и невольно улыбались.

В сквере Вашингтона, напротив университетской библиотеки, Аля купила травки, закурила. У памятника Гарибальди

старик продавал цветы — гвоздику, ромашку, георгины — осталось одно ведро, рядом, горкой, стояли порожние, Аля сказала, берет ведро, старик обрадовался, отдал за полцены, Аля взяла букет в охапку, пошла на Бликкер-стрит, в кафе „Фигаро“, выпить кофе.

На перекрестке, когда пересекала улицу, цветы рассыпались. Аля стала собирать, мужчина — тоже пересекал улицу, рядом с Алей — бросился помогать, сказал, нужен пакет, он сходит в магазин, попросит, Аля не успела ответить ни да, ни нет, он тут же воротился с пакетом, сам аккуратно уложил цветы и подал Але.

Сели за один столик. Мужчина представился: Фрэнк О’Брайен. Высокий, блондин, серые глаза, нос немного крючком, пшеничные усы.

Мистер О’Брайен сказал: прекрасный букет. Цветоводство — его хобби, любимый цветок — черный тюльпан. Аля удивилась: черный тюльпан? Она не видела, она только читала, что в Голландии выращивают черные тюльпаны. О, воскликнул О’Брайен, не надо ехать в Голландию: у него в оранжерее Аля может не только увидеть — Аля может добавить, сколько надо, к своему букету.

Аля сказала, спасибо, не сегодня, как-нибудь в другой раз. О’Брайен кивнул: в другой раз. А сейчас — по одному глотку за цветы. О’Брайен заказал для Али амаретто, для себя — бурбон.

По акценту, сказал мистер О’Брайен, он угадывает: Аля из России.

— Да, — подтвердила Аля, — из России, мистер О’Брайен.

— Я — Фрэнк, — сказал О’Брайен.

Аля допила свой амаретто, позвала официанта, заказала еще. Фрэнк покачал головой: это не похоже на русских, это,

скорее, по-немецки — гамбургский счет. Наверное, Алины предки из Германии?

— Фрэнк, — сказала Аля, — я еврейка.

Фрэнк пожал плечами: евреи жили в Германии, когда еще не было немцев. Юлий Цезарь застал евреев в Кельне. Не было христиан, не было церквей, но были евреи, была синагога. Фрэнк сказал: он лично думает, евреи — космические пришельцы. Моисей — очень странная, загадочная фигура. На горе Синай Моисей видел в спину удаляющегося, как может удаляться живое существо, бога. И разговаривал с этим богом. Но почему именно он, Моисей, был удостоен разговора? Не потому ли, что сам приходился родичем этому пришельцу из сфер, в ком признал бога?

Аля сказала: Моисей — личность эзотерическая. Он открыл людям, которые были с ним в пустыне: нигде не ищите Бога — ни в небе, ни в море, ни на земле, ни под землей — Бог везде. Везде — это человеческая душа, которая всюду и во все времена. Моисей был мистом, он переделал египетские мистерии в иудейский ритуал, дал евреям скинию, ковчег завета, которая похожа была на электрическое зарядное устройство, и приказал евреям: вот этому поклоняйтесь, это — святыня. Те, кому разрешен был доступ в скинию, должны были соблюдать технику безопасности. Кто не соблюдал, обречен был на гибель. Племянники Моисея, Авиуд и Надав, сыновья Аарона, были убиты, потому что пренебрегли правилами безопасности в зоне высокого напряжения.

Фрэнк сказал:

— Глупый вопрос, но я задам: Аля, нет ли у вас чувства, что вы были очевидцем печального происшествия с несчастными юношами, племянниками Моисея?

Аля наклонилась над столом, смотрела Фрэнку в глаза:

— Фрэнк, разве я говорю с чужих слов?

— Аля, — спросил Фрэнк, — сколько вам лет? Сколько тысяч лет? Вы отчетливо помните другие свои жизни, как Фауст помнил юность в стране туманов?

Аля сказала, она хорошо помнит Египет, глинистый берег Нила, проплывает лист лотоса, на лотосе корзина, в корзине младенец, на берегу, за кустом, спряталась девочка и наблюдает. Аля зажмурила глаза, как будто досматривает картину. Досмотрев, кивнула: девочка, которая пряталась за кустом, была она, Аля.

Фрэнк спросил: это самое раннее из Алиных воспоминаний? Аля не отвечала, глаза смотрели вдаль, у Фрэнка было отчетливое ощущение: его пронизывает луч, за спиной луч дробится, расходится веером, над горизонтом, как будто полярное сияние, клубятся сполохи, на челнах со вздыбленными гнутыми носами, прикрывая глаза ладонью от ослепительных зарниц, стоят русоволосые, с пшеничными усами, бородатые люди в медных шлемах.

— Фрэнк, — сказала Аля, — я вижу вас: вы держите в руках копьё, мимо проплывает кит, он скосил глаз, он знает, вы хотите поразить его копьём... ах! — Аля вскрикнула, закрыла лицо ладонью. — кит развернулся, идет на таран... Фрэнк!

Аля схватила Фрэнка за руку, пальцы судорожно сжимались, Фрэнк засмеялся:

— Кит промахнулся: я жив!

Аля покачала головой: кит не промахнулся — кит передумал, увидел глаза человека — и передумал.

Так, кивнул Фрэнк: кит, увидев глаза человека, передумал, но человек, увидев глаза кита, не передумал.

— Фрэнк, — сказала Аля, — вы убийца, вы убивали китов. Они смотрели на вас человеческими глазами, они заклинали вас, не убей, они щадили вас, а вы убивали их. Фрэнк, я не хочу сидеть здесь, мне здесь не нравится, я хочу уйти. Я уйду.

Аля встала, вышла, Фрэнк искал глазами официанта, не нашел, оставил на столе деньги, двинулся следом за Алей, сказал, у него здесь рядом машина, он отвезет Алю домой.

Аля удивилась:

— Домой? У меня нет дома, — сказала Аля. — А у вас, Фрэнк, есть дом?

Фрэнк ответил, да, у него есть дом, в Ларчмонте.

Аля усмехнулась:

— Фрэнк, у вас есть строение: деревянное, каменное или кирпичное. А дом, я спрашиваю, дом у вас есть?

Фрэнк сказал, у него есть строение, частью кирпич, частью камень, внутри много дерева: дуб, орех, сосна. В строении живет он, его сын, его дочь. Это дом?

— Фрэнк, где ваша жена? Молчите, — остановила Аля, — я сама скажу: жена бросила вас. Ушла к другому. Перед уходом она оставила записку: „Ухожу к другому. Ему — нужнее”.

Фрэнк засмеялся: триста лет назад Але не миновать бы костра — за ведовство сжигали.

Аля сказала, ее сжигали: она помнит, как складывали дрова, как развели костер, ее привязали к бревну, сначала, когда первые языки пламени коснулись пяток, было очень больно, хотелось кричать, она закричала, но крика не было, горло сделалось пустое, как будто все изнутри вынули, потом не стало боли, не стало тела, вроде повернули выключатель и отключили человека от его тела, которое стало для костра тем же, чем были для него дрова, быстро почернело и обуглилось. Аля видела, она смотрела с высоты, как чернеет и обугливается ее тело, никакого сожаления не было, было только удивление: вот, толпа беснуется, исходит в звериных воплях, а все из-за пустяка — горсти обугленных сухожилий и костей.

В сквере, у арки Вашингтона, рыжий человек в сюртуке, в ермолке, рыжие пейсы тряслись и дергались, как будто жили

отдельной, своей, жизнью, играл на пианино. Крышки и передней доски не было, молоточки ударялись о струны, Аля сказала, это не молоточки, это гномы, у каждого свой танец и свой звук, она хочет танцевать с ними, люди всегда водили хоровод с гномами. Аля поклонилась рыжему пианисту, он запрокинул голову, было впечатление, что смотрит сверху, как будто недоумевает, Аля поклонилась молоточкам, пианист прошелся кистью по клавишам, Аля выбросила вперед правую руку, левую, подержала, чтобы гномы успели ухватиться, пошла вдоль пианино в одну сторону, в другую, внезапно, вроде освобождаясь, вырвала руки с силой, воздела кверху, замерла на миг, пока оттуда, сверху, не подхватили, и так, держась за протянутые сверху, невидимые в лучах заходящего солнца, руки, Аля оттолкнулась от земли и повисла в воздухе.

Пианист замер, руки, как будто напал столбняк, застряли на полдороге, зеленые глаза, подсвеченные сбоку солнцем, сделались стеклянные, рыжие пейсы, то ли подхваченные дуновением ветра, то ли под действием токов, пробежавших через человеческое тело, встали, как у манежного на арене, перпендикулярно к вискам.

— Чудо! — закричал рыжий пианист, за огромными желтыми зубами открывалась чернота, из черноты вырывался человеческий вопль. — Люди: чудо!

— Чудо! — подхватили люди.

Весь в черном — черные сапоги, черные, из холстины, штаны, черная, воротник под самую челюсть, посконная рубаша — от челюсти начиналось беленое мелом лицо, подошел к Але колодник, на руках, на ногах цепи, против срамного места, подвязанный к чреслам, тяжело, споконвечной железной тяжестью, свисал замок.

— Раскуй цепи! — сказал колодник Але. — Сотвори чудо: освободи!

Аля подняла руку, замок, хотя скоба не раскрылась, упал к ногам, цепи свалились наземь, толпа ахнула, из толпы, гремя колокольчиком, в драных одеждах, все тело покрыто белыми струпьями, вышел прокаженный, простер изъеденные проказой руки, голову втянул в плечи, склонясь вбок, как будто ожидал удара, и прогугнил:

— Сними язвы, исцели!

Аля провела пальцами по руке, от плеча к запястью, шелуха, вроде соскоблили ножом, посыпалась на землю, открылась чистая, с краснотой, какая бывает у блондинов от первого загара, кожа, Аля провела по другой руке, открылась такая же, с краснотой, кожа, прокаженный схватил Алю за кисть, прижал к лицу, тут же резко отдернул, лицо было юное, с мальчишеским румянцем, прямой нос, жесткие губы, синие глаза смотрели в упор, Аля вскрикнула, прокаженный встал на колени, положил Алину ладонь себе на темя, обхватил Алины ноги и прижался головой. По всему телу, как будто сейчас упадет в обморок, пошла у Али слабость, подсеклись ноги, Фрэнк встал сзади, успел поддержать.

Исцеленный поднял голову, смотрел на Фрэнка холодными, с прищуром, глазами, Аля сказала Фрэнку, все в порядке, поддерживать не надо, сделала движение, чтобы высвободиться из объятий исцеленного, тот, напротив, сжал еще крепче, Аля оттолкнула с силой, Фрэнк, вроде сторонний наблюдатель, случайно оказался рядом, заметил:

— Банальная история: бытие мистории переходит в мистерию бытия.

Рыжий оставил свое место у пианино, стал обходить Алю, кружась по спирали, нижняя губа, как будто человека бил озноб, трепетала.

— Мириам! — бормотал пианист, рыжие пейсы то припадали к щекам, то, внезапно изогнувшись, разлетались по сторонам. —

Вот тимпан твой, вот бубен, Мириам, ударь, подыми народ свой! Утопли колесницы, утопли колесничие, утопли кони их, и царь их, фараон, с воинством своим, не осталось ни одного из них, на дне моря! Чудо! — закричал рыжий пианист. — Чудо!

Проходя под аркой, Аля наклонилась, люди из толпы вставали на ципочки, чтобы увидеть, задние ряды наседали, передние едва сдерживали натиск, Фрэнк сказал, у Али врожденное чувство венценосцев: император Констанций, проходя под триумфальной аркой, наклонял голову, и римский плебс исходил в кликах восторга.

— Мириам! Сестра Моисеева! — подгибая ноги, как будто падает на колени, рыжий пианист следовал за Алей. — Веди! Мужики стали скопцами, тебе, жено, сидеть на царстве!

Фрэнк сказал, на всех ступенях социальной лестницы есть своя толпа, толпа венчает на царство, самозванцев, в сущности, не бывает.

На Пятой авеню служитель вывел машину из гаража, Фрэнк открыл дверцу, встал рядом, придерживая за ручку:

— Карету подано! Не угодно ли...

— Ваше величество! — топнула ногой Аля.

— Ваше величество! — склонил голову Фрэнк.

Когда проезжали через Тридцать вторую, в скверике на стыке Бродвея и Шестой авеню, Аля прикупила травки и объяснила Фрэнку, здесь не жульничают, а в других местах жульничают, подсыпают толченые стебли и всякую гадость. Люди лгут, сказала Аля. Зачем люди лгут, зачем ложь: разве нельзя жить по правде?

Фрэнк спросил: что значит жить по правде?

Жить по правде, сказала Аля, значит любить. Ложь — потому, что в мире злоба, люди лгут, потому что разучились любить.

В Ларчмонте, когда проезжали у берега, Аля сказала

Фрэнку, пусть остановит машину, она хочет искупаться. Берег был скалистый, в темноте казалось, камни наворочены один на другой случайно, беспорядочно, видимо, был когда-то хозяин, но давно бросил и ушел.

Фрэнк объяснил, здесь не пляж, купаться воспрещено, под водой скалы.

Аля сказала Фрэнку, пусть отвернется, сбросила юбку, блузку, трусики и побежала к воде. Фрэнк закурил, видно было, что нервничает, еще раз предупредил насчет скал под водой, ни в коем случае не прыгать, ступать очень осторожно, крепко держась руками за выступы.

В лунном свете Алина голова была на воде, как черный шар, который подталкивает скрытая под водой рука. Иногда шар останавливался, покачиваясь на поверхности, как будто взяли на якорь; вдруг, вроде обрубили якорь, шар начинал судорожно двигаться, поначалу, после первых судорожных движений, казалось, что-то стряслось, Фрэнку хотелось крикнуть, чтобы Аля возвращалась, всему, в конце концов, должна быть мера, но ровное, плавное движение восстанавливалось, шар уже не дергался, а скользил равномерно, на одной скорости.

Фрэнк вынул из кармана пачку, взял сигарету, стал вполоборота к воде, чтобы ветер, который дул с моря, не погасил огня, и крепко затянулся. От спазма, какой бывает при крепкой затяжке, Фрэнк зашелся в долгом кашле, наконец, откашлялся, поднял голову, нашел место, где, по его расчетам, должна была находиться Аля, и все внутри оборвалось: ни там, ни в другом месте черного шара не было — не было ничего, кроме воды, спокойно серебрившейся в лунном свете.

Фрэнк сложил руки рупором, закричал, вода головой из стороны в сторону, „А-ля!”, ответа не было, мигом сбросил

с себя одежду и прыгнул в воду. Больно, как будто провели раскаленным лезвием, резануло пятку, Фрэнк машинально подтянул ногу, провел пальцами и тут же, с силой оттолкнувшись, поплыл вперед, к месту, где должна была находиться Аля.

Фрэнк нырял, ходил кругами, увеличивая всякий раз, при новом заходе, радиус, Али не было, и от этой мысли, что Али нет, забирало чувство необратимого, того необратимого, которое можно было предвидеть, можно было избежать, и он, Фрэнк, предвидел, предупреждал, но не настоял на своем, не проявил воли — и вот, необратимое сбылось, и теперь уже нет силы, нет способа вернуть вещи к тому состоянию, когда это было еще во власти человека — направить события по своей воле.

Фрэнк поплыл вперед, сделал еще несколько кругов, отталкиваясь, ударился ногой о твердое, упругое, будто голова человека, круто развернулся, ударился опять, в этот раз рукой, оказалось, медуза, размером с голыш, непонятно, откуда могло возникнуть ощущение большой массы, и вдруг от скал донесся крик:

— Фрэнк!

Когда Фрэнк вышел из воды, Аля бросилась навстречу, крепко обняла и прижалась щекой:

— Спасибо, я знала, принц не оставит Золушку: еще не пробило двенадцать — до полночи далеко.

Фрэнк сказал, все хорошо, что хорошо кончается: могло сложиться по-другому. Аля подняла ногу, поболтала стопой в воздухе: не могло — золотой башмачок на Золушке, до полночи еще далеко.

— Бум, — смеялась Аля, — бум... Часы бьют. Который час, Фрэнк: далеко до двенадцати?

Фрэнк поднял руку, повернул циферблатом к свету,

хотел взглянуть, Аля воскликнула: ах, не надо — кто смотрит на часы, ускоряет время!

Аля закрыла глаза, протянула, ладонями вверх, руки к Месяцу, поцеловала ладонь, на губах играла улыбка, и спросила:

— Что такое счастье? Фрэнк, ты знаешь, что такое счастье?

Фрэнк сказал, он не может дать определения счастья, ибо счастье, по своей сути, трансцендентально, а трансцендентальное не поддается определению словом. Но если бы ему пришлось привести пример счастья, как он чувствует его, он бы сказал: „Сейчас я счастлив”.

Аля повернулась лицом к Фрэнку, положила руки ему на плечи:

— Фрэнк, сейчас я счастлива. Который час?

Фрэнк погрозил пальцем: кто смотрит на часы, ускоряет время. Аля крепко зажмурила глаза, как будто от острой боли:

— Если бы ты знал, как я счастлива! За что мне такое счастье!

Когда сели в машину — то ли от тесноты, то ли от вициловой духоты, какая бывает при закрытых окнах — настроение испортилось. Аля опустила стекло со своей стороны, сказала Фрэнку, пусть опустит со своей тоже, чтобы хорошо просквозило, и закурила.

— Фрэнк, куда девалось счастье? — спросила Аля.

Фрэнк засмеялся: унесло сквозняком, люди потому и боятся сквозняков, что уносят счастье.

— Фрэнк, — сказала Аля, — я не хочу к тебе. Я хочу домой. Отвези меня домой.

Фрэнк ответил, хорошо, он отвезет Алю, но сначала надо заехать к нему домой: дети не лягут спать, пока он не

уложит их и не пожелает спокойной ночи. Так заведено: правила ломать опасно.

— Фрэнк, — сказала Аля, — какое мне дело до твоих детей? Какое мне дело до ваших правил, которые опасно ломать? А подцепить девочку на улице, усадить в машину и везти к себе домой — по вашим правилам? Эти правила тоже нельзя ломать или эти правила можно ломать?

— Ты права, — сказал Фрэнк, — я поступил плохо. Я отвезу тебя домой. Но уточним: я не цепляю девочек на улице. Я не подцепил тебя. Не будем заезжать ко мне: я позвоню по телефону.

Фрэнк стал разворачиваться, Аля молча наблюдала. Когда маневр был закончен, Аля сказала, она была неправа, не надо везти ее домой — надо ехать к детям.

— Аля, — Фрэнк остановил машину, — ты уверена? Ты хочешь именно так?

Да, сказала Аля, уверена: она хочет именно так — счастье вернулось к ней. Она опять счастлива.

— Фрэнк, — засмеялась Аля, — я знаю тебя тысячу лет. Поцелуй меня. Еще. Еще.

Фрэнк сказал, он тоже знает Алю тысячу лет. Он не может объяснить природы этого феномена, но ощущение у него такое, как будто не было времени, когда бы он не знал Алю.

— Я всегда знал тебя, — пожал плечами Фрэнк. — Понимаешь: всегда.

Когда зашли в дом, Фрэнк представил Алю детям:

— Это Аля.

— А эго, — Фрэнк взял за руки обоих, дочь и сына, — Андреа, хозяйка дома, десяти лет, Джеймс, мистер „все-хочу-знать”, восьми лет.

Аля понравилась детям. Андреа рассказывала про свою подругу Алису, которая влюбилась в Тони — Тони учится в

восьмом классе — а тот любит Эллендею, такая дылда и всегда нечесаная, и Алиса страдает и плохо готовит уроки.

Аля сказала, пусть Алиса верит, что Тони ее полюбит, и будет, как она верит: Тони обязательно увидит, что Алиса лучше Эллендеи, и полюбит Алису.

— Ты уверена? — спросила Андреа. — А вдруг ты ошибаешься?

Аля покачала головой: она уверена, что не ошибается — надо только верить.

— Знаешь, — сказала Андреа, — мама бросила нас. Тебя мама не бросала? А папа?

Аля ответила, нет, мама не бросала ее, и папа не бросал. Она бросила папу.

Андреа спросила: Алю наказали за это? Аля пожала плечами: нет, не наказали. Но накажут. А может, опять пожала плечами Аля, уже наказали: просто она, Аля, еще не знает этого. Андреа покачала головой: такого не бывает. Когда человека наказывают, он обязательно знает. А если не знает, для чего тогда наказание? Ну, улыбнулась Аля, человеку просто больно, а он не знает, не понимает, откуда боль.

— Я очень люблю папу, — сказала Андреа. — Я никогда не брошу его. Никогда.

— Ты хорошая, — Аля вздрогнула, сдвинула брови, как будто внутри вдруг сделалось больно. — Ты хорошая.

Андреа спросила:

— Тебе больно?

— Нет, — сказала Аля, — мне не больно. Ты хорошая, Андреа.

Аля обняла Андреа, прижала к себе. Подошел Джеймс, сказал, он хочет, чтобы его тоже обняли. Аля обняла Джеймса, и так сидели втроем на диване, пока Фрэнк не крикнул из столовой, что все готово, пусть садятся за стол.

За ужином Джеймс немного капризничал, сказал, завтра он не пойдет в школу, он останется дома, с Алей. Отец ответил, нет, Джеймс не останется дома: во-первых, нельзя пропускать школу, во-вторых, у Али тоже дела. Джеймс спросил: а если бы не дела, Аля осталась бы? Отец засмеялся: это не имеет значения, все равно мистеру „все-хочу-знать” пришлось бы идти в школу. Аля сказала Джеймсу, пусть не огорчается, она отведет его в школу. Джеймс объяснил: Аля не может отвести его в школу — за ним приезжает автобус. Но, если папа согласится, они втроем могут поехать на папиной машине.

— Джеймс, — сказала Андреа, — перестань молоть вздор: у папы нет времени возить тебя в школу.

Джеймс, улыбнулся отец, сам знает, что нет времени, но мальчику хочется пофантазировать, и едва ли справедливо именовать его фантазии вздором.

— Папа, — Андреа подняла голову, зеленые глаза блестели, — на эту тему уже были разговоры: ты балуешь своего сына, а он, вместо того, чтобы проявить достоинство, норовит воспользоваться. Джеймс, — сказала Андреа, — в школу едут автобусом, и перестань молоть вздор.

Джеймс опустил голову, Але захотелось погладить его, она наклонилась, протянула руку, Андреа ударила чайной ложечкой по столу:

— Джеймс, видишь, к чему приводят твои капризы. Будь мужчиной, Джеймс!

Джеймс наклонился, подставил голову, Аля провела пальцем у виска, поерошила волосы, Джеймс показал Андреа язык, Фрэнк нахмурился, пожурил сына: это лишнее. Андреа сказала, какой смысл в замечаниях, если замечания не настоящие. Уж лучше никаких замечаний.

Аля кивнула, Андреа права: лучше никаких замечаний.

Замечания только злят, а надо любить. Надо учить человека любить. Когда все научатся любить, не нужно будет замечаний.

— Одна девочка, — сказала Андреа, — бросила своего папу. Девочку учили, что папу надо любить.

— Она любила папу, — улыбнулась Аля.

— Она бросила папу.

Андреа откинула голову назад, приспустила веки, руки, ладонь к ладони, держала на столе.

— Андреа, — сказала Аля, — ты хорошая, ты добрая. Я хотела бы быть Алисой, чтобы иметь такую подругу. Ты очень хорошая, Андреа.

— Я не хочу быть другой, — сказала Андреа, — чтобы кому-то нравится. Миссис Элмс, наша учительница, говорит, что у каждого человека свое лицо и не надо стараться быть похожим на другого. Смотрите, говорит миссис Элмс, у каждого пса, у каждой кошки свой характер, и мы любим их за то, что они разные.

— А про злых собак, — встрял Джеймс, — предостерегают у ворот: „Берегитесь! Во дворе злая собака“.

Андреа сказала, Джеймс прав. Но для чего собакам когти и зубы?

— Не хочу злую, — замотал головой Джеймс, — хочу добрую собаку, чтоб любила меня и защищала.

Фрэнк и Аля засмеялись, Андреа показала пальцем:

— Вот, Джеймс хочет, чтоб была ему защита. От кого? От кого защищаться, если все любят и никто не кусается?

Аля вспомнила слова пророка Исаи насчет волка, который будет жить вместе с ягненком, барса, который будет лежать вместе с козленком и теленка и молодого льва, и волка, которых водить будет какой-нибудь мальчик, по имени Джеймс, и никто не будет царапаться и кусаться, и не нужна

будет защита. Аля сказала, она чувствует, это время уже близко, но если бы все поняли, что не надо царапаться, не надо кусаться, а надо любить, это время могло бы наступить уже завтра.

Зеленые Алины глаза сделались, от волнения, черные, до того черные, будто совсем не Алины, а чужие, с чужого лица, вставленные в Алины глазницы.

— Представляете себе, — Аля взмахнула руками, как будто дирижирует, — вечером, как обычно, люди ложатся спать, каждый запирает свою дверь, а утром, только взошло солнце, все двери настежь, и люди чувствуют: все другое, не как вчера — и солнце, и воздух, и сами люди другие. Все другое. И везде — любовь, все любят друг друга!

Джеймс сказал: и не надо будет идти в школу. Нет, сказала Андреа, надо будет идти в школу, и надо будет делать уроки, и тесты будут, а кто не выполнит, тому двойка и еще такой минус!

Нет, мотнула головой Аля, не будет никаких двоек и никаких минусов, потому что дети сами захотят учиться и не надо будет заставлять их.

— Джеймс, Андреа, — скомандовал Фрэнк, — начнем с вас: айда в постель — чтоб первыми проснуться и первыми встретить завтра, про которое говорила Аля.

Джеймс стал упираться, хотя глаза сами слипались, отец взял его за руку, он выдернул и потребовал, чтобы Аля повела его в спальню и помогла постелить. Андреа возмущалась, но отец потрогал у Джеймса лоб и сказал, кажется, у мальчика температура, придется уступить. И добавил: в порядке исключения.

— Ах, папа, — воскликнула Андреа, — уж сколько было об этом разговоров: никаких исключений!

Когда дети легли, Фрэнк объяснил Але: Андреа вся в мать. Но — странный феномен — пока мать была здесь, Андреа постоянно восставала против нее и брала сторону отца.

Аля усмехнулась: положение обязывает — Андреа стала хозяйкой. Фрэнк пожал плечами: положение или натура? Но, так или иначе, отталкивающие у жены, эти качества привлекают его у дочери. Все зависит от точки отсчета. Аля сказала: от дочки отсчета. Получился неожиданный каламбур, оба засмеялись, Фрэнк поднял руки: не будем абсолютизировать.

Фрэнк показал Але свою коллекцию. Стол и полки были уставлены глиняными, фарфоровыми и металлическими колокольцами. Медные и бронзовые были покрыты патиной, как будто зеленый налет времени, издавали тихий, вроде доносится издалека, мелодичный звон. Аля вспомнила, в детстве она слышала звон, который идет от звезд. Такой звон бывает в темноте от хрустальной люстры, когда вдруг сверкнет зеленый, голубой или фиолетовый луч.

Фрэнк сказал, у Али сильно выражено астральное начало. Ее духовные радары принимают из пространства сигналы, которые, если бы удалось их зафиксировать и расшифровать, стали бы, несомненно, источником важной информации о жизни во Вселенной. Этот тип человека, человека-радара, представлен, видимо, теми, кто в предыдущих своих обликах, доземных, или, точнее, внеземных, либо обретался среди космических духов, либо сам был космическим духом.

— Ты обратила внимание, — Фрэнк встряхнул связку альпийских колокольчиков, повеяло запахом свежескошенного сена, — как потянулись к тебе оба, Андреа и Джеймс? Дети не ошибаются, у детей — астральный нюх. Они учуяли в тебе неземное начало. Ты — космическая женщина. Андреа препиралась с тобой, потому что ее неодолимо влекло к тебе. Но это не было упрямство — это было противостояние, противоборство

двух начал: порядка, с его четкой интеллектуальной иерархией ценностей, и любви, с кажущимся ее произволом, берущим свое начало в Хаосе. Между тем, именно в Хаосе — мировая батарея любви, ибо любовь отвергает иерархию, отвергает структуры порядка, основанные на приказе и подчинении. Любовь отменяет приказ и подчинение. Любовь — это полное, законченное уподобление себя ближнему, это духовная трансплантация себя в ближнего, слияние с ним в общем, в едином для всех подобии Первообразу, Началу начал.

Аля закурила, потянуло запахом сырого погреба, запахом цвели и жухлых листьев, прогретых дымом. Фрэнк спросил, курят ли джойнт в России. Аля сказала, она курила, Саша — Аля махнула рукой, как будто Саша рядом, стоит за спиной — противился, убеждал, что надо бросить, доказывал, почему именно надо бросить, деформируется личность, но это были обычные мещанские доводы: мещане очень боятся неординарного, они хотят, чтобы все было по расписанию, и если что-то меняется, то сначала надо изменить в расписании, чтоб известно было заранее. Как по радио, когда время меняется на летнее или зимнее: „Граждане, не забудьте переставить свои часы!”

Фрэнк подтвердил, действительно, в расписании, в графике задана не только регулярность — задана будничность. Как бы могла случиться его встреча с Алей, если бы все было по графику!

— Фрэнк, — Аля обняла Фрэнка, заглянула в глаза, — ты приятен мне.

Фрэнк налил себе бурбона, Але предложил амаретто, приготовил ломтик апельсина, она сказала, нет, ей тоже бурбона. Наливая, Фрэнк объяснял: слом ординарности — сродни чуду. Чудо есть прорыв сверхъестественного в мир естественного. Физический мир — мир естественного. Законы физического

мира — законы второго порядка — не обладают абсолютной силой. Абсолютной силой обладают законы первого порядка, которые, когда проявляют себя в мире естественного, рушат незбылемое и воспринимаются как чудо, преодоление реальности.

Человеческая этика не справляется с феноменом чуда, ибо этические нормы — это интерпретация законов физического мира применительно к человеку. Юридические понятия, представляющие будто бы антропоморфное начало, то есть нечто, свойственное исключительно человеку, в действительности тот же слепок с физической модели причины и следствия, которые сколько бы ни оспаривала их квантовая механика, правят миром, определяют его гармонию и порядок. Бог, сказал Эйнштейн, не играет в кости.

— Я чувствую, — Аля затянулась, повела рукой перед собою, чтобы рассеять дым, — в меня втекает энергия. Знаешь, как в детстве, после дождя: бежит по мостовой поток, а к нему, со всех сторон, стекаются ручейки.

— Ты — поток, — кивнул Фрэнк.

— Я большая, я длинная, — сказала Аля, глаза остановились, лицо было похоже на маску, — Фрэнк, ты видишь, какая я длинная. Волосы мои вьются. Дует ветер. Ой, — вскрикнула Аля, — это не волосы: это змеи! Фрэнк, откуда змеи?

Грех Адама, сказал Фрэнк, был следствием встречи Евы со змеем. Длинноволосая Лилит, когда в наказание за совершенный грех, Адам отлучен был на сто тридцать лет от ложа Евы, была ему женой. Кабала рассказывает: Ева рождала демонов. И Лилит рождала демонов. Демоны происходили от сладострастных ночных видений Адама. Но мог ли Адам, впавший на сто тридцать лет в сон, различить Еву и Лилит, царицу демонов? Иаков в первую брачную ночь не смог отличить подслеповатую, тяжелогрудую Лию от любимой своей, от хрупкой Рахили. Не вправе ли мы допустить, что, подобно

тому как Иаков обнаружил тождество там, где его не было, Адам обнаружил различие там, где его не было, иными словами, не распознал, что его Ева и царица демонов Лилит — одно лицо?

Не исключено, что кабалисты были весьма близки к истине, усматривая в потомстве, какое осталось от Адама и Лилит, людей Потопа, являющихся нам в образе ночных духов. Точно так же не исключено, что Лилит, по пробуждении Адама, отделилась от Евы как самостоятельная сущность, обретшая, в дополнение к обычному человеческому телу, крылья. В пользу этого говорят случаи, о которых сообщает Талмуд в трактате „Нидда“, когда рабби наблюдали у женщин выкидышей, во всем подобных человеку, но наделенных при этом крыльями. Не было ли это повторением путей, какими шла наша прапра-мать, о чем силы, неподвластные человеку, сочли уместным напомнить ему?

— Фрэнк, — сказала Аля, — я знала это давно, я чувствовала, Фрэнк, я — Лилит!

Фрэнк пожал плечами: физический мир пользуется матрицами. Повторение образа, даже полная идентификация — в масштабах Космоса тривиальный акт.

— Фрэнк, — сказала Аля, — я боюсь. Фрэнк, защити меня. Заступись!

Фрэнк взял Алю за руки, покачал головой:

— Не ты у людей — люди у тебя должны просить заступничества. Царица ночи, Лилит летала над домами и умерщвляла младенцев, зачатых в грехе — в законном браке, но в грехе. Мать билась в истерике, отец сидел у гроба, как будто нагруженный свинцом, оба вопрошали: за что? Но оба знали: зачат в грехе — Лилит вершит суд.

Аля сказала, она не хочет вершить суд, не хочет судить. Фрэнк ответил: те, на кого возложена миссия, не могут укло-

ниться от нее. На Алю возложена. Не вынося приговора, она судит, ибо всякого понуждает к действию, действие же человека — это мера человека. Не совершенное действие — тоже действие. Помысел — начало действия. Помыслы формируют поле, психическое поле — универсальный язык Вселенной, наделенной дыханием. Насылая на землю Потоп, Творец равно карал всех, кто наделен был дыханием: и человека, и зверя, и птицу. Франциск Ассизский проповедывал птицам, проповедуя птицам, он отворял сердца людей.

Царство духа, сказал Фрэнк, царство ясновидцев. Аля — вестник этого царства. Когда все станут ясновидцами и не будет места для сокрытого, а будет все явным, на земле утвердится царство духа.

Аля зажмурила глаза, из уголков, вдоль носа, покатались две слезинки. Фрэнк сделал движение, чтобы вытереть, но тут же спохватился, подал Але салфетку.

— Ты первый, — сказала Аля, глаза были бледные, вроде разбавили студеной водой, — понял. Я носила в себе, я чувствовала. Ты первый понял.

Фрэнк взял со стола альпийский колокольчик, комната, как будто вечер, заходит солнце, наполнилась багряным светом, багрянец быстро, глаз едва успевал следить и регистрировать, терял яркость, чернея, как облако, от середины к краям, пока вовсе не погас, оставив за собою грудку прозрачного, рассеянного в ночном воздухе пепла.

— Моя мать, — сказал Фрэнк, — крещеная еврейка. Ее отец, раввин, отрекся от нее. Поначалу он не хотел видеть меня. Незадолго до смерти, он велел, пусть приведут мальчика. Он сказал: „Мальчик, твоя мать ушла и увела тебя, но ты вернешься. Иди”.

Аля спросила: разве вернуться на пепелище — это вернуться?

— Фрэнк, — сказала Аля, — я предала своего отца, я донесла на него. Отца забрали в тюрьму. Фрэнк, будь мне отцом.

Фрэнк развел руками: парадокс, но у него явственное ощущение, что Аля старше, Аля — мать ему.

— Да, — кивнула Аля, — я старше. Я мать тебе. Фрэнк, ты будешь мне отцом? Я не предам тебя.

Аля налила себе бурбона, Фрэнк спросил, не хватит ли на ночь глядя, Аля вдруг, неизвестно откуда налетела ярость, ответила зло:

— Не твоя забота: ты еще не папа мне!

И тут же, оттолкнув с омерзением бокал, стала просить извинения:

— Извини, я не на тебя злюсь — я на себя злюсь. Поцелуй меня. Еще, еще.

Аля показала пальцем, где целовать — лоб, ухо, глаз — Фрэнк делал, как велела Аля, когда коснулся губами под ухом, Аля вскрикнула: „ой!”, вздрогнула, как будто в ознобе, сама обхватила Фрэнка руками, с силой притянула к себе и внезапно, отпрянув, захохотала:

— Лилит — наложница Адама! Нет, милый, Лилит не будет наложницей. Отведи меня спать. Я хочу спать.

Фрэнк отвел Алю в спальню, положил на комод ключи, сказал, спальня запирается, пожелал спокойной ночи и вышел.

— Спокойной ночи, Адам! — крикнула вдогонку Аля.

Фрэнк притворил за собой дверь, из комнаты свистнули, свист был как на улице, когда хотят привлечь внимание:

— Ты стоишь под дверью. Я знаю: ты стоишь под дверью.

Фрэнк направился к лестнице, спустился бегом, как будто спасается от погони, сверху донесся голос:

— Где ты, Адам?

Среди ночи — Але казалось, среди ночи, но на самом деле занимался уже рассвет — Аля проснулась в страхе, кто-то в

черном, с черными крыльями, с длинными развевающимися волосами, кричал прямо в ухо, ее голосом, кричал слова, которых Аля не могла разобрать, но слова были страшные, о смертельной опасности, которая идет со всех сторон, отовсюду, и если Аля не вскочит, не убежит, опасность настигнет ее — и Аля погибнет.

Горел ночник, Аля открыла глаза, увидела Фрэнка, он склонился над ней, положил руку на плечо и ласково, как будто ребенка, гладил:

— Тише, это я. Ты кричала, дверь не была заперта — я зашел.

— Ты не пришел на мой крик, — сказала Аля. — Я закричала, когда ты вошел и встал надо мной. Зачем ты пришел?

Все в порядке, ответил Фрэнк, он уходит. Фрэнк повернулся, чтобы идти, Аля остановила его:

— Ты пришел, чтобы взять меня. Ты хочешь меня.

Аля сбросила с себя одеяло, развела ноги, у Фрэнка, когда Аля развела ноги, все поплыло перед глазами, едва удержался на ногах, Аля сказала:

— Делай, что хочешь.

Фрэнк повторил, он здесь потому, что Аля кричала, и никакой другой причины нет. Аля, как лежала с разведенными ногами, так продолжала лежать и повторила:

— Делай, что хочешь.

Фрэнк внезапно, как будто бешеный, сорвался с цепи, бросился на Алю. Прижимая левой рукой к себе, правой Аля водила у Фрэнка вдоль позвоночника и успокаивала:

— Ну, спокойнее, спокойнее, Адамчик: Лилит с тобой, Лилит — твоя.

Когда Фрэнк утих, с минуту лежали молча, Аля спросила:

— Ну, чего ты еще хочешь?

Фрэнк провел руку у Али под головой, хотел обнять, она отодвинулась, повторила свой вопрос:

— Ну, чего еще тебе?

Фрэнк лежал на спине, зажмурил глаза, Аля сказала, пусть откроет, она хочет посмотреть, что у него, у Адама, сейчас там, в глазах.

Фрэнк не отвечал, лежал недвижимо, Аля повернулась к нему, провела рукой от живота к паху.

— Ого! — вскрикнула Аля. — Ну чего там, милый, ты же хочешь: не стесняйся!

Фрэнк лежал по-прежнему, с закрытыми глазами, недвижимо, Аля села к нему на бедра, привстала на корточки.

— Ну, — сказала Аля, лицо было сосредоточенное, напряженное, — теперь ты доволен? Отвечай: теперь ты доволен?

Аля подымалась и приседала, Фрэнк подавался навстречу, Аля сказала, не надо, пусть лежит спокойно, она сама. Фрэнк завел руки под голову, на лице была гримаса муки, Аля провела ладонью, велела расслабиться, видно было, Фрэнк старается, хочет угодить, но лицо делалось все напряженнее, как будто маска невыносимого страдания, рывком вывел руки из-под головы, схватил Алю за бедра, за таз, то сводя, то с силой разводя в стороны, глаза сделались совсем дикие, безумные, вдруг откинулся, изогнулся дугой, получился мостик, и зашелся в крике, с воем, с клекотом, будто захлебывается и не может продохнуть.

Аля перебросила ногу, сошла, сказала, теперь все, получил свое, она больше ничего не должна.

Фрэнк улыбался, взял Алю за руку, ладонью к губам, стал целовать, водить у себя по лицу, она покорно следовала, чуть-чуть напряглись пальцы, Фрэнк почувствовал, отнял руку от лица, внимательно посмотрел, сказал, Алины пальцы, как гномы, у каждого своя жизнь, Аля подтвердила, у каждого

своя жизнь, сделала движение, чтобы высвободить руку, Фрэнк пытался удержать, Аля дернула с силой.

— Фрэнк, — сказала Аля, — кто разрешил тебе зайти ко мне в комнату?

Фрэнк покачал головой: никто не разрешил — он оставил Але ключи.

— Фрэнк, — сказала Аля, — ты оставил мне ключи, чтобы я заперлась от хозяина дома?

Фрэнк пожал плечами: он оставил ключи хозяйке сналь-ни — Аля сама решала, запирасть или не запирасть дверь.

— Фрэнк, — спросила Аля, — я звала тебя?

Фрэнк покачал головой: не звала.

— Царство ясновидцев, — Аля зажмурила глаза, — законы первого порядка, законы второго порядка. Тебя не звали — ты пришел. Какого порядка законы этого дома? Какое здесь царство?

Фрэнк не отвечал, Аля ждала.

— Ты права, — сказал Фрэнк. — У тебя были ключи — ты могла запереть, но не заперла. Моя бестактность: не следовало давать тебе ключи. Но было так, как я говорю: ты кричала — я зашел на крик. Я не спал всю ночь, ждал, ты позовешь. Ты не звала — я сам вошел к тебе. Я мог бы сказать в оправдание себе: ты не остановила, не возмутилась, не прогнала, — Фрэнк смотрел Але в глаза. — Я виноват. Прости.

Проснулись дети. Джеймс позвал отца. Аля предложила, она приготовит завтрак. Фрэнк ответил, дети привыкли, что завтрак готовит он, Андреа помогает. Хорошо, кивнула Аля, пусть будет, как привыкли дети: Фрэнк готовит завтрак, Андреа помогает.

Сначала Аля решила, что завтракать не будет. Потом, Джеймс пришел звать ее, Аля передумала, и вышли к столу вместе. Когда кончили завтракать, Аля сказала, пусть Андреа

приготовится к школе, она сама уберет посуду и помоеет. Андреа ответила, у нее достаточно времени: она успеет убрать посуду и успеет приготовиться к школе. Получилось, Аля на кухне не нужна, может идти к себе в комнату. Фрэнк сказал, если Андреа и Аля возьмутся вдвоем, будет быстрее. Джеймс подошел к Але, стал тянуть за руку: не надо быстрее, Андреа сама управится, пусть Аля идет с ним и поможет ему.

Андреа была недовольна поведением Джеймса, Фрэнк покачал головой, тоже не одобрял, но Джеймс опять стал тянуть Алю за руку, сказал, пошли, и Аля пошла.

Аля убрала постель, вдвоем собирали разбросанные по комнате игрушки, положили книжки и тетради в ранец. Джеймс сказал Але, он хочет, чтобы она не уходила, чтобы ждала, пока он не вернется из школы.

Когда все было готово, Фрэнк крикнул из-за дверей, пора, Джеймс повторил: пусть Аля не уходит — он скоро вернется, и они будут вдвоем дома, потом придет Андреа, а потом придет папа. Но пока Андреа и папа придут, они будут вдвоем.

— Аля, — сказал Джеймс, — ты хорошая: поцелуй меня. У тебя есть сын, ты целуешь его?

Аля покачала головой, у нее нет сына, сказала Джеймсу, ты худой, хотела взять на руки, он присел на корточки, она наклонилась, поцеловала в темя, прижала голову к себе. Понесся гудок, Фрэнк крикнул, живее, автобус.

Вышли троем: Фрэнк, Андреа и Джеймс. Аля осталась одна, спустилась в гостиную: камин, медная, потемневшая от сажи, решетка, черные, как будто только что из кузни, щипцы, дровяные, с желтым осиновым налетом, чурки, пианино, крышка открыта, ноты, одна книжка потрепанная, с загнутыми углами, другая, рядом, совсем новая, видимо, только купили, ореховый столик с колокольцами, в центре, на мраморной плите, кремлевский царь-колокол, у основания, как вход

в шатер, треугольный, пролом, тут же, на плите, притвор, треугольный со шербатыми краями обломок колокола, между окнами картина маслом, „Львиный зев”, похоже на женские гениталии, внизу подпись, Шарлин О’Брайен, должно быть, бывшая хозяйка дома, в углу, на тумбе, под полосатым абажуром, с раздутыми боками, вроде султан или паша в шароварах, лампа, подле лампы книга Карла Суареса „Кабала. Трилогия”, слева и справа от тумбы — два кресла, обтянутых чехлами. За окном, на стеклянной веранде, в кадке, на чахлых стеблях, чем-то напоминали понурого монаха в капюшоне, черные тюльпаны.

У Али сжалось сердце, было нелепое ощущение: дом покинут, ее бросили, забыли, хозяева не вернуться. Громко, как будто обращаясь к кому-то, Аля спросила: кто я? зачем я здесь?

Пошел дождь. Капли, подлетая невидимо, разбивались о стекло, обращаясь в тонкие извилистые струйки, струйки быстро набухали, перекрывая одна другую, и образовали сплошную, с волнистой поверхностью, пленку, за которой, придя в движение, колыхались, изгибались, как по водяной ряби, дорога, деревья, дома.

Вернулся Фрэнк, отряхнул у дверей зонтик, бросился к Але, закричал, ну, вот, наконец, остались одни, хотел обнять, Аля остановила, выставив, ладонями вперед, обе руки.

Фрэнк отступил, взял с тумбы книгу, сказал, это для Али, здесь листок с телефонами, все координаты: дом, офис, часы работы. Спросил Алин телефон, Аля ответила, она сама позвонит.

Фрэнк предложил отвезти Алю домой, она сказала, нет, до ближайшей станции метро.

У станции — Фрэнк успел уже отъехать — вспомнила: букет для Саши остался в машине. Аля подумала, надо купить

другой букет, осмотрелась вокруг, цветов не было, махнула рукой, ладно, без цветов.

Саша встретил у порога, бледный, небритый, с синими, от бессонной ночи, кругами в полщеки, закричал, замахал руками:

— Ты жива! Слава Богу ты жива! Я сто раз звонил в полицию: нет и нет, никаких сведений. Я думал, с ума сойду.

Аля пожала плечами: чего с ума сходить, случилось бы что-нибудь, из полиции дали бы знать — у нее в сумочке всегда с собой телефон, адрес. Да, сказал Саша, телефон, адрес, но можно было просто позвонить: все в порядке, задерживаюсь.

Аля сказала, она не думала задерживаться, получилось само собой, далеко за городом, а про телефон, что можно позвонить, забыла.

— Понимаешь, Саша, — Аля развела руками, — забыла. У каждого случается, и у тебя могло случиться: забыла, никакого злого умысла, просто забыла.

— Ну ладно, — Саша подошел, обнял, стал притираться щекой, — ты жива, здорова — это главное. В следующий раз, будешь задерживаться, позвони. Лады?

Сели завтракать, Саша открыл шампанское, выпили за грядущие успехи доктора Александра Зонтага, Аля налила себе еще бокал, ничего не ела, только пила, Саша сказал, вот пирог, шоколад, фрукты, надо закусить, Аля покачала головой, нет, она сегодня уже завтракала. Саша засмеялся, ну и что ж, что завтракала, он тоже завтракал, можно и по второму разу: не каждый день по такому случаю завтраки.

Саша стал рассказывать про свое дежурство, был момент, пошли вторые сутки, заткнул в уши фонендоскоп, приложился к груди пациента, тишина, только сердце глухо тукает, тук-тук-тук, ничего, норма, соснуть бы, ох, плывет все, вбок уходит... ан нет, малыш Гипнос, не возьмешь!

Аля слушала внимательно, Саша совсем разошелся, очень смешно рассказал про старика, полного маразматика, который у всех больных вырывал шприцы из вен и кричал „гевалт! ограбили!“, пришлось привязать к кровати, чтоб угомонился.

Когда Саша сделал паузу, Аля спросила:

— Саша, почему ты не спрашиваешь, где я была?

Саша не отвечал, ложкой кромсал пирог, Аля повторила:

— Почему ты не спрашиваешь, где я была?

— Аленок...

— Что Аленок! — закричала Аля. — Аленка твоего всю ночь напролет...!

Аля употребила грубое слово, Саша отшатнулся, закрыл лицо руками:

— Аля, тебя изнасиловали!

— Саша, — Аля дала себе слово говорить спокойно и говорила спокойно, — меня не изнасиловали.

— О, — Саша схватил Алю за руки, стал целовать, — ты выдумщица, ты фантазерка, ты гадкий, жестокий ребенок! Я знаю, ты гадкий, жестокий ребенок!

Саша объяснял Але, в этот раз кончилось все благополучно, но Аля не имеет права забывать, Аля обязана помнить: это не Одесса, не Россия — это Америка, это Нью-Йорк. Один раз сошло — другой не сойдет. Он настаивает, он требует: пусть Аля даст слово, что это в последний раз — никаких походов на ночь без него!

— Саша, — сказала Аля, — меня не изнасиловали.

Саша прижал ладонь к Алиным губам: все, тема исчерпана.

Аля отвела голову, с силой оттолкнула Сашу:

— Меня не изнасиловали, — повторила Аля, — я сама. Понимаешь, сама...

Саша побледнел, голос вдруг сел, сделался сиплый, как будто вставили в гортань трубку:

— Ты влюбилась?

Аля пожала плечами: при чем здесь любовь? Просто человек. Американец. Познакомились на улице. Рассыпались цветы, которые она купила для Саши, Фрэнк помог собрать. Так и познакомились. Получилось само собой. А потом поехали к нему. У него дом в Ларчмонте. Двое детей, Андреа и Джеймс. Жена бросила его, а дети живут с ним. Джеймс ходит во второй класс, славный мальчик, а сестра — вся в мать, сухарь, злюка. Джеймс просил, чтобы Аля осталась, не уходила. Она осталась.

Саша сказал:

— Тебя опоили. Ты была пьяна.

Аля покачала головой: нет, ее не опоили, так, немного, сама покурила, выпила. В меру.

— Потом... — сказал Саша.

Потом, Аля пожала плечами, Фрэнк пришел к ней в комнату, ночью, нет, не ночью, уже начало светать, она не звала его — он сам пришел.

— Так тебя изнасиловали! — Саша сделался совсем белый, только нос с желтизной, как будто из воска.

Аля нахмурилась, видно было, что раздражена:

— Саша, я объясняла тебе: никто меня не насиловал. Фрэнк пришел, я не могла сказать ему: уходи. Я у него в доме. Саша, ты другой: ты можешь обидеть человека. А я не могу. За что обидеть? Ну подумай сам: за что?

— Как за что! — поразился Саша.

— Ты не хитри! — вдруг взвинтилась Аля. — Не увиливай! Ты отвечай прямо: за что?

— Ты же отдала себя на поругание! — Саша сплел пальцы, и так, сплетенными пальцами, колотил по столу. — Тебе было

противно, мерзостно, ты из жалости, боялась обидеть, а ему плевать на тебя, ему — свое!

Аля покачала головой: ей не было противно, она не звала, не искала, но не было противно. Так, все равно, могло быть — могло не быть. А потом она сказала Фрэнку, пусть уходит. Когда расставались, Фрэнк просил телефон, она не дала телефона.

— Но что ты чувствовала, — продолжал свое Саша, — было приятно, удовольствие?

— Саша, я уже говорила тебе: было все равно. Удовольствия не было, просто сознание, что Фрэнку хорошо. Понимаешь, Фрэнку было хорошо. А мне... — Аля пожала плечами.

Саша вдруг засмеялся, бледность прошла, вернулся нормальный цвет:

— Аленок, ты разыгрываешь меня. Я знаю: ничего не было. Ты — актер, самый великий актер! А я — дурак, самый большой дурак.

Саша схватил Алю за плечи, притянул к себе, хотел поцеловать, она как будто с цепи сорвалась, стала колотить Сашу кулаками по голове, вонзилась ногтями под челюстью, вроде норовит вырвать с мясом, и закричала:

— Трус! Ничтожество! Все было! Не как с тобой: все было! Трус, импотент, ничтожество! Ты выгони меня — на улицу, коленом, метлой, дубиной, выгони... — Аля стала обзывать себя всякими непотребными словами, — чтоб все видели! Хочу, чтоб все знали, все видели!

Саша налил в стакан воды, вынул из кармана таблетку, подал Але, она выплеснула воду Саше в лицо, взяла таблетку в рот, тут же выплюнула и закричала:

— Ты выбрось, выгони свою Алечку на улицу, а я объясню людям: он толкал меня, он дергал куклу за веревочку, он во-дил палочку, иди... — Аля опять употребила грубое слово — иди,

милая, только бы мне покой был! Ненавижу тебя. Ненавижу!

Аля бросилась на диван, Саша присел рядом, хотел успокоить, Аля вскочила, схватила нож со стола, стала размахивать, пусть только посмеет подойти, посмеет прикоснуться — она убьет, зарежет, второй глаз высадит!

Саша, когда Аля стала размахивать ножом, машинально отступил, встал у противоположной стороны стола, руки вытянул вдоль туловища, как будто в траурном карауле, по щекам текли слезы, Саша смахнул ладонью, опять набежали слезы, Саша вытер кулаком, Аля выронила нож, закрыла лицо руками, вся затряслась, Саша подошел, обнял за плечи, Аля прижалась всем телом, стала стягивать с Саши штаны, оба упали на пол, Аля бормотала, милый, любимый, единственный, никого не было, никого нет, она все выдумала, только Саша, один Саша, навсегда, на всю жизнь. Саша, вдруг охватила радость, бормотал в ответ, он знает, Аленок самый чистый, Аленок самый хороший, любит только его, и это навсегда, на всю жизнь!

Аля теребила пальцами, забирала губами, велела Саше лечь на спину, перебрosiла ногу, присела над Сашей на корточки, сказала, пусть не двигается, она сама.

— Ну, — сказала Аля, лицо было сосредоточенное, напряженное, — ты доволен? Отвечай, милый, любимый, единственный! Отвечай!

Аля зашлась в крике, как будто невыносимое страдание, откинулась корпусом назад, оперлась на руки, потом устремилась вперед, грудью на Сашину грудь, и так, прижимаясь один к другому изо всех сил, лежали молча, пока Аля не сказала, пора вставать.

Саша не хотел отпускать Алю, Аля начала сердиться, наконец, встали, привели себя в порядок, Аля помогала Саше,

как будто маленький, несмышлениш, застегивать рубаху, пиджак, Саша норовил чмокнуть в щеку, в шею, под ухом, Аля увертывалась, потом сели за стол, друг против друга, допили шампанское, у Саши был счастливый вид, сам объяснял, что счастье, если нет ему ниоткуда угрозы, превращается в рутину, перестает быть счастьем, и Аля со своими мистификациями — настоящая волшебница.

— Саша, — Аля смотрела на Сашу в упор, глаза сделались совсем чужие, холодные, как будто случайные, посторонние люди, — перестань дурачить себя. Саша, ты дурачишь себя, ты прячешься за словами и хочешь, чтобы я пряталась вместе с тобой.

Саша удивился: откуда Аля взяла это? Он сам не прячется и не хочет, чтобы Аленок прятался. Просто надо знать меру вещей и не преувеличивать.

— Саша, — повторила Аля, — перестань дурачить себя: ты боишься. Ты не знаешь меры вещей. Если бы ты знал меру вещей, ты бы понял, что меры вещей нет. Мера вещей — это выдумка. Меру вещей выдумали люди, потому что им страшно.

Саша сказал, у страха свой биохимический механизм. Страх приходит и уходит. Клетки мозга вырабатывают вещества, называются нейротрансмиттеры. Например, норэпинефрин, передает сигнал в рецепторы страха. Чем больше норэпинефрина, тем больше страх. Таблетка валиума нейтрализует норэпинефрин — и страх проходит, как будто никогда не было.

Аля покачала головой: страх всегда был и всегда будет, пока люди буду ненавидеть. Страх — от ненависти, от того, что люди осуждают друг друга.

Саша сказал, человек боится упасть в ущелье, боится утонуть, боится темного леса, потому что глаз человеческий не видит в темноте. При чем здесь ненависть, при чем здесь осуждение?

Ала пожала плечами: Саша говорит про страх, который у всех животных. У животных страх только тогда, когда грозит опасность. А когда проходит опасность, проходит страх. А человек боится, у человека всегда страх, потому что люди не любят, а злобствуют и осуждают.

Саша старался держать себя в руках, но видно было, что теряет терпение: при чем здесь любят не любят, осуждают не осуждают! Страх, сказал Саша, это инстинкт самосохранения, и тот, у кого нет страха, либо клинический идиот, либо просто дурак. Жак Пиаже и Поль Фресс, психологи—эксперименталисты, показали, что страх может быть описан в физических и биохимических терминах.

Аля сказала, Саша не виноват, что не понимает: всю жизнь в школе, в медицинском институте, везде ему объясняли, что законы природы — главные законы. А в действительности законы природы — это законы второго порядка, которые сами подчиняются законам первого порядка — Высшему закону. Саше внушили, что без страха не может быть жизни, что человек не может не бояться. Да, по законам физического мира, по законам природы, человеку положено испытывать страх. Но пророк Исайя, когда с глаз его спала пелена, наложенная природой, и открылся ему другой мир, увидел льва, как он играет с телятком, и волка, как он играет с козленком, и маленького мальчика, может быть, по имени Саша, который ведет их на поводке, как щенков.

Саша сказал, со времен Исайи прошло две с половиной тысячи лет, ни львы, ни волки, ни люди за это время не изменили своего нрава, своих вкусов. И не только в зоопарке, не только от львов и волков, но друг от друга люди отделяются решетками и железными оградами. А здесь, в Нью-Йорке, еще и охранников ставят, с дубинами и пистолетами.

Аля сказала, есть люди-радары. Эти люди принимают на

сигналы из Вселенной, которые, если бы удалось их зафиксировать и расшифровать, стали бы источником важной информации. Что видели и слышали пророки, принимавшие сигналы из Вселенной, людям представляется чудом. И что видел Иисус, представляется чудом. А на самом деле чудо — это прорыв сверхъестественного в мир естественного. На самом деле, сказала Аля, никакого чуда нет: просто законы второго порядка, законы природы, в данной точке, в данное время утрачивают силу и уступают место законам первого порядка, которые стоят над ними, как если бы пришел главный начальник и на время отменил приказы младших начальников — не потому что они плохие или глупые, а потому что в данный момент требуются другие приказы.

Саша смотрел внимательно, на лице была тревога, Аля сказала Саше, его тревога от ревности, не надо ревновать.

— Саша, — сказала Аля, — я — человек-радар. Я — космическая женщина. Когда, в наказание за грех, Адам был отлучен от ложа Евы, его терзали страшные ночные видения. Лилит, которая стала ему женой вместо Евы, рождала демонов, происходивших от кошмарных видений Адама.

Саша вскочил, как будто снизу, из-под сиденья, укололи иголкой, с силой задвинул стул под стол, тут же потянул на себя, опять уселся, подпер голову руками, уставился на Алю, вроде гипнотизирует. Аля, глаза сделались круглые, немигающие, как у совы или филина, смотрела на Сашу.

— Саша, — сказала Аля, — я — Лилит.

— Нет, — покачал головой Саша, — ты — Аленок, дикий олененок.

— Саша, — повторила Аля, — я — космическая женщина, Лилит. Саша, мы должны расстаться.

Саша засмеялся, как будто очень смешно, сказал, он

всегда, еще с того дня на чердаке, знал, что его суженая — царица ночи, мать демонов Лилит.

— Я не хочу с тобой жить. Я не люблю тебя, — Аля говорила громко, отчетливо разделяя слова. — Саша, я не люблю тебя.

Саша нахмурился, сказал Але, все должно быть в меру. Аля покачала головой: меры нет.

— Саша, — повторила Аля, — я тебе объясняла: меры нет. У каждого человека своя мера. Я не люблю тебя.

— Аленок, — Саша улыбался, улыбались только губы, фарфоровый глаз был неподвижный, без выражения, зрячий мигал, сильно дергалось веко, — Аленок, ты слышишь себя?

Аля ответила, она слышит себя и хочет, чтобы Саша тоже слышал: они должны расстаться. Надо было раньше расстаться, но она не хотела поднимать вопроса, пока Саша не сдаст экзамена. Теперь Саша — доктор, зарабатывает много денег, и ни от кого не зависит. У него — своя дорога, у нее — своя. Она не хочет, чтобы ее на каждом шагу контролировали.

— Аленок, — Саша замахал руками, — кто тебя контролирует?

— Ты меня контролируешь, — сказала Аля.

— Я? — Саша ткнул себя пальцами в грудь. — Я верю каждому твоему слову, я прошу только, подними трубку: буду в пять, в десять, в двенадцать. Аленок, только подними трубку...

— Я не хочу поднимать трубку, — сказала Аля. — Ты требуешь от меня отчета. Я не хочу давать отчета. В России отчитываются, а здесь не Россия. Саша, здесь не отчитываются: каждый живет, как ему нравится.

— Аленок, — Саша схватился руками за голову, — ты обезумела! Как ты будешь жить? Одна?

— Саша, — сказала Аля, — это неправда, что я не люблю тебя. Я люблю тебя.

Аля подошла к Саше, обняла, поцеловала. Саша упал на колени, обхватил Алины ноги, прижался, запричитал, как будто маленький мальчик, не хочет отпускать маму:

— Ты не уйдешь, я не отпущу тебя! Ты не уйдешь, не уйдешь! Я умру без тебя! Аля, я умру!

Аля положила руки Саше на голову, ерошила волосы, он терся лбом о ее бедра, Аля не выдержала, сама заплакала:

— Саша, ну зачем я тебе такая? Зачем ты держишь меня? Саша, прошу тебя, умоляю: отпусти, не держи меня!

Саша, когда услышал эти слова, еще крепче ухватился за Алю, как будто от этого, насколько крепко он ухватился, зависело, сможет удержать ее или не сможет.

Аля почувствовала, к Саше вернулись силы, резко, накатила вдруг волна ярости, оттолкнула его, но тут же, чтобы Саша не подумал, будто движет ею враждебное чувство, взяла себя в руки и сказала:

— Саша, наверное, я люблю тебя. Я не знаю: наверное. Отпусти меня, я разберусь. Я вернусь к тебе. Милый, родной, единственный, я вернусь к тебе. Обязательно вернусь. Но отпусти меня. Очень прошу тебя: отпусти.

Саша, как будто внезапно подменили человека, встал, выпрямился, сказал, он вывез Алю, он в ответе за все — и будет отвечать до последнего вздоха.

Аля засмеялась:

— Саша, ты глупый. Ты глупый мальчик. Ты не можешь отвечать за меня. Никто не может. Подойди, я поцелую тебя. А теперь поцелуй меня. Саша, почему меня все любят? Объясни: почему?

Саша бормотал, будто стал забирать неодолимый сон:

Аленок, единственный, самый любимый, самый лучший, самый чистый.

— Саша, — сказала Аля, — ты — эгоист. Если бы ты знал, какой ты чудовищный эгоист.

XX

К Севе приехал гость из Тель-Авива, Симон Барац, математик. Докторскую Симон защитил в Одессе, у знаменитого Крейна, Макса Григорьевича. Про Крейна Симон говорил, что он гениальный математик, и академик Колмогоров, застенчивый юдофоб, как наблюдается порою среди ломоносовых и лобачевских, тоже говорил про Крейна, что он гениальный, и даже выдвигал его на Ленинскую премию, о чем сделал публичное заявление в газете „Известия” — органе Президиума Верховного Совета СССР.

Сева сказал, ученик чародея — чародей. Означает ли это, что ученик гения — гений? Симон ответил, что не обязательно, но в данном случае именно так, как бывает у чародеев.

Мари-Луиз сказала Севе:

— Сева, разве ты не говорил, что Симон настоящий гений?

— Симка, подлец, — воскликнул Сева, — ты подслушал мой разговор с Мари-Луиз, и теперь выдаешь мои слова за свои!

Саша сказал, едва ли имело место прямое, как практикуется Галиной Борисовной, то есть ГБ, подслушивание. Вероятнее всего имел место другой эффект — телепатический.

Телепатия, сказал Сева, то же подслушивание, санкционированное самой природой. Телепаты — первые в истории человечества профессиональные шпионы и агенты секретной службы. Телепаты доносили в небесную канцелярию о настрое-

ниях и греховных помыслах первопоселенцев Земли. Вопреки распространенному мнению, Господь не занимается прямым сбором сведений, а получает их через своих осведомителей – невидимых, каковы суть серафимы и ангелы, и видимых, каковы суть люди. Человек рожден, чтобы высматривать, выслеживать и доносить. Донос – основа социальной жизни. Уничтожьте донос – распадется общество. Наиболее совершенная и массовая форма доноса – печать в свободном мире. С приходом Андропова и Горбачева советская печать начинает отправлять нормальные, свойственные всякой прессе, функции. Исключая семилетие Ленина, советская печать представляла собою, по сути, антипечать.

Симон сказал: Сева – циник. Цинизм – это подмена субъекта в правильной посылке. В данном случае понятие информации подменено понятием доноса. В действительности же донос есть частный случай информации. Всякая форма коммуникабельности – процесс информативный. Донос включен в этот процесс, но не исчерпывает его.

Так, кивнул Сева, есть еще самодонос. Из трехсот тысяч сожженных на кострах инквизиции – три четверти сожжены по самодоносу.

Сева налил всем водки: выпьем за радетелей, облегчающих бремя отцам-инквизиторам, выпьем за помин души самодоносчиков!

Аля спросила: в чем различие между доносом и самодоносом? Допустим, девочка донесла на своего отца. Отца посадили. Отец отсидел свои пятнадцать суток – и вернулся. Девочка, страшись встречи с отцом, бежала из дому, полагая, что в бегстве – спасение. Девочка ошиблась: в бегстве не было спасения. Всюду, куда девочка ни прибегала, она слышала голос: „Ты донесла”. И девочка отвечала: „Я донесла. Я ... доносчица”.

Аля спросила: что это — донос или самодонос?

Симон сказал: это — классический пример диалектического перехода доноса в самодонос. У девочки была потребность открыть себя и узнать. Случайно предать отца нельзя. Для этого должны быть фундаментальные предпосылки. Но возникает вопрос: кого в действительности предавала девочка — отца или себя? Отец отбыл свои пятнадцать суток — по советским условиям, дом отдыха — и воротился домой. А девочка, как горбун, должна таскаться всюду со своим горбом, обреченная объяснять каждому встречному-поперечному, откуда и отчего у нее горб.

— Девочка, — сказал Сева, — сама приделала себе горб, потому что горб — это вещь, не заметить горбатого нельзя.

— Горб, — кивнул Саша, — это вещь, но не та вещь, которую хочется показывать.

— Он прав, — сказал Симон, — горб не та вещь, которую хочется показывать. А если хочется, тогда возникает новый вопрос: почему хочется?

— Потому и хочется, что лучше быть горбатым, но замеченным. Аля, — обратился Сева, — могла девочка оставаться незамеченной? Или не могла?

— Сева... — Аля смотрела удивленно, было впечатление, что не понимает вопроса.

— Да или нет? — требовал Сева. -- Отвечай прямо: да или нет?

— Я не знаю, — ответила Аля. — Сева, ты хочешь, чтобы я сказала: эта девочка — я. Да, эта девочка — я. Но я не знаю, да или нет. Не знаю.

Саша, пока шел разговор между Севой и Алей, проводил ногтями по зубам, на мгновение задерживался и обгрызал. Аля взяла Сашу за руку, пыталась остановить, он выдернул, захватил ногти зубами и продолжал обгрызать.

Вернемся к нашему субъекту, сказал Симон. Это не имеет значения, что знал и чего не знал субъект, то есть девочка. Нас интересует феномен. По каким причинам система восстает против себя. Девочка, назовем ее системой *A*, восстала против отца, назовем его системой *B*. Учитывая результаты этого восстания — система *B* сохранила свою стабильность, система же *A* дестабилизирована, и невозможно предвидеть всех последствий этой дестабилизации — можно сказать, что имел место не донос, а самодонос. Система *B*, то есть отец, не была объектом доноса и, соответственно, предательства, а была лишь провоцирующей средой. Отвлекаясь от второстепенных деталей, резюмируем: цель системы *A* — самоизобличение, а не изобличение системы *B*.

Сева спросил:

— Кому нужно это самоизобличение? Для чего?

Симон пожал плечами: смотря в каких терминах решать. В математических и физических — одно, в социальных, этических — другое. Если Эйнштейн прав и причина правит Вселенной, должен существовать сверхязык — космический ... синтез математики, физики и этики.

Сева сказал, свое пятидесятилетие, которое имеет быть осенью сего года, профессор Симон Барац отметит трактатом „Апология доноса и сверхязык Вселенной”.

— Bravo, — воскликнула Мари-Луиз, — bravo! В Принстоне, когда мы ходили смотреть дом Эйнштейна, Сева говорил то же самое: если старпер Эйнштейн прав и каузальность души Универсума, должен существовать космический язык ... синтез математики, физики и морали. Сева, помнишь, ты говорил, что квантовый мир, где все такая случайность, immoralен, но каузальный мир не может быть immoralным. Причина — всегда моральна, потому что есть так, как должно быть.

Люди могут не понимать, почему так должно быть, но так есть — потому что так должно быть.

Саша перестал обгрызать ногти, внезапно вскочил, набросился, чуть не с кулаками, на Мари-Луиз:

— Чушь! Собачья чушь! Во-первых, квантовый мир — микрокосм. У микрокосма свои законы, у макрокосма — свои. Во-вторых, мораль, этика — понятия человеческие, и никакого отношения ни к вероятностному, ни к причинному, каузальному, миру не имеют. То есть, нет, — поправился Саша, — имеют, но только к человеку, а человек, — Саша поднял ладонь,дохнул, как будто сдувает пылинку, — вот — и нет человека!

Аля сказала, Саша злится неизвестно почему и на кого, и говорит глупости, а на самом деле сам доказывал, что раз существует человек, значит, существует мировой разум, от которого человек произошел. И человеческий мозг — это проекция Вселенной, как чертеж — это проекция дома или машины. И раз существует человек, как проекция мира, значит, человеческая мораль — проекция мировой морали.

— Саша, — обратилась Аля, — ты говорил так или не говорил?

Саша замахал руками: при чем здесь говорил или не говорил?

— Да или нет? — требовала Аля. — Отвечай прямо: да или нет?

Зеленые Алины глаза сделались круглые, как будто обвели циркулем и чуть-чуть растянули по уголкам. Симон внимательно смотрел, вроде только что увидел Алю. Аля, хотя вся обращена была на Сашу, машинально повернулась, на мгновение встретились глазами, Симон тут же отвел, указал пальцем на Сашу и сказал:

— Саша прав: микрокосм — это микрокосм, а макро-

косм — это макрокосм. Законы Кеплера не работают в микрокосме, волновое уравнение Шредингера не работает в макрокосме. Тем не менее, оба мира, микро и макро, двуединое начало, и человек — его производная. Эйнштейн, со своим пантеизмом от Баруха Спинозы, пришел к надличному Богу. Надличному в отношении человека. Но сама Вселенная есть Бог, личность. Личность — это нравственное понятие, ибо личность восстает на себя и борется с собою, борьба же — противостояние добра и зла, которые взаимно трансформируются, переходя одно в другое. Что такое болезнь? Зло? У Паскаля тяжкая болезнь — в глазах медицины, несомненное зло — повлекла за собою духовное прозрение. Педерастия Марселя Пруста и его астма, которая в конце концов свела его в могилу, выкристаллизовали в нем, через экстаз и страдание, чувство мгновения как временной протяженности. Пруст обнаружил: мгновение не случайный, мимолетный продукт, как виделось гетевскому Фаусту — остановись, мгновение: ты прекрасно! — а звено в чувственном и интеллектуальном опыте индивида, с долгой историей и предисторией. Эйнштейн и Пруст, евреи до мозга костей, открыли почти одновременно: нет абсолютного времени — время относительно. Оба — сознательно или бессознательно — черпали из одного источника. Из Ветхого Завета, восьмьдесят девятый псалом, молитва Моисея: пред очами Господа тысячелетие — как мгновение.

— Врешь! — Сева налил стакан, выпил залпом. — Врешь, Симка! Молитва Моисея, человека Божия, стих пятый: „Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи”. Никакого мгновения здесь нету. А открыл мгновение, как спрессованное время, Достоевский. Не было бы Достоевского — не было бы твоего Эйнштейна с его теорией относительности. Раскольников, и Карамазовы, и сумасшедший Мышкин, и все бесы — каждый в своей

системе координат. Каждый выбирал произвольно, выбирал с даденным себе самому правом на выбор, ибо все точки отсчета суверенны и равны. И в системе отсчета старухи, которую Раскольников ахнул топором, действия Раскольникова были непредсказуемы; и самоубийство Ставрогина, на которого делал ставку бес Петр Верховенский, в системе отсчета беса Верховенского тоже было непредсказуемо.

— Стоп! — сделал рукой Симон.

— Нет, не стоп, — совсем разошелся Сева, — и ваш Эйнштейн сам признавал, что Достоевский дает ему больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс!

— Славянская душа, — сказал Симон, — понимаешь ли ты, славянская душа, что такое для талмудиста мгновение? Ты думаешь, талмудист — это профессия, род занятия, как какой-нибудь доктор или инженер. Талмудист — это интим со Вселенной, это сакральное ощущение Предвечного, перед которым не только стража в ночи, не только день вчерашний, когда он прошел, но все пятнадцать или двадцать миллиардов лет Вселенной, считая от Большого Взрыва, — мгновение!

— Ты передергиваешь! — закричал Сева. — Вы все мастера передергивать. Передергивать — это ваше призвание. И Авраам ваш передергивал, когда выдавал свою Сарру то за жену, то за сестру, как было выгоднее. И Иаков, тихоня и миротворец, когда объегорил, околпачил этого Иванушку-дурачка Лавана, отвалил ему в стадо козлов без мудей и дохлячих овнов!

— Сева, — Аля смотрела в упор, не мигая, — Сева, ты — антисемит. Сева, ты махровый антисемит.

Мари-Луиз сказала, Сева не антисемит, наоборот, Сева очень любит евреев, и все друзья у Севы — евреи.

— Заткнись, — приказал Сева, — заткнись, американская инфузория! Да, я — антисемит. А что, нельзя быть анти-

семитом? Кто запретил? Скажите мне: кто запретил? А я вам скажу, кто запретил: евреи, жида запретили! Ступить нельзя, плюнуть негде — везде евреи: то Заповеди, то байстрюк из Назарета, то Барух-стекольщик, самый благочестивый из сумудров, то Карла-баламут, каких свет не видел, то этот из Вены, забрызгал жидовской спермой и закомплексовал весь мир, потому что с пеленок хотел поймать всех баб, включая собственную мать. Все порядочные люди — антисемиты. Евреи сами, каждый второй, антисемиты. Она одна, — Сева простер руку в сторону Али, — она одна — святая, на нее молитесь.

Сева подошел к Але, сложил руки на груди, Аля растерялась, глаза блеснули, казалось, вот-вот заплачет, Саша сказал, уйдем отсюда, Аленок, уйдем отсюда. Аля поднялась, Саша взял за руку, заметно было, что тянет с силой, сначала Аля поддалась, но вдруг уперлась, выдернула руку и громко сказала, Саша, если ему неинтересно, пусть идет, это его личное дело, а ей здесь интересно — она остается.

Саша побледнел, на лице была растерянность и недоумение, снова взял Алю за руку, было впечатление, что опять начнет тянуть за собой, Аля смотрела пристально, Сева, Мари-Луиз и Симон тоже смотрели, Саша отпустил Алину руку, пожал плечами, сделал шаг к дверям, обернулся, неожиданно, вроде самому стало очень смешно, засмеялся, вернулся к столу и сел, как сидел прежде.

— Саша, — повторила Аля, — если тебе неинтересно, не обязательно оставаться. А мне, — сказала Аля, — очень интересно.

Симон приветливо улыбнулся, сделал Саше знак рукой, одобряя его решение остаться, повернулся к Севе и, как будто не было никакого перерыва в разговоре, продолжал:

— Юдофобство — последнее прибежище негодяя. Вы никогда не простите нам ни Заповедей, ни Христа. Заповеди

и Христос — зеркало мира, космический рефлектор, в котором кривляются и корчатся ваши рожи без грима.

— А ваши? — схватился Сева.

— И наши, — сказал Симон. — Но это зеркало, этот рефлектор создали мы. Мы произвели его из недр своих. Он наш. Не взятый напрокат, не заимствованный. Вот, — Симон указал рукой на Алю, — ты призвал молиться на нее: она святая. Ты учуял: она — из семени пророков. У нее, как у них, у пращуров ее — интим со Вселенной.

Сева развел руками:

— Случай. Она могла родиться и не еврейкой.

Нет, сказал Симон, Аля не могла родиться нееврейкой. Она могла родиться только еврейкой, и никакого случая здесь нет. Биологический и добиологический ряд, сколь бы протяженным он ни был, ведет к изначальным условиям, в которых с неизбежностью предопределялось ее иудейское „я”.

Аля подняла руку, как будто школьница, идет урок в классе, спросила Симона, можно ли перебить его, Симон разрешил, можно, Аля сказала:

— Симон, мои папа и мама евреи, но почему я обязательно еврейка? Почему обязательно? Иногда я чувствую, знаю: я — христианка. Иногда буддистка. Иногда мусульманка. Когда я смотрю на крест, я вспоминаю: меня распяли. А из пагоды, я отчетливо вижу, выходят люди в белых одеждах, выносят урну и на берегу реки над водами развевают пепел. Этот пепел — я, меня сожгли. А молодой месяц и звезда с вогнутой стороны, когда я долго смотрю, это я сама, и бледная часть диска — это чадра, которую я сняла, потому что я одна и никого, кто мог бы подсмотреть, рядом нет.

Симон сказал, это игра воображения, черпающего свой строительный материал из школьной подготовки индивида.

Несомненно, однако, между игрой воображения и генетическим рядом индивида существует связь, которая предпочтительно реализуется в тех или иных биологических и исторических моделях.

Саша сказал, в ретикулярной формации, древнейшем отделе мозга, восходящем к рептилиям и земноводным, можно еще и не то найти. Можно таких монстров найти, что только ахнешь.

Аля пожала плечами:

— Саша, при чем здесь рептилии и земноводные? Саша, тебя научили в институте, и ты повторяешь, как попугай. А Симон говорит совсем о другом: что существуют индивиды, у которых интимная связь со Вселенной. Симон, — обратилась Аля, — так или не так?

Симон подтвердил, так, но Саша, в онтогенетическом и филогенетическом плане, тоже прав. Однако онтогенез и филогенез — акты биологической эволюции, то есть позднего этапа Вселенной. Мы же говорим об изначальной связи со Вселенной.

-- Нонсенс, — перебил Сева, — абракадабра! О какой изначальной связи со Вселенной может идти речь, если мы не знаем и никогда не узнаем ни начальных состояний мира, ни начальных состояний субъекта!

— Об этом, бедный Йорик, — подхватил Симон, — и толкуем. Аля интуитивно чувствует: ей дано. В индивидуальном чувственном опыте нет ключа к ее состояниям. Стало быть, ключ вне индивидуального ее опыта: и ключ к отношениям с отцом, и ключ к трансформациям, которые, по первому впечатлению, представляются случайной игрой воображения, а на самом деле составляют основу ее личности. Причина трансцендентальна. Человечество знает только ближайшие к нему по времени следствия, которые принимает за причину. Француз

Лаплас говорил: состояние системы в данный момент определяется его состоянием в предыдущий момент. Дайте мне все состояния и все отношения объектов Вселенной в данный момент, и я вычислю их состояния и их отношения на все времена в прошлом и в будущем. А через полтора века другой француз, математик Пуанкаре, сказал: пусть мы знаем все о состоянии Вселенной в данный момент, но будущее скрыто от нас непроницаемой завесой, ибо непроницаемой завесой скрыто от нас прошлое. Дверь в будущее — прошлое. А настоящее — это комната без окон, без дверей, избушка на курьих ножках среди леса, который неизвестно где начинается и неизвестно где кончается.

Симон подошел к Але, протянул руки, ладонями кверху, велел, пусть Аля положит, ладони к ладоням, свои руки и пусть попытается описать, что она в данный момент видит и чувствует.

— Ты, плешистый гений, — схватился Сева, — перестань давить на психику ребенка!

Аля сказала Севе, она не ребенок, фребеличка не требуется. Симон наклонил голову, встретились глазами, Симон осмотрел внимательно, сказал, не надо обращать внимания на толпу, толпа — это зависть, толпа — это пошлость, и повторил задание: пусть Аля попытается описать по порядку, что в данный момент она видит и чувствует.

— Расслабьтесь, — приказал Симон, — вы напряжены. Я чувствую, вы напряжены. Расслабьтесь.

Аля расслабилась, закрыла глаза, сказала, она что-то видит, но что, понять не может, какая-то тьма, черный туман, клубится, уже не черный, сереет, что-то мельтешит, копошится, как мельчайшие точки света, но света нет, непонятно, откуда свет, все беспорядочно, порядка нет, ощущение хаоса...

— Стоп! — приказал Симон. — Это главное: порядка нет.

Хаос. Всякому упорядоченному, организованному видению предшествует — у одних секунды, у других мгновение, доли секунды — ощущение хаоса. Затем, вдали, будто на расстоянии, которое воспринимается одновременно как пространственная и как временная протяженность, начинает возникать организованный материал — образ.

Симон велел Але прижать ладони крепче, как можно крепче, и описать, что она видит теперь.

— Солнечный луч, — сказала Аля, — клубятся пылинки, движение их беспорядочно, иногда плавное, иногда рывками, как будто погоня... убегают... из луча в тень... норовят скрыться... Чердак. На чердаке девочка. Мальчики. Два мальчика. Девочка лежит...

— Аля, — Саша вскочил, замахал руками, — идем! Я приказываю тебе: идем!

Аля, как будто Сашин приказ, Сашины слова не к ней, прижала, как велел Симон, свои ладони к его ладоням крепче и продолжала ровным, вроде со сна, голосом:

— Мальчик поднял платье. Смотрит. Хочет потрогать. Потрогал. Говорит другому: потрогай. Тот протягивает руку. Отдергивает. Плачет. По щекам текут слезы... Девочка говорит: мальчики, у меня обморок. Когда обморок, человек не видит, не слышит, не помнит...

— Прекрати! — приказал Саша, руки сжались в кулаки. фарфоровый глаз, как будто обрызали ледяной водой, сделался холодный, блестящий. — Прекрати!

— Дерутся, — сказала Аля. — Мальчики дерутся. Один схватил палку. Целится. В глаз. Ах! — Аля вся задрожала. машинально подалась к Симону, тот придержал руками, чтобы не упала. — Ах, — вскрикнула Аля, — ударил!

Мари-Луиз захлопала в ладони:

— Браво! Так интересно!

Саша стоял бледный, на губах, из угла в угол, пробежала улыбка, вынул из кармана платок, потер глаз, как будто что-то попало и беспокоит. Аля подошла к Саше:

— Саша, почему ты боишься правды? Ты сам учил меня: не надо бояться правды. Учил или не учил?

Саша пожимал плечами, как будто не понимает вопроса, Аля повторила:

— Отвечай: учил или не учил?

Да, ответил Саша, учил. Но при чем здесь правда?

Саша прав, воскликнул Симон, в данном случае не имеет значения, восстанавливала Аля реальный физический факт или представила вымышленный, выдуманный эпизод. Главное здесь не это, главное здесь — движение от хаоса, от беспорядочных разрядов в подкорке, субцеребральных шумов, к коре, где хаотические обрывки памяти индивида организуются в упорядоченный материал надличного опыта индивида. Пройдя стадию раставрации, материал отчуждается от индивида и поступает в общее хранилище информации, в сейфы Вселенной.

— Какие хранилища информации? — вскинулся Саша. — Какие сейфы Вселенной? Венчальное кольцо, кольцо Нибелунгов, кольцо Сатурна! — засмеялся Саша. — Мифология с голографией, натюрморт с маслом для фортепиано с оркестром!

Именно так, подхватил Симон: мифология с голографией, натюрморт с маслом для фортепиано с оркестром. Информация не исчезает. Информация подчиняется тем же законам, что энергия, переходя из одного вида в другой. Любая химическая реакция, любое физическое действие или биологический акт — процесс информативный. Их параметры уходят в бесконечную даль прошлого, как уходит в прошлое, на десять или пятнадцать миллиардов лет назад, воспринятый нами сегодня луч звезды, отстоящей от нас на пятнадцать миллиардов световых

лет. Звезды, которой нет уже, может быть, пять или десять миллиардов лет.

— Саша, — сказала Аля, — Симон прав, а ты неправ. Саша, ты должен признаться: я неправ.

— Я ничего не должен, — разошелся вдруг Саша. — Аля, я ничего не должен!

Симон одобрил Сашу: да, он ничего не должен. Это вопрос не куртуазности — это вопрос гносеологии, эпистемологии.

— Профессор, — перебил Сева, — выражайтесь доступным народу языком: выходи, Маруська, до ворот, только без трусов — большой разговор за теорию познания будет.

— Сева, — сказала Аля, — это пошлость.

Симон махнул рукой, пустяк, не надо обращать внимания, продолжал свое:

— Человек — это Вселенная. В Торе сказано: создан по образу и подобию Божию. Познать самого себя — это познать мир, со дня сотворения. Электрон, приложенный к процессу на одну миллиардную долю секунды раньше или одну миллиардную долю секунды позже, изменит весь ход процесса. Влечения и акции индивида хранят свои истоки в тайниках прошлого, запечатанных наглухо. Наглухо и навсегда. Никакого случая, никакой случайности нет. Случай и случайность — категории человеческого познания, но не категории реальности. Этика — продукт веры, и, как вера, не признает случайности: икс поступил так, потому что он — икс: игрек поступил так, потому что он — игрек. С точки зрения реальности, он не плохой, не хороший: он — икс, он — игрек. И тут этика приходит в противоречие сама с собой: она говорит, икс — хороший, а игрек — плохой. Или наоборот: игрек — хороший, а икс — плохой. Икс и игрек, физически однозначные во все времена, этически, в зависимости от времени, менялись и всегда будут меняться местами. Юлий Цезарь был плохой: он хотел погубить

республику. Нет, плохие были его убийцы, а Юлий Цезарь был хороший: он создал Римскую империю. Ленин был плохой, был злой, как и его брат, которого повесили: они хотели разрушить империю. Нет, Ленин был хороший и добрый: он создал советскую власть, советскую республику.

Саша сказал, это прописи, в марксизме это называется классовый подход или партийность в литературе.

Нет, сказал Сева, это не прописи. Это гораздо хуже: это аморалка, обрядившаяся в математическое шматье.

— Сева, — пожала плечами Аля, — ты говоришь глупости: ты не математик, а Симон — математик.

— Сева прав! — воскликнул Симон. — Всеволод, ты сто раз прав: аморалка, одетая в математическое шматье. Математика аморальна. Для математики нет плохого, нет хорошего: для математики есть данное, данность. Она, — Симон указал рукой на Алю, — привела пример: девочка донесла на отца, отца посадили. Еще один пример, который мы только что наблюдали: у индивида поток сознания, в потоке возникает картина на чердаке — девочка симулирует обморок, два мальчика, антиподы по характеру, рассматривают ее гениталии. Один, как было сказано, идет дальше: исследует тактильно. Что это: хорошо или плохо? Сегодня этика говорит: это плохо. А три тысячи лет назад в Египте, в праздник фаллоса, когда мамы напару с дочками таскали двухметровый деревянный член, сгибаясь под тяжестью, это было благо. А две с половиной тысячи лет назад, в Вавилоне, когда мама зазывала с улицы фланера, не денег ради, а так, просто повеселиться, а фланер тут же, вместе с мамой, поимел и дочку, это было благо. Мы знаем, что об этом говорила этика тогда, что говорит — теперь. Но мне этого мало: этика — это суд, этика выносит приговор по делу. А я хочу знать дело, его суть, изначально, без приговора. Приговор вынесут без меня.

— Ты лжешь! — вскочил Сева. — Ты лжешь, сукин сын! Это все талмудические ваши трюки: ты вынесешь приговор, если понадеешься иметь хороший процент, по-нашему, по-русски, барыш, и наоборот, скажешь, нет, не надо приговора, надо просто так, ради голого интереса, если гешефт не стоит, как говорят у вас в Одессе, выеденное яйцо!

— Сева, ты хамишь, — Аля смотрела удивленно, глаза сделались большие, круглые. — Сева, почему ты хамишь?

Симон засмеялся: Юпитер, ты хамишь, следовательно, ты неправ, Юпитер.

— Заткнись, — совсем потерял контроль над собой Сева, — никакой я тебе не Юпитер, плешивый авгур! Я твою породу насквозь вижу: охмурить, увести кобылу из стойла!

Мари-Луиз ткнула себя пальцем в грудь:

— Кто кобыла? Я кобыла?

Сева не ответил, пропустил мимо ушей, набросился на Сашу:

— А ты, Эскулап, что, оглох, ослеп? Из стойла, — Сева затряс кулаками, лицо сделалось багровое, — из стойла уводят!

— Ну актер, — Симон ударил в ладони, с переменным ритмом, получилось, как будто аплодируют в зале, — ну, Севка, ты гений!

— Аля, — Саша подошел, схватил за руку, повернулся ко всем спиной, потянул с силой, — идем отсюда! И больше нашей ноги здесь не будет. Идем отсюда!

— Саша, — Аля выдернула руку, — я не хочу идти. Я не пойду. Ты хочешь — иди. А я не пойду.

— Аля, — Саша повернулся, топнул ногой, — нам плюют в лицо! Понимаешь: плюют в лицо!

Симон сказал, он не знает, в чем его вина, но готов извиниться.

Аля покачала головой:

— Никто не плюет нам в лицо. Это Саша плюет и хочет, чтобы я тоже плевала. Саша, — сказала Аля, — я не буду плевать людям в лицо.

Симон подошел к Саше, взял под локоть:

— Извините ради Бога: я чувствую, что-то не так. Извините.

Сева, как будто не кричал, не махал кулаками, как будто все просто так, шутка, засмеялся:

— Александр, отец родной, Христа ради прости ты баламутов, отпусти хриstopродавцам!

— Ярмарка, — Саша встал у дверей, рванул на себя, поддал ногой, чтоб больше распахнулась, — балаган, скоморохи!

— Саша, — крикнула вдогонку Аля, — закрой, пожалуйста, двери.

Мари-Луиз пожала плечами: Саша всегда такой вежливый, приветливый, какая муха его укусила?

Сева налил себе остаток водки, чокнулся о порожний стакан — лехаим! — и забормотал:

— Муха, муха, цокотуха, позолоченное брюхо, муха по полю пошла, муха денежку нашла...

— Пошла муха на базар и купила самовар, — подхватил Симон. — Вот именно: нашла денежку, пошла на базар и купила...

— Самовар! — радостно воскликнул Сева.

При всей неординарности картины, сказал Симон, мы относимся к ней с полным доверием. Совершенно очевидно, что цокотуха в данном случае такой же индивид, наделенный свободной волей, как и всякий другой индивид.

— Но, — Симон выбросил правую руку, указательный палец вперед, как будто допрашивает или угрожает, — кто скажет нам, почему, найдя денежку, именно на базар пошла цокотуха, хотя наверняка имелись и другие торговые точки, почему

именно самовар купить, а не, скажем, чайник, из которого также можно напоить гостей, которых она собиралась пригласить?

Сева сказал, это было определено конкретными физическими условиями и обычаями края, где самовары предпочитали чайникам или иным сосудам для кипячения воды.

— Предпочитали, — тряхнул головой Симон, плешь покраснела, рыжие волосы, взметнувшись, опали на плечи, — но при этом сохраняли свободу выбора: или самовар, или чайник, или чугунок, такой же популярный предмет кухонной утвари. Цокотуха же выбрала самовар. У нее даже мысли не возникло, что можно бы отовариться чем-нибудь иным, подешевле, а на сбереженные копейки купить пирогов, конфет или, скажем, восточных сладостей, которые также весьма пришлись бы к столу. Девочка, о которой рассказывала Аля, вела себя, по сути, так же: она могла не симулировать обморока, могла сказать мальчикам, уходите, я расскажу маме, папе, бабушке, но не сказала. Что это: акт свободной воли? Какой-нибудь моралист скажет, да, акт свободной воли. А математика говорит: дайте мне изначальные условия индивида, его онтогенез и филогенез, дайте мне историю типа и архетипа, и я покажу вам, что могло быть только так, как было — иначе быть не могло.

— А вот я сейчас, кауза каузарум, дам тебе в морду, — сказал Сева. — Весь мой онтогенез и филогенез, вся история типа и архетипа вопиют ко мне: дай ему в морду!

— Допустим, — засмеялся Симон, лицо заметно побледнело, — допустим, дашь. А почему? А потому, что довод кулака — последний довод, даденный тебе в удел от твоих предков с Волги или Валдая. А заведешь кулак — тут же расквесишься, и зачнешь стучаться в собственную грудь, как в чужую дверь: и зачем я такой, зачем не другой!

Сева вынул из кармана очки, надел, стал внимательно

всматриваться, как будто до этого не видел, Симон подошел, раскрыл руки, подставил грудь:

— Ударь, — сказал Симон, — ударь. Нет, — покачал головой Симон, — не ударишь. Бицепсы, и трицепсы, и рычаги — весь механизм в комплекте. А не ударишь, Всеволод: не та программа.

Сева весь напрягся, глаза сделались белые, как будто взбили известковую пену, оперся руками о подлокотники, стал подыматься, Аля вскочила, заслонила Симона, закричала:

— Сева!

Сева стоял, слегка покачивался, снял очки, протер большими пальцами, аккуратно сложил, спрятал в карман, кивнул в Алину сторону:

— Ей скажи спасибо.

— Bravo, — захопал в ладони Симон, — bravo, Всеволод! Оптимальный расчет: система приводится в экстремальное состояние, на границе с неизбежной потасовкой двух интеллектуалов, икс и игрек, при одном существенном ограничении: если не вмешается прелестная Дульцинея Тобосская, в нашей системе — зет. Может ли случиться, что зет не вмешается? Не может, ибо этическая структура зет такова, что не допускает подлога или розыгрыша. В космической функции зет мнимые величины, подлог и розыгрыш, приемлются как действительные, и фарс оборачивается добротной, полновесной драмой, в которой размахивающий кулаками игрек на мгновение оказывается в фокусе внимания прекрасной зет.

Сева опустил в кресло, вид был усталый, как будто после долгой дороги, взял Алю за руку, зажмурил глаза и пробормотал:

— Симка, ты дурак.

Сева обнял Алю за талию, хотел усадить на колени, Аля увернулась, сказала Севе:

— Сева, держи себя в руках.

— Держи себя в руках, — подхватил Симон. — Говоря без метафор, система стремится к гомеостазису, к равновесию. Но игрек хочет навязать системе свою волю. Возложив десницу на бедро зет, он, возможно, по праву, которое, как представляется ему, заключено в его прошлом опыте, стремится нарушить динамическое равновесие. Скажите, Аля, — обратился Симон, — нет ли у зет ощущения, что ее захватила волна физического противостояния? Обратите внимание, я не говорю, волна этического, а подчеркиваю, именно физического противостояния?

Да, подтвердила Аля, она действительно чувствует это: волну физического противостояния.

— Именно! — воскликнул Симон. — Для нравственной, для этической оценки, какую предполагает свободная воля индивида, у зет не было времени, ибо реакция должна быть мгновенной.

Сева схватился обеими руками за голову, как будто лопается от боли. Мари-Луиз подошла к Севе, положила руку на плечо, Сева скосил глаза, сбросил руку. Мари-Луиз улыбнулась, погрозила пальцем:

— Сева, держи себя в руках!

Сева, наоборот, вместо того, чтобы, как просили, держать себя в руках, вскочил, схватил Алю, вроде кавказский абрик, поперек туловища, перебросил через плечо и поскакал к спальне.

Мари-Луиз бросилась к Симону, обхватила руками за шею, повисла и закричала:

— Воруй меня тоже!

Аля брыкалась, колотила Севу кулаками по спине. В дверях застряли, Сева топал на одном месте ногами, как будто нетерпеливый скакун на манеже, Аля изловчилась, схватила сзади за волосы, стала дергать, вроде в самом деле

конская грива, Сева замотал головой, швырнул Алю на диван, сам бросился сверху, было впечатление, что хочет взять силой, но, оказалось, просто игра, Аля толкнула руками в грудь, Сева свалился на пол, и так, на полу, лежал, пока Аля не приказала встать и не усадила рядом с собой на диване.

Оба молча наблюдали, как Симон пытается стряхнуть Мари-Луиз, та крепко сжимала руками и ногами, Симон, от напряжения, сделался красный, как рак, собрал все силы, крикнул, как будто Галилео Галилей перед судом инквизиции, „А все-таки она вертится!“ — и, наконец, стряхнул. Мари-Луиз взяла со стола салфетку, промокнула лицо, губы, отпечатались два малиновых пятна, скомкала салфетку, движения были нервные, судорожные, бросила комок на стол.

Аля гладила Севину руку, Сева не реагировал, сидел неподвижный, будто напал столбняк.

— Сева, — спросила Аля, — почему ты дуешься? Потому что у тебя не получается, как тебе хочется? А почему должно получаться, как тебе хочется? Сева, — Аля покачала головой, — ты эгоист и портишь всем настроение. Ты требуешь внимания и жалости и хочешь, чтобы все занимались тобой.

— Вот именно! — подхватил Симон, голос, после большой физической нагрузки, срывался. — Игрек, как было очень умно замечено, хочет быть в фокусе внимания. Это вызывает противодействие других компонентов системы. Что имеет место в данном случае: состязание свободных волей? Но совершенно очевидно, что свободная воля, если бы таковая действительно имела место, не ставила бы перед игроком задачу, удовлетворительное решение которой при данных параметрах системы невозможно.

Аля сказала, Сева ведет себя так, как будто не понимает, что свободной воли нет.

— Сева, — покачала головой Аля, — свободной воли нет. Свободная воля — это выдумка, это красивая сказка.

— Совершенно верно, — подтвердил Симон, — красивая сказка, выдумка, фикция. Поскольку прошлое индивида скрыто от нас в тумане тысячелетий, мы принимаем его действия за акт свободной воли, будто поступок, совершенный однажды, индивид может повторить, доказывая тем самым, что действовал по собственному выбору.

Аля сказала, можно повторить поступок, но нельзя повторить время, время будет уже другое, и, значит, поступок не тот, который был, а другой.

— Устами младенцев, — воскликнул Симон, — глаголет истина! Можно остановить Солнце, Иисус Навин остановил. Но остановить время нельзя. Следовательно, тот же поступок, как сказала Аля, будучи повторен и во всем остальном похожий на предыдущий, над пропастью времени в действительности уже подвязан к другим гилям. Нет способа доказать, что, совершенный в первый раз, поступок мог быть иным или, тем более, вообще исключен из опыта индивида. Степени свободы индивида, как мы представляем себе их, не более чем математическая модель троглодита, который возмнил себя интеллектом на том основании, что он сам сооружает для себя Эмпайр Стейтс Билдинг, берлогу в сто этажей над землей, в то время как его современник косолапый мишка Потаных заваливается на спячку в лесной берлоге.

— Симон, — обратилась Мари-Луиз, синие глаза сделались круглые, как будто вырезали кружочки из синей слюды, с черными точками в центре, — вам не нравится Эмпайр Стейтс Билдинг? Вам больше нравятся ваши берлоги и на Арбате?

— Темнишь, мать! — нахмурился Сева. — Брось свой воночий бруклинский патриотизм. Ему и наше, и ваше, и его собственное — все коту под хвост. Ему, фарисею, что берлога.

что Эмпайр, что человек, что медведь — все едино, все пещерные хмыри, все троглодиты.

Симон развел руками:

— Всеволод, это демагогия.

Аля сказала, Сева сам прекрасно знает, что это демагогия. Симону нравится Эмпайр Стейтс Билдинг.

— Симон, — обратилась Аля, — правда, вам нравится Эмпайр Стейтс Билдинг? — Симон кивнул, нравится, Аля обрадовалась: — Вот видишь, нравится. Ты, Сева, не злишь. Старайся быть добрым, и ты поймешь. А ты не стараешься. Симон старается понять тебя, старается объяснить, а ты притворяешься, что не понимаешь. А на самом деле понимаешь. Ты просто капризный мальчик, который говорит наоборот и всем наперекор, чтобы не подумали, что у него нет своего мнения.

Сева, пока Аля говорила, откупорил бутылку, налил стакан до краев, поставил перед собой, осторожно, двумя пальцами, вроде выверял устойчивость, поворачивал влево-вправо, внезапно вскочил, стакан опрокинулся, потекло по столу, схватил Алю, притянул к себе, поволок к выходу:

— Умолкни, блаженная! Не отдам тебя! Никому не отдам! Тошно мне, постыло все, мерзость кругом — с тобой хочу, с одной, до гробовой доски!

Аля упиралась, у порога затеяли возню, Мари-Луиз поднялась, сказала, она здесь лишняя, Симону сказала, он тоже лишний, направилась к двери, попросила освободить проход, сама стала оттаскивать Севу, Аля воспользовалась, толкнула Севу кулаками, удалось вырваться, махнула Симону рукой, бай, он помахал в ответ, бай, оправила юбку, блузку, поцеловала ладони, провела несколько раз вдоль, чтобы немного разгладить, пнула ногой дверь, повернулась, на мгновение замерла, как будто раздумывает, и вышла.

Саша спал. Будильник поставил на пять тридцать: в семь

надо быть в госпитале. Але очень хотелось поговорить, обо всем, чтоб была ясность, все стало на свои места, но решила не беспокоить, пусть Саша выспится. Тихонько поцеловала в висок, коснулась губами лба, провела кончиком языка по уху, Саша внезапно, как будто и не думал спать, только приворялся, схватил Алю, обнял, вроде тысячу лет не виделись, и стал целовать, прижимать, тискать, как безумный.

Было приятное чувство, Аля не останавливала, сама чмокнула в щеку, в плечо, в грудь, Саша еще больше неистовствовал, пришлось, в конце концов, уговорить, Саша просил, умолял, еще один раз, последний поцелуй, и делал по-своему.

Аля не выдержала, одернула:

— Уймись, тебе дай только волю — на голову сядешь!

Саша обиделся, Аля почувствовала себя виноватой, попросила Сашу, пусть извинит, Саша извинил и тут же принялся опять за свое: целовать, обнимать, тискать.

— Будет! — приказала Аля, отодвинулась подальше и проложила между собой и Сашей одеяло.

Саша обнял одной рукой, чтобы Аля не думала, он в обиде, рука давила, Але хотелось сбросить, но сама себе сказала, надо уступить, надо потерпеть.

— Саша, — сказала Аля, — вот ты делаешь все, как тебе нравится. А почему ты не делаешь, как мне нравится? Ты говоришь, что любишь меня. Почему же ты не делаешь все, как мне нравится?

Саша сказал, Аля сама не всегда знает, что ей нравится и что не нравится. Как же он, другой человек, может угадать?

— А ты не гадай, — сказала Аля, — ты забудь, что ты другой человек, и тогда не придется гадать. Саша, ты всегда раздумываешь, какую линию поведения выбрать, как поступить. Тебе кажется, у тебя свободная воля, ты сам выбираешь. А на самом деле ты ничего не выбираешь. Тебя толкает сила...

— Какая сила? — перебил Саша.

— ... тебя толкает сила, и меня толкает сила, и всех толкает — и ничего изменить нельзя. Человеку кажется, он мог бы поступить по-другому. А на самом деле каждый поступок совершается один раз, и нет способа доказать, что этот поступок человек совершил по своей воле, а мог бы, стоило только захотеть, совершить другой поступок.

Саша сказал: если нет свободной воли — нет добра, нет зла. Это подлая, это жульническая философия, проповедь безответственности и аморальности.

Аля удивилась: при чем здесь жульничество, при чем здесь безответственность и аморальность? Конечно, человек должен отвечать за свои поступки, и можно посадить его в тюрьму, но математики высчитали, что на самом деле никакой свободной воли нет, и человек делает так не потому что хочет, а потому что настоящее зависит от прошлого, и будущее зависит от прошлого, а прошлое тянется на миллионы, миллиарды лет назад, и человек не знает его и никогда не будет знать — знает только Бог.

— Саша, -- сказала Аля, — ты знаешь, для чего я? Я для испытания людям. И тебе для испытания. Ты хочешь удержать меня, ты думаешь про себя: вот я, своей свободной волей, удержу ее. А ты не удержишь меня. Ты не можешь удержать. Ты убеждаешь себя: вот я тогда сделал так, а надо было сделать так. В следующий раз сделаю так. А в следующий раз опять делаешь не так. Вот, думаешь ты, какая досадная случайность. А на самом деле никакой случайности нет: может быть только так, как есть, и если бы могло быть по-другому, то по-другому и было бы. Саша, ты думаешь, все зависит от принципов. А принципов никаких нет — есть только настроение. А настроение от человека не зависит.

Настроение, сказал Саша, зависит от человека. Биохимия

и фармакопея могут изменять настроение и задавать настроение. Египтяне, халдеи, евреи знали это уже четыре и пять тысяч лет назад. И пользовались этим.

Аля откинула одеяло, села на край, свесила ноги, Саша попытался опять уложить, она с силой, зло, отбросила его руку:

— Саша, ты ничего не понимаешь. Я не могу, не хочу с тобой жить. Ты ничего не понимаешь. Ты не виноват, но ты ничего не понимаешь и никогда не поймешь.

Аля стала одеваться, Саша сказал, два часа ночи, Аля одна не пойдет, он пойдет с ней, и тоже стал одеваться.

— Ложись, — сказала Аля, — тебе утром на работу, двое суток на ногах.

Саша повторил, Аля одна не пойдет, он не позволит.

— Не волнуйся, — Аля закурила, — я не одна.

— Ты к нему... — Саша помедлил, искал подходящее слово, — к Пифагору с Молдаванки пойдешь?

Аля не отвечала.

— К Симону пойдешь? — переспросил Саша.

— Да, — сказала Аля, — к Симону.

Аля ждала, сейчас начнется самое ужасное: Саша упадет на колени, обхватит ее ноги, будет тереться лбом, плакать, доказывать, умолять.

— Саша, — Аля сама заплакала, — я не хочу, чтобы ты страдал. Я не для себя делаю — я для тебя делаю. Саша, ты доктор, ты зарабатываешь много денег, за тебя пойдет любая женщина, хорошая, добрая, с образованием, с дипломом. Саша, я не нужна тебе, отпусти меня. Отпусти по-хорошему.

Аля ошиблась: Саша не плакал. Наоборот, вид был очень спокойный, только нос и подбородок заострились, как будто вдруг, в минуту, человек осунулся, похудел.

— Аля, — сказал Саша, — голос тоже был спокойный,

ровный. — Аленок, я не отпущу тебя. Ты хочешь изменять мне — изменяй. Ты хочешь быть с другим, с другими — будь с другими. Но знай: я не отпущу тебя. Аленок, я умру без тебя.

Аля покачала головой: Саша ничего не понимает. Один человек не может запрещать или давать разрешение другому. Каждый человек сам себе запрещает и сам себе разрешает.

— Саша, — сказала Аля, — Симон — математик, он понимает, а ты не понимаешь. Из хаоса рождается порядок. Раньше люди думали, хаос — это беспорядок. Хаос было ругательное слово. А теперь ученые открыли, хаосов очень много, из хаосов рождается порядок. Значит, в хаосе всегда был порядок, только люди не понимали этого. А теперь поняли. Саша, ты говоришь мне, иди к одному, иди к другому, как будто посылаешь на панель. Это низость, Саша. Мне не нужен другой, мне не нужны другие — мне нужен один-единственный.

— Пифагор с Молдаванки, — сказал Саша.

— Опять низость, — тряхнула головой Аля. — Может быть, он, Симон. Сегодня я чувствую так: Симон. Я хочу быть с ним, — Аля смотрела Саше в глаза, — хочу его. А тебя не хочу. Ты не нужен мне, Саша, ты не мой, ты — не один-единственный. Я буду искать. И меня будут искать. Кому назначено, тот найдет. Обязательно найдет,, а иначе зачем искать? Раз человек ищет, значит должен искать. Ты понял, Саша? А теперь ложись спать, мама убаюкает тебя. Тебе нужна мама. Ты хочешь, чтоб я была тебе мамой. Ты эгоист, Саша, ты ужасный эгоист.

Саша разделся, лег, Аля, в одежде, прилегла рядом.

— Разденься, — сказал Саша и стал стягивать с Али одежду.

— Прекрати, — приказала Аля. — Саша, прекрати, не то я встану и уйду.

Перед рассветом, было еще темно, но чувствовалось, по торопливому мерцанию, звезды догорают, на Алю навалилась тоска.

Было ощущение, что все люди несчастны: и она, Аля, несчастна, и Саша, и Сева, и Мари-Луиз, и Симон, который такой умный и так хорошо все понимает, и Фрэнк, со своими двумя детьми, и черный Лу, торговец наркотиками с Кони-Айленда, и Антонио Джусто со своей немкой Ингрид, и Августина из Вены, и Эдик, который кричал ей, не уезжай, и папа с мамой, одни остались в Одессе, может быть, умрут, и так больше никогда не увидят свою дочь. Все несчастны. Весь мир.

Аля разделась, осталась в трусиках, потом сняла трусики, прижалась к Саше, сказала, пусть повернется к ней лицом, Саша повернулся, Аля взяла двумя руками за голову, стала медленно, всматриваясь в Шашино лицо, целовать, Саша порывался поцеловать в ответ, Аля отстранялась, могаля головой, глаза были грустные, печальные, как будто вот-вот заплачет, Саша забормотал: „Аленок, самый добрый, самый лучший, самый чистый в мире”, — Аля приникла всем телом, зашепгала прямо в ухо, вроде открывает очень важный, самый главный свой секрет:

— Саша, я люблю тебя. Я очень тебя люблю, дорогой мой, любимый, единственный! На всю жизнь люблю, ты мой единственный, один-единственный! Любимый, делай со мной что хочешь: я твоя, только твоя!

Через два дня, Саша был на дежурстве, пришел Симон, сказал, он уходит от жены, Аля должна ехать с ним в Израиль. Так надо.

Когда Саша вернулся с дежурства, Аля поставила его в известность: она уезжает в Израиль.

— Саша, — сказала Аля, — я уезжаю с Симоном. Так надо.

Саша, когда Аля поставила его в известность, сделался буквально зеленый. Аля такого лица еще не видела. Казалось, еще минута, человек умрет или произойдет что-то гакое, чего вообразить нельзя.

Но Саша не умер, и ничего такого не произошло. Наоборот, все было очень пристойно, Саша спокойно, как будто давно все обдумал, объяснил, что Аля делает глупость, но, поскольку, по новой теории хаоса, человеку отпущен обязательный минимум глупостей, пусть сделает, чтобы убедиться, что делать не надо было.

У Али было досадное чувство, вроде ее обманули, надули, она принимала все за чистую монету, открыла свою душу, а ей, в ответ, плюнули в душу.

Аля сказала Саше, тем лучше, что все так, как у порядочных людей: чем спокойнее, тем здоровее для обоих.

Да, ухмыльнулся Саша, это так: трудовая копейка рубль бережет.

Але не хотелось быть резкой, но оставлять без ответа нельзя было, и она сказала Саше:

— Саша, ты хамишь.

Саша пропустил мимо ушей. Аля чувствовала, опять что-то нехорошее, оскорбительное для нее, но она убеждала себя, Саше больно, надо помнить, надо быть доброй, великодушной.

— Саша, — сказала Аля, — возникнут пересуды: кто кого бросил — ты меня или я тебя. Если хочешь, можешь говорить всем, что инициатива твоя, ты бросил меня.

— Аля, — у Саши понемногу возвращался нормальный цвет лица, — Аленок, я буду ждать тебя. Захочешь вернуться, — Саша улыбнулся, сделал жест рукой, как бронзовый дюк Ришелье в Одессе, у Потемкинской лестницы, — welcome. Я буду ждать.

У Али от жалости, от боли за Сашу разрывалось сердце. Сашин фарфоровый глаз, как будто остановился в недоумении, сделался влажный, Саша промокнул платком, сложил, по привычке, платок вдвое, вчетверо, опять выступила влага, Аля потянула за руку, чтобы взять у Саши платок, промокнуть,

Саша сказал, все в порядке, промокнул сам и положил платок в карман.

Аля хотела обнять Сашу, поцеловать на прощание, он уклонился, взял Алю за руку, пожал, приветливо улыбнулся и сказал:

— Дан приказ ему на запад, ей — в другую сторону... Береги себя, Аленок. Не надо плакать. Не плачь, родной. Все будет хорошо.

Аля не выдержала, бросилась на шею, забилась, затряслась, как будто в последний раз, последний шанс, опускают человека в могилу, сейчас начнут засыпать.

На другой день Аля с Симоном вылетели в Израиль. В Тель-Авив прилетели вечером. Симон снял номер в гостинице на улице Алленби, недалеко от моря.

Гуляли по городу, заходили в кафе, ели пирожные, пили кофе. В лавке ювелира Симон купил для Али серебряную цепь с чеканным шестилистником, в каждом лепестке бирюза.

Потом вышли к морю, Симон показал рукой к югу, где темнели в лунном свете, громоздясь один на другой, как в театральной декорации, дома и замки: Яффа, порт, который был древним уже во времена фараона Тутмоса и Моисея. Из Яффы начал свое плавание еврейский мореход Иона — тот самый, который вышел невредимым из чрева кита и, вследствие своего чудесного спасения, стал пророком.

Аля сказала, пророческий удел Ионы — не следствие его чудесного спасения, а причина: тысячи людей были проглочены китами, никакая смекалка, никакие хитрости в желудке у кита не помогали — невредимым вышел один Иона. Тут должен быть и кит особенный, и желудок особенный. и пищеварение не такое, как у других китов, чтоб не обдало добычу желудочными соками и кислотой.

— Ты совершенно права, — сказал Симон, — не в таких

терминах, но именно так толкует Талмуд. Пророческий удел Ионы был предусмотрен до сотворения мира, когда еще не было ни человека, ни китов. Случай с Ионой — классический пример того, что воля человека не более, чем фикция, ибо в желудке у кита воля проглоченного индивида, даже как чисто умозрительная величина, не имеет никакого смысла.

Симон, пока говорил, озирался по сторонам, как будто за скалами, за случайными выступами таилась опасность. Аля истолковала по-своему, вспомнила Нью-Йорк, где нельзя, без оглядки, ходить по ночам, Симон сказал, для параллели нет никаких оснований, Израиль не Америка, Тель-Авив ночью и днем равно безопасен.

Внезапно, среди развороченных глыб бетона, по сторонам, вроде обрубки железных конечностей, торчали обломки арматуры, Симон потянул Алю, повалил, каменное ложе, в лунном свете напоминало кратер, было устлано кусками поролона и ветошью, Аля упала навзничь, Симон набросился, как будто насилует, торопится, чтобы жертва не успела опомниться. Аля в самом деле не ожидала, в первый момент растерялась, но быстро оправилась, сжала изо всех сил колени, Симон, сколько ни старался, ни рукой, ни ногой не мог развести, резко, со звуками, вроде давят пальцами рыбы пузыри, стал целовать Алю — грудь, живот, бедра — Аля закричала, нет, нет, сама не понимала, почему нет, схватила Симона за волосы, ногтями впилась в плешь, вдруг Симон протиснулся головой между ног, почувствовала слабость, застонала, голос был жалобный, просительный, не надо, вернемся в гостиницу, Симон не отвечал, тяжело, с перехватом, как будто долго карабкался на гору, дышал у Али под ухом, наконец, прилачился, Аля сама обняла, Симон закричал, отвечай, Аля сделала движение навстречу, Симон заерзал, задергался, подбросила судорога, и замер.

Аля спросила: долго будем так лежать? Симон не отвечал,

Аля сказала, пусть сойдет, сама подтолкнула, Симон, как будто неживой, свалился набок.

Небо было совсем близко, Аля явственно чувствовала, звезды смотрят на нее и видят ее, видят, как видят человеческие глаза: белые, на голених веснушки, ноги, каштановый, вроде подкрашен хной, пах, четко очерчен треугольник, основание по нижней складке живота, чуть намечен желобок, к центру от живота, где пупок, тянется курчавая дорожка, на груди, вокруг сосков, золотистый пух.

Сделалось вдруг стыдно, Аля закрылась руками.

— Симон, — спросила Аля, — тебе хорошо?

Симон повернулся, обхватил рукой:

— Бог, когда сотворил мир, сказал: „Это хорошо”.

— Симон, — сказала Аля, — ты врешь: тебе нехорошо.

Симон взял Алю за руку, отвел книзу, стал ерзать, Аля вырвала, резко отодвинулась:

— Ты противен мне. Ты изнасиловал меня. Зачем ты изнасиловал меня?

— Насилие, — сказал Симон, — это неожиданность. В полночь, уединясь с мужчиной, женщина идет навстречу неожиданности. Но, строго говоря, это мнимая неожиданность, ибо женщина готовит ее сама загодя. И в этом вековая интуиция жертвы, которая сама привлекает охотника.

Аля поднялась, привела себя в порядок, сказала Симону, она хочет побыть одна, пусть идет, встретятся в гостинице.

— В Израиле ночь, — Симон обвел рукой по горизонту. — Ночь — это ночь.

Аля пошла к берегу, разделась догола, бросилась в воду.

— Прощай!

Симон тоже разделся, прыгнул вслед за Алей, старался догнать, но не получалось, наоборот, Аля быстро удалялась, Симон закричал:

— Малыш, вернись! Я виноват, малыш! Прошу тебя, вернись! Малыш!

Алина голова, как черный шар, держалась на поверхности, Симон ни на мгновение не терял из виду, как будто от этого, видит он или не видит, зависела Алина судьба, вдруг, когда закричал опять, хлебнул воды, забило дыхание, машинально стал отплевываться, мотать головой, пришел, наконец, в себя, взглянул — и обомлел: Али не было.

— Малыш! — Симон задрал голову, небо, с звездами, с длинной, от горизонта до горизонта, белесой полосой Млечного пути, качалось из стороны в сторону. Месяц, вроде морские львы перебрасывают мяч один к другому, черными, невидимыми в ночи, бархатными своими мордами, летал над головой, от качания этого во все стороны, от повертывающегося и наклоняющегося, как будто магнитная стрелка на оси, Млечного пути, от летающего месяца, закружилась голова, затошнило, отчаянно ударяло в грудь, было ощущение, что все несется в черную пропасть, пронзил страх, ужас, Симон закричал:

— Тону! Помогите! Помогите!

Из последних сил, руками и ногами, Симон колотил по воде, внезапно левую ногу свела адская, как будто зажали в тиски и дробят кость, боль, Симон пытался выпрямить, боль сделалась нестерпимой, перехватило дыхание, перед глазами пошли огненные кольца, кольца налетали на звезды, на месяц, разбивались друг о друга, сыпались в море искры, на миг стало светло, вроде не ночь, вроде день, и тут же погрузилось во тьму.

Издалека, Симон успел услышать, донесся крик: держись! Было ощущение, его толкают, тянут за руку, Симон старался, как бывает во сне, угодить, угадать движение, какое требовалось от него.

— Держись за плечи. Не дави, ты сдавливаешь мне горло. Расслабься, не дави!

Голос приказывал, Симон чувствовал, надо делать, как велят, хватался руками за плечи, но пальцы соскальзывали, опять появлялось ощущение, что летит в черную пропасть, пальцы судорожно цеплялись за шею, голос уже не приказывал, голос просил:

— Милый, ты задушишь меня. Мы оба утонем. Не души меня — мы оба утонем.

Опять, как будто продолжается сон, Симон слышал голос, голос был похож на Алин, Симон объяснял себе, как объясняет человек во сне, этого не может быть, Али нет, Аля утонула, но, вопреки объяснениям, пробивалось сладостное чувство, вроде все идет на лад, все будет хорошо, Аля не утонула, Аля жива.

— Милый! — закричал голос. — Ну не дави же меня! Мне нечем дышать — я задыхаюсь!

Теперь Симон отчетливо слышал, голос ее, Алин, нет никакого сна, все наяву, они оба, он и Аля, на плоту в открытом море, далеко от берега, заходит солнце, розовые облака лениво плывут в небе, уходя, вместе с солнцем, за горизонт. Внезапно, как будто солнце накрыли чугунным колпаком и затолкали под воду, сделалось темно, Симон почувствовал, его тоже, одновременно с солнцем, заталкивают под воду, еще мгновение, он ударится о дно, о скалы, которые на дне, раздался отчаянный, прямо в ухо, Алин крик:

— Держись! Милый, ты тонешь: держись!

Аля перевернулась на спину, Симон чтоб удержаться, машинально схватил за ноги, Аля ушла под воду, с силой оттолкнула, было ощущение, что захлебывается, но тут же вынырнула, Симон беспорядочно колотил руками по воде, Аля

велела, пусть возьмет ее за талию, крепче, еще крепче, вот так, милый. Так.

Сердце, как будто норовит выскочить, бешено ударяло в грудь, в ключицу, в спину, Аля сказала Симону, пусть сильнее отталкивается ногами, Симон сделал движение, тут же опять свела судорога, Симон выпрямил ноги, старался не двигать, Аля сказала, она выбилась из сил, пусть отталкивается ногами, иначе не доплывем.

Симон объяснил, он не может, адская боль, раньше была только левая, теперь обе ноги, левая и правая. Аля сказала, пусть держится за нее одной рукой, другой — пусть загребает, вот так, хорошо, молодец. Еще раз. Еще. Молодец.

Когда выходили из воды, Алю качало во все стороны, свалилась на песок, как подкошенная. Симон не мог встать на ноги, пришлось выбираться ползком, на животе. Никак не удавалось найти подходящую позу, Аля сказала, сейчас, пусть потерпит минуту, поднялась, помогла выпрямить ноги и принялась растирать. Сначала растирала ладонями, потом взяла свою юбку, сложила вчетверо, еще раз вчетверо, чтоб было потуже, Симон кряхтел, говорил, не надо, Аля продолжала свое, движения заметно замедлились, видно было, напрягает все силы, Симон согнул ноги, боль возобновилась, опять выпрямил, наконец, решительно запротестовал, схватил Алю за руки, сказал, хватит, пусть отдохнет.

Аля легла рядом, крепко прижалась, провела руку у Симона под головой, притянула к себе, потерлась губами о губы, поцеловала, чуть отстранилась, внимательно посмотрела, опять притянула к себе, прижалась губами к уху, пробормотала, любимый, единственный, Симон поднял руку, провел, как будто чертит дугу по небу, к северу:

— Волосы Береники. Малыш, — сказал Симон, — ты из Космоса, ты оттуда. Малыш, скажи правду, откройся: зачем

ты здесь, зачем ты на Земле? Видишь, светится маленькая точка, как будто просверлили циркулем дырочку? Северный полюс нашей Галактики. Малыш, ты оттуда. Ты космическая дева, сестра Береники. Малыш, я спрашиваю тебя: зачем ты здесь, на Земле?

Аля сказала: можно ответить вопросом на вопрос? Симон разрешил: можно.

— В полночь, — сказала Аля, — уединясь с женщиной, женщина идет навстречу неожиданности. Но это — мнимая неожиданность, ибо женщина готовит ее сама загодя. И в этом вековая интуиция жертвы, которая сама привлекает охотника. А когда жертва, заманив охотника, спасает его от гибели, это какая неожиданность — настоящая или тоже мнимая?

— Малыш, — сказал Симон, — ты сирена: ты завлекла простофилю-охотника в родную свою стихию — в пучину вод. Это во-первых. А во-вторых, где доказательство, что охотника ждала неминуемая гибель?

Аля отодвинулась, подняла голову:

— Охотник, — спросила Аля, — желает повторить?

Симон сказал, в поведении индивида ничего повторить нельзя.

Аля вскочила, схватила Симона за ноги, стала тащить в воду

— Сдаюсь! — закричал Симон. — Сирена, остановись: индивид просит пощады!

Сирена сделала, как просили, и тут же, вроде внезапно оставили силы, упала в изнеможении:

— Насилуй меня! Охотник, возьми свою жертву!

Симон сказал, охотник возьмет свою жертву, но требуется время, ибо охотник, то есть насильник, в отличие от жертвы, не всегда готов. Жертва, объяснил Симон, если она хочет, чтоб ее вкусно ели, сама должна подготовить охотника.

Аля сказала:

— Жертва хочет, чтоб ее вкусно ели. Приказывай, охотник.

Охотник приказал, пусть приклонится к паху, пусть нежит губами, пусть делает все, как подсказывает ей интуиция и воображение.

— Ты не здешняя, — бормотал, будто совсем хмельной, заплетается язык, Симон, — ты не земная — ты космическая, волосы твои расстилаются по небосводу, губы твои — влажные губы Вселенной, язык твой — щуп Вселенной, рот твой...

Симон не успел закончить сравнение, изогнулся дугой, вроде старается сделать мостик, Аля водила головой, прикладываясь щеками, подбородком, грудью.

— Моему господину, — шептала Аля, — хорошо. Я нужна господину. Я спасла моему господину жизнь.

Симон схватил Алю, стал целовать, как безумный, будто ждал целую вечность, и вот, наконец, дождался, не может остановиться и не остановится, пока не иссякнут силы.

— Счастье, — восклицал Симон, — за что мне такое счастье!

Аля пыталась целовать в ответ, иногда удавалось, но чаще не удавалось, такой бешеный был натиск, и бормотала в упоснии: любимый, родной, единственный!

Остаток ночи провели в отеле, до утра лежали в обнимку, Симон шутил, когда-нибудь, вот так, найдут два скелета, Эсмеральда и Квазимодо.

Встали рано: Симону к девяти — в университет, потом — встреча с женой. Симон объяснил: последние детали, в связи с разводом. Выглядел неважно, видно было, человек не отдохнул: под глазами мешки, волосы расчесал, пригладил, все равно казалось, влажные, слипаются, кожа, где плешь, сильно обгорела, шелушилась.

Выпили кофе, съели глазунью, тост с джемом, Симон сказал Але, обедать будем вместе, а сейчас пусть Малыш ложится

и досыпает свое. Вечером поедут в Яффу, там у арабов ночные рестораны, шоу, посидим, послушаем музыку, погуляем.

У дверей, когда уходил, хотел обнять Алю, она машинально выставила ладони, как будто удерживает, Симон сказал, с недосыпу, как с перепоею, подставил щеку: „А ну-ка, Малыш, поцеловать!” — Аля чмокнула, Симон сделал пальцем, ну-ну, поцеловал Алю в губы, велел держать хвост трубой, и захлопнул дверь.

Аля выпила еще чашку кофе, думала разогнать сон, выглянула в окно, вдали виднелось море, две белые яхты, казалось, плывут в воздухе одна навстречу другой, вот-вот столкнутся, но нет, не столкнулись, поравнявшись, тут же разминулись, каждая в свою сторону.

Аля помахала рукой, послала воздушный поцелуй, сбросила халат, юркнула под одеяло, накрылась с головой и вмиг, как будто закружило, затянуло в воронку, уснула.

Проснулась во втором часу от телефонного звонка: звонил Симон. Сказал, звонит третий раз, телефон не отвечал. Что случилось? Аля сказала, все в порядке, ничего не случилось. Симон переспросил: ничего? Аля повторила, ничего, она просто спала, не слышала. А что могло случиться?

— Милый, — Аля сделала паузу, — я сказала неправду: случилось. Я очень тебя люблю.

— Малыш!

— Милый, приходи быстрее. Я буквально горю, сгораю. Ты чувствуешь?

Симон засмеялся, он чувствует, на его конце тоже горит. Фу, сказала Аля, пошлый каламбур. Симон ответил, это не каламбур: он весь в запарке, действительно горит.

— Ты не придешь к обеду? — спросила Аля.

— Ты угадал, Малыш, — сказал Симон. — Пообедай сам, а

вечером поедem в Яффу. Малыш, хвост трубой. Целую, обнимаю. Шалом!

— Шалом! — машинально ответила Аля, положила трубку, перед глазами, ни с того ни с сего, встал Саша, держит палочку бенгальского огня, палочка, как будто змея, шипит, плюясь во все стороны искрами. Палочка погасла, почернела, Саша, как дурачок, хохочет и сам, вроде бенгальский огонь, шипит, и машет обгоревшей палочкой.

Чушь, пожалала Аля плечами, Саша никогда не держал в руках бенгальского огня.

Аля вышла в город, обедать не стала, съела фалафел, было очень вкусно, заказала еще один, велела побольше луку и перца, буквально обжигало рот, Аля махала рукой, шлепала ладонью по губам, чтоб остудить, и тут же, как будто из голодного края, вгрызалась опять. Лотошник, пожилой еврей, говорил Але, женщина, которая может выдержать такое, может выдержать и не такое.

Аля сказала, она первый раз в Тель-Авиве, хочет посмотреть город. Лотошник спросил: по частям или все сразу? Если по частям, надо просто ходить ногами, как ходят все люди, и смотреть по сторонам: что стоит увидеть, глаза сами увидят. А если все сразу, тогда есть два места: одно — сверху, другое — снизу. Сверху — это с крыши Мигдал Меир Шалом, дом на углу Герцля и Ахад Гаам, пару этажей не достаёт до неба. Если снизу, это — тахана мерказит, главная автобусная станция, где сходится весь Израиль.

На тахана мерказит стоял галдеж и крик, как будто конец света. Люди сновали взад-вперед и носились, как угорелые. Было много солдат, молодые ребята, в армейской форме, с автоматами, которые держали каждый по-своему: один — на груди, другой — за спиной, третий — закинул в дорожную сумку или баул, ствол торчал снаружи, можно было подуматъ,

детская игрушка. С тех пор, как выехали из Союза, Аля не видела на улице столько военных.

В очереди к автобусам было много девушек, тоже в гимнастерках, в пилотках, с тяжелыми солдатскими рюкзаками через одно плечо, манерой и повадками похожи на переодетых мальчиков. Аля подумала, ей бы пошла военная форма, невольно подтянулась, как будто примеряет и осматривает себя в зеркале.

Солдат, высокий, смуглый, русые волосы, синие глаза, наверное, угадал Алины мысли, приветливо улыбнулся, протянул Але автомат, пусть примерит. Аля готова была взять, но парень тут же убрал автомат, взамен протянул свою руку, сказал:

— Будем знакомы. Эйтан.

Оказалось, живет в Тель-Авиве, служит в Эйлате, пустыня, рядом Красное море, подводное царство самое красивое в мире, как раз свободна вакансия, требуется принцесса. Вырвал из блокнота листок, записал телефон, сказал, до Эйлата пять часов автобусом, сегодня вечером будет ждать звонка.

— Позвонишь? — Эйтан немножко поколебался, вдруг обнял, поцеловал под ухом, у Али, от шеи по спине, забегали мурашки. — Смотри, буду ждать. Принцессы не обманывают.

Эйтан побежал к автобусу, едва успел, солдаты придержали заднюю дверь, чтоб мог вскочить, помахал Але автоматом:

— Сегодня! Обязательно!

Аля помахала в ответ рукой: обязательно, пусть ждет.

Было приятное чувство. Немного грустно, с солдатами всегда немного грустно, но приятно. Эйтан понравился Але, можно подружиться, ходить друг к другу в гости. Симону тоже наверняка понравится, славный парень, вполне мог бы быть у него студентом или аспирантом. Сегодня вечером, когда они с Симоном будут гулять в Яффе, часов в девять-десять,

раньше нет смысла, надо позвонить. По всему телу, как будто легкая зыбь, прошел озноб.

Аля прихватила из Нью-Йорка несколько пакетиков марихуаны. Симон был категорически против, кроме того, риск, и там, в аэропорту Кеннеди, и здесь, на израильской таможне, в Лоде, используют тренированных собак, собака, объяснил Симон, различает миллион запахов, куда ни засунешь, найдет.

Аля отвечала, она не боится собак, собаки любят ее, никуда не надо засовывать, она не бизнес делает, исключительно для личных нужд, захочется выкурить, никому нет дела, надо просто положить в сумочку, где духи, косметика, и стать в сторонку, а багаж пусть проверяют себе на здоровье, контрабанды она не везет. Кто хочет, чтоб было хорошо, должен верить в хорошее, а не ждать плохого.

Все сложилось благополучно. У каких-то патлатых девиц, волосы, как солома, похожи на шведок, в Лоде проверяли сумки, косметику, открывали пудреницы, губную помаду, а на Алю даже не обратили внимания, и вообще не заглядывали в чемоданы, только пощупали сверху, спросили, сами укладывали вещи или кто-то укладывал, Симон сказал, сами, велели закрыть чемоданы, пожелали всего хорошего и махнули рукой: идите.

Аля вынула пакетик, ссыпала на бумажку немножко травки, свернула, поспешила, чтоб крепче держалось, хотела закурить, оказалось, забыла зажигалку, пришлось обратиться к прохожим, один прошел мимо, сделал каменное лицо, другой, человек в летах, усы, как у пирата, но лицо доброе, на затылке седые кудряшки, сам поднес зажигалку, ждал, пока хорошо раскурится, предложил Але, рядом кафе, настоящий кофе, пирожные сто двадцать сортов, лейкох, штрудель, можно с удовольствием посидеть.

Аля сказала спасибо, она очень любит кофе, но сейчас не хочется. Человек сказал, он не торопится, можно пройти до Дизенгоф, там кафе на каждом углу, когда захочется, можно зайти. Спасибо, повторила Аля, она любит гулять одна, кроме того, она спешит.

— Извините, — сказала Аля, — я спешу. Я действительно очень спешу: меня ждут.

Человек развел руками:

— Я понимаю, вас ждут. Вы, наверное, подумали что-нибудь плохое. Не надо думать плохого. Надо верить людям и надо думать только хорошее — и будет хорошо. Так вы не хотите выпить чашечку кофе?

Аля глубоко затаилась, задержала дыхание, опять затаилась, ответила человеку, нет, она не хочет, осмотрелась, улица Алленби в сторону моря, где садится солнце, и пошла.

Аля не оборачивалась, но чувствовала, человек следует за ней. На углу Алленби Аля остановилась, сделала несколько шагов назад, сама подошла и сказала:

— Вы дали мне совет: не думать ничего плохого. Я не думаю ничего плохого. Вы опасаетесь, я не знаю дороги...

— Вы в гостинице, — догадался человек, — где-нибудь на Алленби, возле моря. Идите прямо-прямо, как раз попадете. Вы так похожи, как две капли воды, на мою сестру: ее лицо, ее рот, ее глаза, и эта улыбка, как будто первый раз утро, птички, солнце, а впереди целая жизнь. Немцы забрали ее в концлагерь. Собибор. Евреи там подняли восстание. Некоторым повезло. Ей тоже сначала повезло, она была в отряде, а потом немецкие самолеты догнали их и расстреливали из пулеметов. Вот, — человек вынул из кармана фотографию. — Хотите посмотреть? Такое сходство, такое сходство — одно лицо.

Аля посмотрела: действительно, поразительное сходство. Двойники. Было смешанное чувство: приятно и в то же

время неприятно, как будто сняли копию, была на свете одна Аля, а теперь не одна — теперь две Али.

— Вы верите в реинкарнацию? — спросила Аля.

Человек развел руками: кто знает, что-то есть. Такое сходство!

— Скажите, — обратился вдруг человек, — я хотел вас спросить: зачем вы курите эту гадость? Не мое дело, но я хотел просто спросить: зачем вы курите эту гадость, этот дурман? Молодая, красивая, умная — зачем?

Аля указала на фотографию: она...

— Бина? О чем вы говорите! — замахал руками человек.

— Бина! — поразились Аля. — Меня зовут Альбина! Это невероятно, этого не может быть!

Человек пожал плечами: почему не может быть, если есть. Что есть, то есть. Совпадение, одним больше, одним меньше — какая разница. Хотя, кто знает. У Бины был муж...

— Доктор! — догадалась Аля.

— Доктор, — кивнул человек. — Как раз успел закончить. Хороший, симпатичный парень, немножко шлимазл. Были связаны друг к другу. Но вдруг, как будто муха укусила, Бину кидало, тянуло куда-то в сторону: потанцевать, покружиться, поморочить голову. Зачем, для чего — сама объяснить не могла. Можно сказать: хотела нравиться. Но какая женщина не хочет! А мужу было больно, переживал, страдал. Папа всегда держал сторону зятя. Когда началась война, уже подходили немцы, папа сказал: дети, бегите в Россию. И муж говорил: Бина, надо бежать в Россию. Евреи из Польши бежали в Россию. Бина сказала, она не может бежать в Россию: папа старый, больной, оставить одного — убить папу. Мужу сказала, пусть перебирается к русским, а она остается с отцом.

Аля воскликнула: и оба погибли! Нет, покачал головой

человек, отец не погиб: умер своей смертью, в своем доме, дочь закрыла ему глаза.

— А сама погибла! — Аля закусил губы, закрыла лицо руками.

— А сама погибла, — сказал человек.

— Кому же польза от этого, — спросила Аля, — какой смысл?

— Польза? Какая польза! — человек пожал плечами. — А смысл... Что значит смысл? Бросить отца на произвол судьбы — это смысл? На месте Бины вы бы сделали по-другому? Я уверен: сделали бы то же самое. Предать отца, — сказал человек, глаза, как будто вспыхнула ацетиленовая горелка, сделались синие-синие, — это предать отца.

— Но вы, — Аля откинула голову, смотрела с вызовом, — вы остались живы, вы не сделали то же самое!

Человек удивился: почему Аля злится? Не надо злиться. Он не сделал, это правда. Но как можно было сделать, если он находился на другом краю Польши, пришли русские, арестовали, отправили в Сибирь, потом, прямо из лагеря, в польскую армию Андерса, послали на фронт. Казалось, везде, на каждом шагу, ждет смерть, а вышло наоборот, остался живой. Это не его вина, что он остался живой. И Бинин муж остался живой. Живой, усмехнулся человек: всю жизнь мучался, корил себя, что оставил Бину с отцом, всю жизнь вдовец, так и умер, не женился.

Ну зачем, заплакала Аля, зачем оставили ее: разве можно убивать одного ради другого!

Человек посмотрел на Алю:

— Убивать нельзя — умирать можно. Бина не могла оставить отца. Она бы загрызла себя.

Живые, сказала Аля, грызут. Мертвые не грызут.

— Грызут, — покачал головой человек. — И мертвые

грызут. Еще как грызут. Скажите, — человек осторожно взял Алю под локоть, — если бы иногда, я не говорю часто, иногда, мы могли встретиться, дома, на улице, где хотите, посидеть вдвоем...

Аля спросила: зачем? Вокруг столько людей. Почему именно она: реинкарнация памяти, случайное сходство с тем, кого уже нет?

Человек покачал головой: печать. У Али — печать.

— У вас печать. К вам тянутся, — сказал человек. — Так тянулись к Бине. Были разговоры, кривотолки, особенно среди женщин: Бина сама зовет, сама привлекает. Но внутри, наедине с собой, каждый знал: Бина не зовет, не привлекает — у Бины магнит. От Бога, от...

— От черта! — засмеялась Аля.

— ... от черта, — кивнул человек, — но другого слова нет: магнит. Бина идет по улице, мужчины — молодые, старые — все оглядываются: посмотрит или не посмотрит? Посмотрит — вокруг как будто праздник, карнавал, сейчас придут музыканты, пора заводить танцы.

Аля качала головой, глаза блестели.

— Простите меня, — сказала Аля, — я говорила неправду: я подумала про вас нехорошо.

Человек развел руками: а почему Аля должна думать про него хорошо? Но вообще лучше начинать с хорошего, Бина всегда начинала с хорошего, потому что от плохого, говорила она, рождается плохое. Надо любить и верить. Когда человеку верят, он старается заслужить доверие и оправдать. А если не верят, зачем стараться, все равно не верят.

— Извините, — повторила Аля, — я виновата. Можно вас поцеловать? Вы не обидетесь?

— Конечно, обижусь! — воскликнул человек, выкатились две слезы, потекли по щекам. — Как можно не обидеться,

если вокруг праздник, карнавал, пришли музыканты, пора заводить танцы! Бина, слышишь, не лежи, вставай — пора начинать танцы!

Аля схватила человека за руку, прижала к себе, закружила, мимо проходили люди, приветливо улыбались, делали крюк, чтобы не задеть, не помешать, Аля убыстряла шаг, удлиняла круг, человек сказал, он больше не может, он задыхается, Аля отпустила, продолжала танец сама, парень, с губной гармошкой, взял аккорд, „Хава Нагила”, топнул ногой, прошелся перед Алей, Аля топнула в ответ, качнулась в одну сторону, в другую, завела руки над головой, пальцы к пальцам, ладони наружу, и закружилась на одной ноге.

Образовался круг, подходили новые люди, Аля оставалась в центре, танцоры, один, другой, становились перед Алей, она двигала пальцами, как будто зовет к себе, но тут же отступала, отворачивалась и продолжала одна, вроде сама по себе, танцует для себя.

Человек отдышался, отдохнул, подошел к Але, она опять взяла за руку, прижала к себе, медленно повела, и вышли из круга. Парень спрятал свою гармошку в карман, круг распался, люди стали расходиться, каждый в свою сторону.

— Чудо! — бормотал человек. — Чудо! Где смерть, где мертвые? Нету мертвых!

— Вы хороший, вы замечательный, — говорила Аля человеку, — вы самый лучший на свете!

— Давайте сделаем фото, — предложил человек.

Зашли в ателье, фотограф сказал, по глазам сразу видно, что молодожены, поставил рядом, Але велел чуть склонить голову: внимание, снимаем! Будет готово завтра, в это же время.

Договорились встретиться завтра, в это же время.

— Возьмите телефон, — сказал человек. — На всякий

случай. Меня зовут Габриэль. Трубку могут поднять Михаэль, Уриэль, Рафаэль. С ними не говорите: отвечайте, вам нужен только я, Габриэль.

Аля спросила, кто такие Михаэль, Уриэль, Рафаэль? Почему нельзя с ними говорить? Габриэль не ответил, он сказал только, что Але очень повезло, невероятно повезло. Раньше она не знала, а теперь знает: на ней печать, к ней тянутся.

— Будьте осторожны, — погрозил пальцем Габриэль, — к вам тянутся. К ней тянулись, — Габриэль не назвал имени, — и к вам тянутся. Будьте осторожны, — снова погрозил пальцем Габриэль, — теперь вы знаете, вы не можете сказать, что не знали: к вам тянутся. Теперь вы отвечаете за двоих — за себя и за нее. Учтите, за двоих: за себя и за нее.

Попрощались на углу. Габриэль исчез внезапно, как будто сквозь землю провалился. У Али было неприятное чувство, вернулась к фотографу, спросила, кто этот человек, с которым она снималась.

Фотограф посмотрел удивленно, ударил себя ладонью в грудь:

— Я — Рафик Кацобашвили! А с кем вы снимались — это я у вас должен спросить: с кем вы снимались? Он у меня все пленки засветил. С незнакомым, с первым встречным снимаетесь! Он у меня все пленки засветил! — повторил фотограф.

— Фотографии не будет? — спросила Аля.

— Какие фотографии: вам говорят, он у меня все пленки засветил. Как будто рентген! Постойте, — схватился фотограф, пристально глянул на Алю, глаза были странные, — а почему именно он? У меня в Тбилиси была одна клиентка, какой ни дашь ей свет, какую ни дашь экспозицию, все размыто, как будто в тумане.

Аля вынула из сумочки фотографию, передала фотографу:

— Вот моя фотография, ничего не размыто.

— Ваша фотография? — удивился фотограф. — Это не ваша фотография, это снимали пятьдесят лет назад, еще Гитлер был.

У Али екнуло сердце.

— Извините, — сказала Аля. — Это фотография Бины. Габриэль спохватится, вернется, отдайте ему: это его сестра.

— Слушайте, — фотограф опять посмотрел, — фотография не ваша, но лицо ваше. Это вы! Садитесь, — фотограф подставил стул, — сделаем фото.

— А если не получится, — сказала Аля, — если будет размыто или засветится пленка?

— Вы предполагаете, — спросил фотограф Алю, — или вы точно знаете, потому что так уже было?

Аля ответила, так не было, но разве это доказательство, раз не было, значит, не будет.

Если не было, сказал фотограф, значит, не будет, а если будет, значит уже было. Иначе откуда взялась бы фотография.

— Садитесь, — фотограф взял поляроид, — сделаем фото.

Нет, сказала Аля, закрыла лицо рукой, фотограф успел щелкнуть, вспыхнул свет. Аппарат затрещал, зажужжал, исторг влажный лист бумаги, посередине желтое пятно, пятно быстро темнело, проступали контуры человеческого лица, как будто изнутри кто-то быстро подмалевывает.

Аля была уверена, фото не получится, она прикрылась рукой, но руки не было, глаза смотрели прямо, нос и губы были четкие, как будто обвели чертежным карандашом.

— Значит, не я, — засмеялась Аля, — значит он, Габриэль.

Фотограф замахал руками: никаких сомнений, с самого начала было ясно, что все от него, от этого Габриэля.

— Давайте, — сказал фотограф, — сделаем настоящий портрет, я возьму в рамку, поставлю в окне: никто не пройдет

мимо, будут останавливаться. Когда человек останавливается, чтоб посмотреть, это уже на пятьдесят процентов клиент. Сделаем с вами гешефт: надо платить — заплатим. Никто не в накладе.

— Не надо платить, — сказала Аля. — Снимайте.

У Али было странное чувство, вроде светится лицо, из глаз, как рисуют иногда, протягиваются вдаль лучи, пронизывают предметы, Аля отчетливо увидела Габриэля, показывал язык, строил рожи, кривлялся, рядом стоял какой-то парень, высокий, смуглый, русые волосы. У Али, как будто внезапное предчувствие, защемило внутри: Эйтан!

— Смотрите в объектив, — сказал фотограф. — Внимание, снимаем!

Аля сказала, ей надо идти, фотограф просил подождать, он проявит пленку.

Заходило солнце. Аля сидела в кресле, солнце было огромное, в рамке окна, совсем рядом, можно достать рукой, Аля машинально потянулась, солнце вдруг, как будто детский мячик на резинке, отпрынуло, сморщилось, у Али екнуло сердце, вернулся фотограф, держал в руках фото, лицо было растерянное, посмотрел на Алю, на фото, соорудил гримасу, засмеялся, как дурачок, и протянул Але:

— Вот.

Аля взяла фото, невольно ахнула: на фото был Эйтан. Синие глаза смотрели в упор, лицо припорошено пылью, губы крепко сжаты, как будто высечены из камня. Опять, будто внезапное предчувствие, у Али защемило сердце.

— Я могу взять фотографию? — спросила Аля. — Это Эйтан: вы видели нас на тахана мерказит. Мы прощались, он уехал в Эйлат.

— Я видел вас на тахана мерказит? — фотограф ткнул себя пальцем в грудь.

Нет, сказал фотограф, он не видел Алю и Эйтана на тахана мерказит. Он не мог видеть их на тахана мерказит, потому что, когда они были там, он был здесь. А быть сразу в двух местах.этого никто не может, даже сам Эйнштейн.

Аля стояла на своем: фотограф видел их, Алю и Эйтана, и знает, что видел, и знает, где видел.

Эврика! Фотограф хлопнул себя по лбу, Аля права: видел!

— И знаете, где видел? Здесь видел, — фотограф указал пальцем на Алины глаза. — Вы о нем думали, он был у вас в зрачках, этот Эйтан, я видел что-то прыгает — камера зафиксировала. Мазл! Звезда! У вас звезда!

Аля вышла. Фотограф стоял в дверях, смотрел вслед, было впечатление, готов побежать вдогонку, Аля обернулась, послала воздушный поцелуй, фотограф тоже послал воздушный поцелуй, прижал руку к сердцу и крикнул:

— Приходите вдвоем, с Эйтаном: сделаем фото!

Аля свернула за угол, остановилась, было странное чувство, как будто не знает, в какую сторону идти, одновременно тянет во все стороны, сделаешь шаг вперед, тут же хочется повернуть назад, в противоположную сторону.

Аля достала из сумки травку, скрутила джойнт, крепко затянулась, от усилия запали щеки, еще раз затянулась, предметы стали отчетливее, резче, воздух, как бывает при первых заморозках, сделался прозрачный, дома, лотки под навесами, деревья, столбы, все стояло прочно на своих местах, теперь не составляло никакого труда выбрать направление. Аля вышла на Алленби, никого не спрашивала, дорога была перед глазами, как будто на карте, улица немного изогнулась, Аля издали узнала отель, было приятное чувство, в конце улицы блестело море, Аля вспомнила, Симон наверняка ждет, сейчас поедут в Яффу, в ночной ресторан, арабские танцовщицы,

кармин, лазурь, газовые шарфы, под шарфами смуглые соски, похожи на гномиков, чуть, как у нее, скошены в стороны, машинально прижала ладонями грудь, сказка, тысяча и одна ночь, Аля побежала, немного запыхалась, портье, пожилой еврей, доброе усталое лицо, спросил Алю, где горит, а если не горит, так зачем гнать лошадей, Аля засмеялась, объяснила портье, ее должны ждать. Ее ждут.

Портье сказал, будут ждать: в девять тридцать, плюс-минус четверть часа.

— Плюс-минус? — удивилась Аля.

Плюс-минус, развел руками портье, пятнадцать минут туда, пятнадцать минут сюда.

Аля поднялась к себе в номер, вышла на балкон, с моря дул легкий ветер, доносил запах водорослей, на миг возникло ощущение, она в Одессе, о судно ударяют волны, слегка качнуло, Аля невольно ухватилась за ограду балкона, вспомнилась, ни с того, ни с сего, Лина, лицо припорошено синькой, непонятно где, какое время, чернота, какая бывает в безлунном небе, свет только от звезд, но отчетливо видно, лицо синьковое, черты разбухли, вроде утопленница, только что вынули из воды.

Лицо, как возникло, так, само по себе, внезапно исчезло, остался неприятный осадок, Аля вернулась в комнату, стала перед зеркалом, сделала строгое выражение, чуть скосила глаза, как будто смотрит свысока, засмеялась, показала язык: „Симка — свинья! Алька — хорошая”. И повторила, тыча пальцем в зеркало: „Алька, ты хорошая”.

Вышла на улицу, захлопнула дверь с силой, как будто срывает досаду. Хотя только что обозвала Симона свиньей, досада была не на него, досада была на себя: следовало сидеть дома и ждать звонка, у Симона проблемы, тяжелый разговор с женой, ему совет нужен, поделиться, теплое слово, а она, Алька

его, слоняется, шатается по всяким закоулкам-переулкам, как будто бродяга, своего угла нет. Нет, покачала головой Аля, Симон не свинья, это она — свинья.

Очень захотелось увидеть Симона, повторить вслух все слова, какие она говорила про него, про себя, рассказать, как бранила себя за то, что не сидела дома, не ждала его звонка, а слонялась без толку по незнакомому городу, как будто бродяга, нет своего угла, ищет где приткнуться.

Аля шла к морю, по привычке слегка отводила правую руку, кисть, при быстрой ходьбе, совершала дополнительное движение, со стороны могло показаться, Аля приглашает, зовет за собой.

Аля вспомнила Сашу, его укоры, Саше не нравилось это движение, он говорил, призывное, и требовал, чтобы Аля не отводила руку, держала ближе к себе, иначе неизбежна двусмысленность. Аля отвечала, никакой двусмысленности нет и вообще никакого смысла в этом движении нет, рука двигается сама по себе, потому что так удобно. А если Саша видит по-другому, то надо обратиться к психоаналитику, и психоаналитик объяснит откуда у Саши такое видение, пусть ищет причину в себе.

Сейчас, хотя Саши рядом не было и слова его никакого значения не могли иметь, Аля, когда мимо прошел парень, почувствовала, парень остановился, смотрит на ее руку, как будто колеблется, не может решить, что делать, подойти или не подойти, Аля прижала руку к бедру, ускорила шаг, парень немного постоял, подождал и пошел своей дорогой.

Два или три квартала Аля держала руку так, прижав к бедру, поначалу ничего особенного, было даже приятно, как будто успех, удача, жаль, Саши нет рядом, не видит, а потом — Аля пересекла улицу, прочитала название, Хаяркон, море было совсем рядом, слышен звук прибоя — почувствовала

неудобство, скованность во всем теле, как будто не только правую руку, как будто обе руки, и ноги, и все тело перевязали, опутали веревками.

Мимо проехала машина, парень помахал в окошко рукой, свернул за угол.

Аля подняла правую руку, потрясла в воздухе, было ощущение, что сбрасывает путы, стало легче дышать, двигаться, повела плечами, как будто разминка перед танцем, ноги машинально притопнули, Аля громко засмеялась, приказала себе быть серьезной, нахмурилась, закурила, осмотрелась по сторонам, видно было, что выбирает направление, и быстро пошла вверх по улице, в сторону отеля — большого здания с большими окнами, фасадом к морю.

Аля была совсем уже рядом с отелем, подъехала машина, тот самый парень, который раньше помахал рукой в окно, сказал, чем тащиться в такую даль пешком, не лучше ли на колесах. Аля не ответила, парень проехал вперед, остановился, пошел навстречу, предупредил Алю, „Дан” — очень дорогой отель, платят за вид на море, у кого есть деньги, пусть выбрасывают. У Али, он уверен, такой проблемы нет. Угадал? Аля пожала плечами.

— Угадал, — уверенно произнес парень. — Меня зовут Илан.

Парень был высокий, блондин, какое-то сходство с Эйтаном, глаза тоже синие, но выражение другое — как будто за глазами, которые смотрят и видны, другая пара глаз, тоже смотрят, но не видны.

— Можно показать Тель-Авив, — сказал парень. — Это моя профессия.

Аля ответила: гид не требуется: она любит гулять одна.

— Меня зовут Илан, — повторил парень.

Аля была уверена, он спросит, как зовут ее, смотрела

парню в глаза, улыбалась, видно было, что ждет, наперед знает вопрос. Вопросов не было, парень повторил свое предложение — показать город.

Аля спросила: часто у Илана бывает такая потребность — показать первой встречной город?

Илан сказал Але, она не первая встречная.

— Вы не первая встречная, — повторил Илан. — Вы сами знаете: вы не первая встречная.

— Вы хотите быть моим гидом, — спросила Аля, — хотите показать город?

Да, сказал Илан, он хочет показать Тель-Авив.

— Аля, — сказал Илан, — я покажу вам Тель-Авив.

— Вы знаете мое имя! — Аля вздрогнула, внутри все оборвалось. — Откуда?

Илан указал пальцем на Алины губы: оттуда. И объяснил: когда женщина идет по улице и разговаривает сама с собою, раньше или позже она назовет себя по имени — надо только иметь терпение и ждать.

— Вы следили за мной! — воскликнула Аля. — Это мерзость!

Илан покачал головой: он не следил — он следовал за Алей. Если Аля скажет, что следовать за женщиной — мерзость, он готов признать: это мерзость.

Илан ждал, Аля молчала, было впечатление, что не находит ответа. Илан сказал, Аля не первая встречная: у первой встречной всегда готов ответ. У Али нет ответа.

— Аля, — повторил Илан, вы не первая встречная. Она, — мимо прошла девушка, длинные черные волосы, тонкая талия, как будто продолжение волос, тряхнула волосами, голова вполоборота, вроде отворачивается, — первая встречная. Вы не можете быть первой встречной.

— Илан, — Аля назвала по имени, получилось автоматически, — в девять тридцать, плюс-минус пятнадцать минут, я должна быть в отеле: меня ждут.

— В девять тридцать, — повторил Илан, — вы будете в отеле: вас ждут. Не будем терять времени.

Аля села в машину, Илан предложил, сначала посмотрим на сынов Израиля сверху, потом — изнутри.

Оказалось, сверху — тот самый дом, Мигдал Шалом, на углу Герцля и Ахад-Гаам, который, как говорил Але лотошник, достает почти до неба. Лифт поднял на тридцать четвертый этаж, во все стороны, сколько хватал глаз, раскинулся город, чем дальше от центра, тем больше походил на стан, кочевники поставили свои шалаши, стены, крыши укрепили на жердях, внутри зажгли огни, в одних местах тусклые, с желтизной, в других местах — поярче, напоминали свет, какой бывает от звезд перед рассветом, когда начинают блекнуть.

Семьдесят лет назад, сказал Илан, здесь были песчаные дюны, верблюды широко расставляли ноги, чтобы не снес ветер, дул хамсин, нечем было дышать, торговцы, медники, гончары укрылись в Яффе — за ее стенами было человеческое жилье, люди города собирались на площади, глашатаи, дабы все слышали и не говорили, что не слышали, пронзительными голосами читали фирман султана, выкрикивая и вытягивая каждое слово, как будто между ними, султанскими глашатаями, и муэдзинами, с минаретов сзывающих правоверных на молитву, нет разницы.

Потомки Измаила жили в здешней земле, вроде спокон веку были хозяевами, время остановилось — как было, так будет.

Но время не остановилось, время не останавливается — останавливаются люди. И вот, в один прекрасный день вернулись хозяева здешней земли — не те, что сами себя назначили,

а те, кто поставлен был здесь хозяйствовать через Израиля, который дал нам свое имя, а тот — через отца своего Ицхака, а тот — через своего отца, Авраама.

Что такое две тысячи лет? Две тысячи лет, которые впереди, это вечность. Две тысячи лет, которые позади, это мгновение. Вернулись хозяева и сказали: мы дома. Поставили палатки, взяли в руки лопаты и топоры и построили город.

— Мигдал Шалом, — Илан положил руку Але на плечо, — самый высокий наш дом, крыша Ближнего Востока.

Аля глянула вниз, закружилась голова, невольно прижалась к Илану, он обхватил рукой, было приятное чувство, хотелось, чтобы так оставалось, не отнимал руку, Илан сказал, здесь кафе, можно посидеть.

Илан предложил горячее, на десерт пирожное, кофе, Аля покачала головой: только кофе. Пили молча, за соседним столиком сидели ребята, трое, смотрели в Алину сторону, Аля улыбнулась, машинально кивнула, вроде здороваются, Илану не понравилось, сказал, пора идти, а то сейчас позовут к себе или сами подсядут. Аля ответила, пусть подсядут, это интересно, нет, возразил Илан, взял Алю за руку и повел к выходу. Ребята, Аля чувствовала, смотрят вслед, выдернула руку и сказала Илану, так не поступают, он обидел ребят, она вернется, извинится за себя, за него, и попрощается.

Илан хотел остановить, но не успел, Аля сделала, как говорила: вернулась, извинилась перед ребятами и попрощалась. Все трое встали, поклонились и стояли, пока Аля шла к выходу.

Илан сказал, в Израиле свои правила, Аля не знает этих правил, могут истолковать превратно. Аля ответила, правила везде одинаковые: надо быть человеком, и другой, пусть кто угодно и какие угодно мысли, тоже будет человеком.

Илан попросил Алю остановиться, внимательно посмотрел в глаза, как будто изучает, взял Алю за голову, притянул к себе, поцеловал в лоб. Аля машинально отерла пальцами.

Ехали долго, Аля удивлялась, такая длинная дорога, так много улиц, Илан объяснил, едем вглубь веков — в Бет Хатесот, в дом Диаспоры.

Господь предупреждал детей Израиля, что за грехи, какие творят, будут рассеяны среди народов и, как были пришельцами в Египте, так будут пришельцами в чужих краях и землях. И везде, куда ни придут, будут гонимы.

В колонне, какую гнал Навуходоносор, царь Вавилона и царь царей, Аля едва переставляла свои, разбухшие в дороге, которой не было конца, ноги, и не будь рядом Илана, за чье плечо можно было ухватиться, когда оставляли последние силы, она давно свалилась бы, и конвоиры, из милости, чтобы избавить израильянку от мук, которые все равно должны были завершиться смертью, прибили бы ее камнями или удавили. Камнями, объясняла себе Аля, это ужасно — лучше быть удушенной, смерть наступит быстрее, и тело не обезображено. Обезображенное, изуродованное тело — источник мук для человека и после того, как он испустил дух.

Аля закрыла глаза, отчетливо увидела свое тело, обезображенное камнями, какие бросали в нее из милосердия, чтоб быстрее прекратить ее муки, конвоиры, обеими руками уцепилась за Илана, приткнулась лицом к плечу, Илан не реагировал, видно было, что сам едва держится, только бормотал пересохшими губами, всему приходит конец, скоро кончится.

Действительно, скоро кончилось, но впереди, как будто подожгли землю, к небу подымались языки пламени, небо сделалось багровое, в огнях корчились люди, а другие, которые сновали между кострами на земле, подбрасывали поленья, костры чадили, небо заволакивало дымом, распятые на столбах

люди поникли головами, тела уже не корчились, дым, через ноздри, через разинутые рты, проникал в легкие, оставляло сознание, внезапно, Аля вздрогнула, изо рта вылетело белое облачко, устремилось, сквозь чад и клубы серого дыма, в небо, над пластами чада и дыма небо было синее, как будто заморозили синеву, и страдания прекратились.

Илан, голос звучал издалека, спросил у Али:

— Где ты, Аля?

— Я здесь, — ответила Аля.

— Где здесь? — спросил голос Илана.

Здесь, повторила Аля, хотела объяснить где, но не нашла точки, от какой можно было бы вести отсчет, чтобы объяснить, где, в каком месте она находится.

— Я здесь, — в третий раз сказала Аля, и поняла, нет никакой точки отсчета, она везде, отдельно, как это было прежде, Али нет: время, как будто вода, прихваченная морозом, остановилось, и место, какое отделяется от другого места временем, теперь, когда время остановилось, ничем не измерялось, и Аля ничем не измерялась, и больше нельзя было указать, вот здесь Аля начинается, а здесь или там, в другом месте, кончается.

— Илан, — сказала Аля, — я везде.

Илан взял Алю за руки, руки были холодные, синие, стал растирать, как растирают у детей на морозе, поднес к губам, подул, чтоб быстрее обогрелись. Аля смотрела на Илана, лицо, и губы, и глаза были, как у Эйтана, когда бежал к автобусу и кричал из окна автобуса, чтобы Аля непременно позволила — он будет ждать.

— Ты хороший, — сказала Аля, Илан наклонился, хотел поцеловать, Аля отстранилась, чуть оттолкнула: не надо.

Движение, каким Аля удержала Илана, было то же, каким донна Грация Мендес, когда она была еще Беатрисой

де Луна, дочерью маррана, удержала испанца-гранда, который пришел к ней, чтобы предупредить об опасности.

— Не надо, — сказала, отстраняясь, донна Беатриса, и чуть оттолкнула испанца.

Теперь, в Константинополе, после того, как она вторично избегла инквизиции, в этот раз в Венеции, где на нее, как на тайную еврейку, донесли ее собственные сестры, донна Грация устраивала дела своих единоверцев, которым султан, по ходатайству самой донны и ее племянника, князя Иосифа, разрешил поселиться в Святой Земле, в Галилее, в окрестностях Тивериадского озера.

Евреи называли ее Сеньорой, Ха-Геверет на языке отцов, и прекрасная донна Грация, принцесса, отметившая сороковую свою весну, чувствовала себя матерью бородатым сынам Израиля, явившимся к ней, своей заступнице, на которую Единый, благословен Он, возложил миссию — любовь и заступничество за детей Израиля.

Зеленые глаза донны Грации внезапно, когда охватывало ее волнение, делались черные, бородатые, в шапках, в чалмах, евреи смотрели на донну Грацию, в глазах, с покрасневшими веками, держалась давняя печаль. Аля чувствовала, надо, чтобы они поверили, что все будет хорошо — и все будет хорошо.

Донна Грация Мендес улыбнулась, у Али было отчетливое ощущение, донна Грация улыбалась ее, Алиной, улыбкой, и губы были ее, Алины, и рука, когда донна Грация откинула левую руку на спинку дивана, была ее, евреи смотрели на Алю, не стало, как будто смыли водой, красноты на веках, бородатые мужчины, в волосах седина, улыбались, как дети, в глазах блестели слезы, молча поклонились, и спиной, чтобы лица их были обращены к Але, отходили к дверям.

— Слушай, — евреи вышли, дверь сама притворилась, Илан устался на Алю, как будто сейчас только увидел, — они

приходили к тебе! Там, — Илан махнул рукой, — в XVI веке, ты была донна Грация, принцесса, ты была с ними, евреи приходили, чтобы ты заступилась!

Аля кивнула: приходили, чтобы она заступилась. Эту сцену, когда начали показывать, она вспоминала, как будто ведут по знакомой дороге, постепенно восстанавливается в памяти, донна Грация, пока не улыбнулась, была сторонняя, чужая, как бывает, когда смотришь на свою фотографию, есть знание, что это ты, но требуется усилие, чтобы понять, да, я, и все равно остается недоумение, как будто знаешь, и понимаешь, но нет настоящего, полного узнавания, когда без колебания говоришь: вот, узнаю.

— Ты узнала себя, — сказал Илан.

Да, сказала Аля, узнала. Не сразу, у памяти свои законы. Илан пожал плечами: четыреста лет — долгое время. Аля покачала головой: время, когда оно прошло, утрачивает протяженность. Если бы протяженность сохранялась, человеческая память подчинялась бы законам текущего времени и не могла выстраивать тысячелетия так, как будто каждое из них — миг, мгновение. Мгновения не знают очередности, порядка, память может переставлять их, и что было пять тысяч лет назад может оказаться ближе того, что было тысячу лет назад, ближе того, что было вчера или час назад. В этом, в текущем времени они с Иланом познакомились два часа назад, но были вместе уже там, пятьсот лет назад, когда Алю сжигали на костре, плоть обратилась в пепел, в прах, дух отлетел в сферы, сто лет спустя дух выбрал себе тело Беатрисы де Луна, донны Грации Мендес, а сегодня они, Аля с Иланом, встретились здесь и, вот, стоят рядом.

— Я знал тебя всегда, — сказал Илан. — Я узнал тебя сразу, я следовал за тобой, я страшно боялся, что потеряю тебя опять.

Аля сказала, не надо бояться потерять, все равно раньше или позже опять найдут друг друга, наверное, весь смысл в этом — терять друг друга и находить опять.

— Нет, — сказал Илан, губы сжались, снова стал похож на Эйтана, — я больше не могу терять тебя. Я не выдержу.

Илан обнял Алю, прижал изо всех сил, как будто в самом деле боится, вот-вот исчезнет опять, просил Алю, пусть тоже обнимет, Аля высвободила руку, было впечатление, что хочет обнять, но, нет, не обняла, наоборот, уперлась ладонями в грудь, высвободила другую руку, уперлась обеими ладонями и стала отталкивать. Зачем, спрашивал Илан, зачем отталкивать, не надо отталкивать, Аля не отвечала словами, только мотала головой, надо, и с силой оттолкнула.

— Ты права, — Илан поднял голову, смотрел Але в глаза, — води.

Аля улыбнулась, взяла под руку:

— Ты понял. Я знала: ты поймешь.

Сели в машину. Илан сказал, время восемь тридцать, до отеля полчаса, остается еще полчаса, можно заехать в Старый порт, выпить кофе. Пересекли реку Яркон, по обеим сторонам парк, поехали вдоль берега, впереди, над морем, висел месяц — огромный, багровый, как будто залит бычьей кровью, местами разбавили водой. Илан сказал, месяц, когда он багровый, представляет мужское начало, в бледном месяце прячут свое лицо отрок или женщина. В отроках древним виделась середина, эстетическое равновесие между двумя началами — женским и мужским.

Аля отодвинулась, повернула голову, уголок губ чуть приподнят, над губой, отчетливо видно, темный, какой бывает у подростка, пух.

— Ты похожа на мальчика, — сказал Илан, рука машинально легла на тормоз, — Аля, ты — мальчик!

— Мальчик, — кивнула Аля. — Я — мальчик.

Илан съехал с дороги, хотел завести машину в деревья, остановиться, Аля взялась за баранку, сказала, едем в отель, кофе отменяется.

Миновали Старый порт. Илан объявил — Старый порт! — набрал скорость, по дороге, как будто гид в автобусе, громко выкрикивал: отель „Мория”, отель „Ами”, отель „Дан”, высотное здание слева — Израильский банк, туристический центр, обмен валюты, далее, справа, дельфинарий.

— Хочу к дельфинам, — сказала Аля.

К дельфинам, ответил Илан, поздно: дельфины легли спать.

Внезапно — у берега, среди развороченных глыб бетона, по сторонам, вроде обрубки железных конечностей, торчали обломки арматуры — Илан затормозил, Алю оторвало от кресла, кинуло вперед, едва не ударилась лбом о стекло. Илан сказал, остатки земной цивилизации на чужой планете. Можно немного побродить.

Аля вышла из машины, впереди, среди обломков, каменное ложе, в лунном свете напоминало кратер, было устлано кусками поролона и ветошью. Аля остановилась, смотрела на Илана, Илан сделал шаг, Аля выставила ладони, закричала, нет, пусть не двигается, пусть стоит на месте, Илан схватил за руку, потянул, повалил, Аля упала навзничь, Илан набросился, старался повернуть на живот, спиной к себе, нет, кричала Аля, нет, изо всех сил прижималась к земле, стиснула колени, Илан, сколько ни старался, не мог развести, стал выкликать, как будто в бреду, что ждал тысячу лет, больше ждать не может, наконец, удалось развести Алины ноги, Аля просила, не надо, машинально обняла, прижала к себе, тут же начала отталкивать, отталкивать и прижимать, отталкивать и прижимать, было ощущение, что поднимается и опускается, парит над землей, от

подъемов и спусков кружилась голова, перехватывало дыхание, казалось, не выдержит, еще один заход к земле — и разобьется.

— Нельзя! — закричала Аля. — Милый, что ты делаешь! Нельзя!

— Нельзя, — повторял Илан, — нельзя!

Аля прижала пальцами позвоночник, Илан просил, крепче, пусть прижмет крепче, Аля прижала крепче, сама подалась навстречу, закричали, как будто по команде, в один голос: вместе! вместе!

Получилось вместе. Илан поцеловал Алю, стал гладить, хотел опять поцеловать, Аля спросила: долго будем так лежать?

— Сойди, — сказала Аля, — ты тяжелый.

Небо было совсем близко, звезды, Аля явственно чувствовала, смотрят на нее и видят ее, видят, как видят человеческие глаза: белые, на голених веснушки, ноги, каштановый, вроде подкрашен хной, пах, четко очерчен треугольник, основание по нижней складке живота, чуть намечен желобок, к центру живота, где пупок, тянется курчавая дорожка, на груди, вокруг сосков, золотистый пух, Аля закрылась ладонями, заплакала:

— Зачем ты это сделал?

— Ты хотела этого, — сказал Илан.

Поднялись, Илан затянул молнию на брюках, Аля взяла трусики, отерла бедра, бросила трусики в воду, посплюнула ладони, провела по юбке, выпрямилась, смотрела Илану в глаза, повторила:

— Зачем ты сделал это? Зачем?

Илан сказал: Аля сама хотела, если бы не хотела...

— Мерзавец! — Аля завела руку книзу, со всего маху ударила по щеке. — Трус!

Илан схватил Алю за руку, притянул к себе, повторил, Аля сама хотела, и еще хочет, и он опять возьмет ее.

Аля, когда Илан уложил ее на землю, сама раскинула ноги, и так, с раскинутыми ногами, как будто неживая или без памяти, продолжала лежать, пока Илан делал свое.

— Вставай, — Илан поднялся, привел себя в порядок, подал Але руку.

Аля взяла камень, протянула Илану:

— На, побей меня.

Илан швырнул камень в море, засмеялся: он не для того искал ее, чтобы побить камнями или отдать другому.

— Уходи, — сказала Аля. — Я ненавижу тебя.

Илан ответил, нет, они вместе пойдут в отель, он скажет: не надо ждать — Аля уходит к нему.

— Ты взял меня силой. Ты насильник, — сказала Аля. — Я ненавижу тебя. Уходи.

Симон ждал в отеле.

— Малыш, — Симон раскрыл руки, бросился к Але, — ну, как так можно! Захотелось пройтись — ну, оставь записку, ну, звякни по телефону. Но дай знать! Я думал с ума сойду: одна, в незнакомом городе, Тель-Авив — это Тель-Авив. Слава Богу, здорова, невредима. Малыш, обещай, первый и последний раз.

Аля смотрела на Симона, он засмеялся, зажмурил глаза, полез на Алю, весь дрожал, вроде сильный озноб, не в силах совладать с собой.

— Малыш, — Симон схватил Алю за плечи, повалил на диван, — я безумный, я потерял рассудок!

— Симон, — сказала Аля, — меня изнасиловали.

Симон нахмурился, погрозил пальцем: малыш шутит, за такие шутки — шутницу на дыбу.

— Симон, — Аля поднялась, смотрела в глаза, — я была близка с другим.

В один миг, как будто отвели с лица всю кровь, Симон

сделался белый, губы синие, весь осунулся, постарел на двадцать лет, совсем старик:

— Малыш, тебя изнасиловали!

Нет, ответила Аля, не изнасиловали.

— Не изнасиловали, — повторила Аля.

Симон стал носиться взад-вперед, закричал, пусть Аля даст компендий.

— Компендий! — требовал Симон. — Компендий!

Аля спросила, что такое компендий, Симон замахал руками, заорал, от крика сорвался голос: не надо притворяться, она хорошо знает, она отлично знает — компендий! компендий!

Аля кивнула, хорошо, компендий, рассказала по порядку, как расстроилась, когда Симон отложил ланч, потом отложил обед, как вышла погулять, хотела рассеяться, как Илан увидел ее, оказалось, работает гидом, своя машина, предложил услуги...

Мерзавец, закричал Симон, голос совсем осип, какая машина, какой гид, это профессиональный жулик, насильник, надо немедленно звать полицию, опознать, составить акт!

Симон схватил трубку, набрал номер, приказал Але: говори!

Аля протянула руку, видно было, что машинально, и тут же отдернула.

— Жалеешь? — закричал Симон. — Какая жалость: выродок, бандит, насильник, гуляет на свободе, ищет новую жертву!

Аля смотрела, глаза остановились, будто не видит, не слышит.

— Жалеешь! — Симон ударил кулаками по столу, схватил стул, швырнул на пол. — Он надругался над тобой, а ты жалеешь! На, — Симон протянул трубку, опять набрал номер, — не надо слов, плачь, мычи, кричи, я объясню, шок, потрясение, невменяемое состояние, потеряла дар речи!

— Симон, — сказала Аля, — ты хочешь, чтобы я лгала. Я не буду лгать. Ты знаешь правду: меня не изнасиловали.

— Не изнасиловали! — Симон поднял руки, затряс над головой. — Господи, ее не изнасиловали! Чистый случай, подготовленное, заранее рассчитанное, рафинированное насилие! Она обезумела. Аля, ты обезумела! Ты еще скажи, что сама отдалась и получила удовольствие.

Аля смотрела, было впечатление, думает, не знает, что ответить. Симон опять сделался белый, как будто отвели с лица всю кровь.

— Да, — сказала Аля, — получила.

— Ложь, — замотал головой Симон, — ложь! Ты скажи еще, что было лучше, чем со мной!

Аля пожала плечами:

— Не знаю.

— Что значит не знаю! Лучше? — домогался Симон. — Ответь: лучше?

— Да, — сказала Аля, — лучше.

— Я предвидел, — захохотал Симон, — предвидел, что будет такой ответ! Скажи еще, где: на камнях, у моря, где мы были вчера!

Да, подтвердила Аля, на камнях у моря, где они были вчера.

— Предательство! — Симон схватился за голову, прижал ладонями уши, как будто не вмоготу слышать собственный голос. — Ты предала родного отца, предала мужа, предала меня! Ты всех предаешь. Зачем ты предаешь? Скажи: зачем ты предаешь!

Аля ответила, она никого не предавала и не предает. Это не предательство.

— Не предательство? — поразился Симон. — А что же это?

Аля сказала: это хаос.

— Симон, — повторила Аля, — это хаос. Ты же сам объяснял, никто не знает почему, для чего: ключи — в прошлом. Какой-то электрон залетел куда не надо, а может, наоборот, куда надо. Никто не знает.

— А воля? — Симон сел на диван, зажмурил глаза, на губах, как будто маска, застыла улыбка. — А свободная воля?

Аля пожала плечами: свободная воля? Свободной воли нет.

— Симон, — сказала Аля, — ты хорошо знаешь: свободной воли нет. Все детерминировано — свободной воли нет. Ты сам говорил: в Сингапуре бабочка махнула крылом — в Лондоне испортилась погода.

— Мы не в Лондоне, — опять зашелся в крике Симон, — мы не в Сингапуре! Бабочка, мы не в Сингапуре — мы на Святой земле! Здесь, — Симон топнул ногой, — здесь сказано было человеку: ты не животное — ты человек, будь человеком!

Аля взяла чемодан, положила на кровать, вынула из шкафа свои вещи, стала складывать, Симон подскочил, схватил чемодан, забросил в шкаф, дверцу захлопнул, закричал, он сейчас покажет, есть свободная воля или нет свободной воли.

— Звони, — приказал Симон, подал Але трубку, — зови полицию — тебя изнасиловали! Зови, твоя свободная воля!

— Моя свободная воля? — Аля пожала плечами. — Я пошутила. Ничего не было. Розыгрыш.

— Розыгрыш? — переспросил Симон, глаза сощурились, совсем узенькие щелки, как будто жмурится на яркий свет. — Ты уверена: розыгрыш.

Аля кивнула: розыгрыш.

Симон засмеялся: конечно, розыгрыш. Он с самого начала знал: розыгрыш.

— Малыш, — Симон открыл холодильник, достал бутылку шампанского, поставил на стол, — ты чудовище! Ты Цирцея,

ты можешь превратить Одиссея в ревнивую свинью! Ты Астарта, ты пожираешь свою жертву! Ты Сцилла и Харибда — ты дробишь человеческие кости в муку, в прах, без вида, без формы, и лепишь заново, как Демиург! Малыш, — Симон разлил шампанское, — ты вестник миров, ты, как звезда, которая десять миллиардов лет назад послала свой луч, а люди только сегодня увидели: законы времени не для тебя — нету до, нету после, есть всегда, есть вечность, смешение времен, в образе девы-женщины без порока!

— Симон! — Аля закрыла лицо руками.

— Дева! — воскликнул Симон. — Открой, дева, лицо, не прячь! Глаза твои океан, бездна — прими, дева, дай низвергнуться!

Симон завел руки над головой, как будто стоит над пропастью, раскрыл рот, казалось, черная дыра, зубов нет, одни губы, вроде маска из греческой трагедии, сейчас раздастся безумный крик, вопль, начал двигаться, наступать, подошел совсем близко, видно было, собирает силы, сейчас бросится. Вдруг постучали в дверь, стали дергать снаружи ручку, Аля вздрогнула, приказала Симону:

— Открой!

Симон открыл, хотел удержать человека у порога, тот с силой толкнул дверь, отвел Симона рукой к стене, чтобы не мешал в проходе, и сказал Але:

— Я за тобой. Пошли.

— Илан, — Аля сделала движение рукой, как будто представляет. — Симон, я говорила тебе: это Илан.

Илан обратился к Симону, назвал папой и вежливо спросил: как будем, по-хорошему или, наоборот, не по-хорошему, как царь Давид, который отобрал жену у своего офицера генштаба, Урии, а самого отправил на передовую, чтоб там ему погибнуть от стрел врага?

Симон, будто не к нему обращаются, захлопнул дверь, прижался спиной и приказал Але, пусть немедленно вызывает полицию. Илан взял с тумбочки телефон, поднес Симону и сказал, среди евреев это не принято, поручать женщине работу, которую мужчина может сделать сам.

— Шантаж! — закричал Симон. — Малыш, он шантажирует тебя! Ты боишься — я сам вызову полицию!

Илан взял Алю за руку, приказал, идем, первое впечатление было, что Аля готова следовать, но вдруг, как будто напало внезапное бешенство, затопала ногами, закричала:

— Выгони его! Вон! Оба вон!

— Истерика! — замахал руками Симон. — Это истерика! Он не выйдет отсюда так! Полиция! — Симон набрал номер, закричал в трубку, от возбуждения осекся голос, — полиция! полиция!

Илан направился к двери, сказал Але, он будет ждать внизу, в холле, Симон подскочил, схватил за рубашку, заявил, в этот раз насильник не уйдет, только в руки полиции, Илан размахнулся, хотел ударить, Симон машинально отвел голову, Илан ухватил двумя пальцами за нос, повел, отступая к двери, за собой, Симон мотал головой, Аля готова была вмешаться, помочь, неожиданно разобрал дурацкий смех, вся затряслась, не могла произнести ни слова, у дверей Илан сам отпустил, крикнул Але, пусть собирается, он ждет внизу, Симон по-прежнему держал за рубашку, не отпускал, оба оказались за порогом, Аля захлопнула дверь.

В коридоре продолжалась возня, потом голоса стали стихать, видно, спускались по лестнице, наконец, совсем стихло, Аля позвонила в полицию, сказала, все в порядке, приезжать не надо.

Через четверть часа вернулся Симон, с порога закричал: — Малыш, торжествуя: сдал мерзавца — с рук на руки! —

Симон открыл холодильник, воскликнул: — Малыш, еще бутылка шампанского! И в Яффу — на всю ночь!

Симон налил себе, налил Але, подал бокал, чокнулся, опрокинул торопливо, как будто водка, чуть не захлебнулся, Аля наблюдала, глаза были странные, пей, требовал Симон, пей, Аля пригубила, казалось, отпивает понемногу, Симон закричал, вдвоем, из одного бокала, стал пристраиваться, выпятил губы, Аля внезапно отвела руку с бокалом и плеснула Симону в лицо.

Симон ахнул, первое желание было ударить Алю, она стояла неподвижно, было впечатление, что ждет, Симон схватил за руку, вытер лицо и так, держась за Алину руку, упал на колени, смотрел снизу вверх.

— Не смотри так! — закричала Аля, закрыла лицо руками, Симон прижался головой к ногам, стал тереться, втискиваться. — Возьми меня, — сказала Аля, опустили на колени, друг к другу лицом, растянула у Симона ремень, стянула брюки, Симон хватал, целовал, как безумный, сорвал с Али блузку, трусов не было, мелькнула мысль, Аля, пока он объяснялся, толокся с этим ублюдком, Иланом, готовилась, ждала, от этой мысли совсем ошалел, забормотал, ждала, готовилась, требовал подтверждения, да, отвечала Аля, да, и, как заводная, повторяла это свое да, пока Симон дергался, кидал, толкал Алю, вроде голодный зверь, кромсает, рвет добычу на части.

Когда утихли, Симон прикорнул рядом, Аля оттолкнула, спросила:

— Зачем ты сделал это? Ты видел: я без трусов.

Симон засмеялся: видел, Аля готовилась, ждала.

— Лжешь, — сказала Аля, — ты знаешь, что лжешь: трусы в море, я обтерлась, бросила трусы в море, после него, Илана.

Илан, сказал Симон, в руках полиции, получит свое.

— Ты лжешь, я звонила в полицию, предупредила, приезжать не надо. Симон, — сказала Аля, — я не люблю тебя.

Аля поднялась, пошла к двери.

— Ты не уйдешь! — вскочил Симон. — Я не отпущу, ты не уйдешь!

Аля обернулась:

— Я хочу плюнуть тебе в лицо. Тьфу! — плюнула Аля. — А теперь назови меня словом, какое у тебя на уме. Ну, — требовала Аля, — назови, не бойся, все равно потерял меня, назови же: я хочу услышать! Назови!

Неправда, замахал руками Симон, у него нет этого слова на уме.

— Малыш, — закричал Симон, — неправда!

Аля вынула из шкафа чемодан, стала складывать вещи. На улице, под балконом, засвистели, как будто подают сигнал, вызывают. Аля выглянула. Илан, задрав голову, смотрел вверх, увидел Алю, махнул рукой, пусть выходит. Симон задержал занавес, Аля взяла чемодан, направилась к двери, Симон побежал, перегородил дорогу, прижался спиной к двери, развел руки в стороны, вроде распят, закричал, Аля не уйдет, он не выпустит, Аля поставила чемодан, подошла к телефону, набрала номер, спросила в трубку: полиция?

Симон подскочил, выхватил трубку, дал отбой, Аля сказала, хорошо, отбой, но Симон уйдет, она хочет остаться одна.

— Ты не останешься одна! Я не могу оставить тебя одну! — закричал Симон.

Аля сказала, она не останется одна.

— Ты говорила, что хочешь остаться одна! — Симон сделался белый, лицо, как у покойника, как будто напудрили. — Ты говорила, что останешься одна!

Аля подошла к окну, стала отводить занавес, Симон сказал, не надо, он уходит, открыл дверь, повторил, он уходит,

пусть Аля сделает, как она хотела, останется одна, он идет навстречу, он понимает, она должна побыть одна, пусть побудет одна.

Аля покачала головой: она не останется одна, она позовет Илана.

— Я хочу, чтобы пришел Илан, — сказала Аля. — Передай Илану: я хочу, чтобы он пришел. Я хочу, чтоб он остался здесь.

— Малыш! — Симон протянул руки. — Одумайся, малыш!

— Я с Иланом, — Аля указала на кровать, — буду спать здесь. А ты, — Аля указала на диван, — будешь спать здесь.

Симон покачал головой: он не будет спать здесь.

— Ты будешь спать здесь, — сказала Аля.

— Не надо, — Симон зажмурил глаза, как будто яркий свет, больно смотреть. — Малыш, я люблю тебя. Не надо.

— Я знаю, — кивнула Аля, — ты любишь меня. Илан тоже любит меня. Зови.

— Я не могу, — Симон замотал головой. — Малыш, я не могу.

— Ты можешь, — сказала Аля.

Нет, опять замотал головой Симон, нет, не может.

Аля смотрела внимательно, было впечатление, разглядывает незнакомого человека, прежде не видела.

— Я с тобой, — Аля указала на кровать, — буду спать здесь. Илан, — Аля указала на диван, — будет спать здесь. Иди, зови.

Нет, сказал Симон, он не пойдет. Если Аля хочет, пусть сама зовет. Но пусть сначала объяснит Илану, для чего зовет.

Аля отдернула занавес, спросила: Симон хочет, чтобы она кричала с балкона? Хорошо, сказала Аля, она будет кричать с балкона.

Нет, сказал Симон, не надо кричать: он позовет. Симон подошел к балкону, хотел открыть дверь, Аля остановила: нет,

не с балкона, пусть спустится вниз и пусть возвращаются оба.

— Я уйду, — сказал Симон, — я не вернусь.

— Ты не уйдешь, — Аля смотрела в глаза. — Ты вернешься. Иди.

— Я уйду, — повторил Симон. — Не жди: я не вернусь.

— Иди, — сказала Аля и слегка подтолкнула, чтобы больше не задерживался. — Иди.

Аля оттянула занавес, выглянула: Симон прошел мимо Илана, быстро, не глядя, как будто не знакомы, совершенно посторонние люди, завернул за угол, Илан тут же взбежал по ступенькам, Аля выключила свет, раздался стук в дверь, Аля продолжала стоять у балкона, опять постучали в дверь, Аля не обращала внимания, наблюдала за улицей, невольно сделала шаг вперед, ступила на балкон, хотя и так все было как на ладони. Из-за угла появился Симон, видно было, едва сдерживает себя, чтобы не побежать. Увидев, что в номере темно, не выдержал, побежал.

Илан забарабанил в дверь, позвал Алю, она не отвечала, снова раздался стук, Симон крикнул из-за двери, пусть немедленно отпирает, а то будут взламывать.

Аля отперла, хотела включить свет, но передумала, отступила вглубь комнаты, снаружи дернули ручку, с силой, как будто решились взломать, дверь неожиданно сама распахнулась, оба, Илан и Симон, оказались в комнате одновременно, Симон бросился к выключателю, зажег свет.

Аля стояла голая, чуть расставлены ноги, руки вдоль туловища, огромные, как будто обвели черным фломастером, глаза, взгляд без фокуса, похожа на сомнабулу, Илан и Симон смотрели, как замороженные.

— Мальчики, — сказала Аля, — возьмите меня. Кто первый?

Оба оставались на месте, как будто напал столбняк, не могут двинуться, Аля обратилась к Симону:

— Симон, — сказала Аля, — ты будешь первый. Он, — Аля повернула голову в сторону Илана, — взял меня дважды. Теперь твоя очередь. Приказывай: лечь на спину, на живот, встать к стене, к столу, на колени? Приказывай.

— Малыш, — наконец, сошел столбняк, вернулся дар речи. — Малыш, — закричал Симон, подбежал к дивану, схватил Алину одежду, — прикрой наготу! Этот мерзавец видит твою наготу!

Аля обратилась к Илану:

— Ты, — сказала Аля Илану, — будешь первый. Приказывай: выйти на балкон, на улицу, лечь на камни, на мостовую? Приказывай.

Илан смотрел на Алю, как будто вдвоем в номере, больше никого нет, зажмурил глаза, со стороны казалось, схватившая внезапно острая боль, скривились губы, покачал головой и сказал: нет. Нет, повторил Илан, открыл глаза, взгляд был твердый, ясный, он приказывать не будет, пусть Аля приказывает: ее воля.

— Шантаж! Насилие! — закричал Симон. — Мерзавец, уголовник, он насилует тебя! Он опять насилует тебя! Малыш, прикажи ему: пусть убирается вон! Пусть немедленно убирается вон! Демагог, мерзавец, насильник!

— Возьми меня, — сказала Аля. — Илан, ты пришел, чтобы взять меня. Возьми меня.

Аля легла на кровать, раскинула ноги, руки завела под себя.

— И раскидывала ноги для всякого мимоходящего! закричал Симон, голос, как у безумного, бросился к Але, закрыл своим телом. — Я убью его! Малыш, скажи ему, я убью его!

Илан подошел к кровати, остановился, Симон выставил кулаки, левый, как у боксеров, чуть впереди, Илан, вроде что-то уронил, хочет поднять с полу, наклонился, Симон машинально поджал ноги, Илан схватил за штанины, стянул брюки, забросил под кровать, тут же потянул за трусы, лопнула резинка, Симон вскочил, трусы сползли до колен, Илан ухватил за подол рубахи, дернул с силой. Симон замотал головой, выпростал, остался в одной майке, рубаха, рукавами, висела на руках, получилось вроде передника, трусы свалились, хотел сделать шаг, запутался и упал, голые ягодички кверху, у основания курчавились волосы, ребром туфли, как будто гребенка, Илан старательно пригладил.

— Возьми меня, — сказала Аля. — Илан, разве ты не за тем пришел, чтобы взять меня?

— Ложь! — закричал Симон. — Малыш, ты обезумел! Ты убиваешь меня!

— Симон, — Аля как лежала, так продолжала лежать, глаза устремлены в потолок, — пожалуйста, умолкни, я не могу слышать твоего голоса. Когда ты кипятишься, у тебя очень неприятный голос. Пожалуйста, помолчи. Илан, иди ко мне. Вот я, иди ко мне.

Симон полез под кровать за штанами, Илан наклонился над Алей, прижался лбом, стал тереться, она обняла левой рукой за шею, правую отвела в сторону, послышался легкий звон, будто лезвие ударилось о пол, Илан машинально повернул голову, хотел взглянуть, Аля внезапно закрыла глаза ему ладонью, ладонь была горячая, липкая, стала водить по кругу, Илан отпрянул, провел пальцами по лицу, в глазах застыл ужас, Симон успел натянуть штаны, вылез из-под кровати, лежа еще на полу увидел Илана, все лицо в крови, и закричал:

— Возмездие! Малыш, я знал, я был уверен! Возмездие!

Симон оперся на руки, привстал, Аля, как прежде с

Иланом, обхватила левой рукой за шею, будто обнимает, хочет покрепче прижать к себе, закрыла глаза ладонью и стала водить по кругу. Симон пытался вырваться, было ощущение, что захлебнется в крови, Аля крепко держала, не отпускала, наконец, удалось вырваться, вскочил на ноги, Аля держала правую руку на весу, кровь стекала на пол, собралась лужица. Аля наклонилась, обмакнула руку, размазала по лицу.

— Почему вы не берете меня? — спросила Аля. — Вы пришли, чтобы взять меня. Мальчики, почему вы не берете меня? Теперь вы братья, помазаны кровью матери вашей. Вот я, возьмите меня: я — Лилит, мать ваша. — Аля помазала сосцы кровью. — Вот, возьмите от сосцов моих: чтобы насиловать. нужна сила.

Кровь сочилась из руки, простыня, где Аля держала ладонь, промокла насквозь. Симон всполошился, сказал, надо вызвать скорую помощь. Илан поднял с полу лезвие, спросил у Али, чего она хочет: хочет, чтобы он перерезал себе горло?

Нет, сказала Аля, она хочет, чтобы взяли ее, как брали там, на пустыре, на камнях.

— Возьмите меня, — Аля закрыла глаза, повела бедрами.

— Малыш, — Симон затряс руками, — это бред, это безумие!

Илан уронил лезвие, послышался легкий, будто задела струну, звон.

Аля выдернула угол простыни, захватила зубами, отодрала полосу, перевязала руку выше запястья.

— Идите, — сказала Аля.

Оба не двигались, застыли у изголовья, как будто караул, стоят на часах.

— Идите, — повторила Аля. — Вы боитесь за меня? Не бойтесь. Вы хорошие. Симон, я люблю тебя, ты хороший. Илан, я люблю тебя, ты хороший. Идите.

Илан наклонился, хотел поцеловать, Аля притянула к себе, сама поцеловала, оттолкнула и повторила: иди.

Симон, когда остались вдвоем с Алей, бросился на колени, схватил за руку, всю обцеловал, Аля выдернула руку, сказала, это лишнее, велела умыть лицо и идти.

— Иди, — сказала Аля.

— Малыш, — Симон сплел пальцы, от сильного напряжения побелели фаланги, — это безумие, это хаос! Малыш, это хаос! Малыш, я люблю тебя, я умру без тебя!

— Симон, — сказала Аля, — я не люблю тебя. Ты знаешь, я не люблю тебя. Иди.

— Малыш, — замахал руками Симон, — ты любишь меня! Малыш, немедленно, сейчас же, сию минуту ты оставляешь эту мерзкую ночлежку, снимаем квартиру, ты — полная хозяйка. Все, решено и подписано. Собирай свои лахи, поехали.

— Симон, — сказала Аля, — я не люблю тебя.

— Поцелуй меня, — Симон подставил щеку.

— Нет, — сказала Аля.

— Ты целуешь первого встречного! — возмутился Симон. — Ты целовала этого насильника, — Симон указал на место, где стоял Илан, — а мне говоришь: нет! Это — глумление, это — надругательство!

Аля сказала, она свободный человек. Чужая воля — надругательство. Надо любить. Люди должны любить. Но требовать любовь — это вымогательство, это тирания.

— Симон, — сказала Аля, — ты вымогатель, ты тиран.

— Малыш, — Симон зажмурил глаза, подставил лицо, — целуй меня: безумно, неистово, до потери сознания! Малыш, целуй!

Аля поцеловала, Симон замотал головой: еще! еще!

— Симон...

— Молчи, — остановил Симон, — ты любишь, любишь меня — это правда, все остальное — ложь!

— Милый, — Аля обняла, прижала голову к себе, на плечи, как будто красная тонзура, пятно крови, — ты прав: я люблю.

Аля поднялась, пошла в ванную, принесла влажное полотенце, вытерла Симону лицо, плешь, вытерла свое лицо, местами, как после грима, остались розовые пятна.

— Ты прав, — повторила Аля, — я люблю. Все будет хорошо. Надо только верить: все будет хорошо. Иди.

Симон по дороге чмокнул, хлопнула дверь, шелкнул замок, Аля взяла из сумки бумажку, набрала номер.

— Ты! — воскликнул в трубке голос Эйтана. — Я весь вечер жду. Почему так поздно? Места не мог найти себе, думал, не дождусь, обманула. Не обманула!

— Эйтан... — Аля запнулась, было впечатление, что ищет слова.

— Говори, — подстегнул Эйтан, — говори, милая!

— Эйтан, — сказала Аля, — меня изнасиловали.

В трубке послышался лязг, грохот, как будто ударили железом о железо.

Эйтан объяснил: шум от автомата, „Узи”, автомат упал на пол, на полу ящик с минами.

— Эйтан, — сказала Аля, — побей меня камнями.

— Тебя изнасиловали? -- спросил Эйтан. Аля не отвечала. -- Мы найдем его. Я найду его, я убью его! — крикнул Эйтан.

— Его зовут Илан, — сказала Аля. — Похож на тебя.

— Илан? — воскликнул Эйтан. — Мой брат!

— Твой брат, — повторила Аля. — Эйтан, я хочу к тебе. — В трубке шелкнуло. — Я еду к тебе, я хочу к тебе. Милый, прикажи, позови. Позови! — закричала Аля.

Телефон не отвечал. Аля набрала номер, опять защелкало,

затрещало, Аля набросила платье, бегом спустилась вниз, за конторкой стоял Габриэль.

— Добрый вечер, Габриэль, — сказала Аля. — Наконец ты пришел.

— Добрый вечер, Бина, — кивнул Габриэль. — У тебя на руке кровь. Дай руку.

— Габриэль, — сказала Аля, — почему ты не приходил? Я ждала тебя. Я здесь живу, — Аля указала пальцем вверх, — идем. Габриэль, я зову тебя: идем.

Габриэль выпустил руку, показал Але, рука совсем здорова, только рубцы, рубцы пройдут.

— Габриэль, — сказала Аля, — я не хочу жить. Я хочу умереть.

— Бина, — нахмурился Габриэль, — чтоб я больше никогда этого не слышал от тебя.

— Габриэль, ты не хочешь меня? Габриэль, — спросила Аля, — разве ты не человек, что не хочешь меня? Меня все хотят.

— Бина, — нахмурился Габриэль, — ты не с улицы: выби-рай слова.

— Габриэль, я больше не могу. Я устала.

— Кто на ногах, — сказал Габриэль, — не устал. Бина, не привередничай, не жалуйся: иди. Велено — иди.

— Куда идти? — спросила Аля.

Иди, сказал Габриэль, дойдешь, узнаешь.

Светало. Один за другим позвонили Илан и Эйтан. Илан сказал: „Я потерял брата”. Эйтан сказал: „У меня нет брата”. Аля повторяла машинально: потерял брата, нет брата.

Утром Эйтан звонил опять: приезжай.

— Нет, — сказала Аля.

— Я еду к тебе, — сказал Эйтан.

— Нет, — повторила Аля.

Аля укладывала вещи, позвонил Симон:

— Малыш, ключи в кармане: четыре комнаты, солярий, вид на море — сегодня переезжаем!

В полдень Аля вылетела в Нью-Йорк. Габриэль пришел в последнюю минуту, миновал контрольный пост, никто не останавливал для досмотра, подбежал к Але, обнял, на глазах выступили слезы, Аля сказала: „Габриэль, я люблю тебя, не надо плакать”, — и сама заплакала.

Самолет вырулил на взлетную полосу, Габриэль стоял у окна, махал рукой, губы беззвучно шептали: „Сестра моя! дочь человеческая!”

XXI

Альбина вскочила среди ночи, растормошила Макса, закричала не своим голосом:

— Папа умер!

Макс сказал, предутренняя тоска, древние говорили, час демонов, с рассветом все пройдет.

— Макс, — Альбина закрыла лицо руками, — папа хотел меня видеть, папа звал меня, я слышала голос, я видела лицо, между глазами — полость, как будто на рентгене, покрасили синей краской.

— Маска Гиппократ, — сказал Макс, — вестник смерти, но не смерть. Демоны забавляются, с рассветом все пройдет. Ложись.

Альбина легла, сказала Макс, чтобы обнял, прижал изо всех сил. Макс обнял, прижал изо всех сил, Альбина бормотала, сильнее, еще сильнее, еще, наконец, утихла, расслабилась, дыхание выравнилось, Макс поцеловал в затылок, в темя, Альбина не реагировала, было впечатление, что заснула, Макс тоже стал засыпать.

Внезапно, за окном уже серело, раздался крик, крик был с клекотом, как будто птица:

— Проклята! Проклята!

— Макс, — Альбина зажала кулаками рот, — я проклята! Папа проклял меня!

Крик повторился, гулкий звук, вроде шел изнутри, из утробы, Макс ткнул Альбину пальцем в живот, сказал: крик отсюда. Альбина оттолкнула Макса, на лице застыл ужас, глаза черные, блестят, как будто полированные, из черной лавы.

Макс заварил чаю, пол-лимона, малиновое варенье, зерно, как пороховая дробь, душистого перца, подал Альбине:

— Снадобье от нечистого. Пей.

Альбина выпила, потребовала еще, стало легче, глаза посветлели, зрачок сделался нормального размера, чуть-чуть пульсировал, как будто звезда, выплескивает пучки света.

Альбина успокоилась, взяла Макса за руку, зажала между ног, обняла и заснула.

Утром, кончили завтракать, Макс положил в портфель свои схемы, структура рибонуклеиновых кислот птеродактиля, уже стоял у дверей, принесли телеграмму: „Отец болен. Операции отказали. Срочно приезжай”.

Макс сказал, надо немедленно ехать в Вашингтон, в консульство. Альбина надела очки, еще раз прочитала телеграмму.

— Я ненавижу тебя, — сказала Альбина. — Уходи.

Макс повторил, надо немедленно ехать в Вашингтон, он возьмет день за свой счет, поедут вдвоем.

— Я говорила тебе, папа болен, папа умирает! Ты не верил. Почему ты не верил? — Альбина заплакала. — Почему?

— Ты не говорила, папа умирает, — сказал Макс. — Ты говорила: папа умер. Папа не умер, папа болен. В телеграмме написано: болен.

Альбина отвернулась, зажмурила глаза, как будто не в силах глядеть:

— Макс, почему ты не оставляешь меня? Я хочу, чтобы ты оставил меня. — Альбина махнула рукой. — Уходи.

Макс сказал, надо поторопиться, консульства обычно работают до полудня, после обеда приема нет — только выдача документов.

— Я поеду сама, — сказала Альбина. — Тебе незачем ехать. Я не хочу, чтобы ты ехал.

Макс повторил, надо поторопиться, времени в обрез, позвонил в аэропорт, заказал два билета.

Альбина сказала, она не хочет самолетом, она поедет машиной.

Макс постучал пальцем в висок: безумие.

— Я еду сама, — повторила Альбина. — Поцелуй меня.

Дорога заняла три часа пятьдесят минут. Митрохин, помощник консула, сказал Альбине: везучая, еще десять минут — ждать бы до завтра. Разговаривал вежливо, Альбина сидела в кресле, Митрохин стоял рядом, просматривал бумаги, видно было, что сочувствует, велел придти после обеда.

Альбина позвонила Максу на работу, сказала, все в порядке, велели придти после обеда за визой. Макс спросил: так и сказали, приходите за визой? Не такими словами, ответила Альбина, но смысл такой: Митрохин, симпатичный парень, шатен, глаза, как у Дона Сатэрленда, прочитал все бумаги, выразил сочувствие, велел придти после обеда.

Улочка, где находилось консульство, была приятная, тихая, особняки, много зелени, чуть подальше здание школы, высыпали гурьбой ученики, наполнили улицу шумом, криками, смехом, будто вдруг ожило мертвое царство, как бывает в оперных постановках, приятно было смотреть на их веселую возню, немножко завидно, Альбина вспомнила Одессу, свою

школу, защемило внутри, вроде потеряла что-то, навсегда, никогда уже не вернется, неожиданно возник перед глазами папа, лицо хмурое, опять с синевой между глазами, в этот раз вся полость носа синяя, поднял руку, непонятно, то ли призывает, то ли, наоборот, гонит, уходи, Альбина сделала шаг навстречу, отец отступил, Альбина закричала — это я! папа, это я! — отец вдруг исчез, в синем воздухе остался отпечаток человеческой фигуры, похожий на египетский саркофаг, поставленный стоймя.

После обеда Альбине вернули документы, выдали в окошко, сказали, про болезнь и состояние отца нужна телеграмма от медицинского учреждения, заверенная по форме, они там знают, какая форма, а так, без формы, ходатайства о визе удовлетворяются в общем порядке.

Альбина спросила, где Митрохин, она хочет видеть Митрохина. Сначала ответили, что Митрохина в данный момент нет и неизвестно, когда будет. Альбина сказала, она хочет видеть Митрохина и не уйдет отсюда, пока не увидит Митрохина. А если нет Митрохина, она будет говорить с консулом, пусть проведут ее к консулу или пусть консул сам выйдет сюда.

Альбина сидела в кресле, смотрела на часы, секундная стрелка всякий раз, перескакивая с деления на деление, дергалась, как будто требуется усилие, надо преодолеть сопротивление, иногда чудилось, что стрелка вовсе остановилась, не может сдвинуться с места, мелькнула мысль, если бы всю жизнь так смотреть на секундную стрелку, жизнь казалась бы бесконечной.

Через четверть часа Альбина подошла к окошку, повторила, она отсюда не уйдет, будет здесь ночевать, пусть вызывают полицию.

Зазвонил телефон, девушка взяла трубку, прикрыла микрофон рукой, сделала Альбине пальцем знак подождать,

кончив разговор, сказала, Митрохин вернется через час, раньше не вернется. И добавила: консульство закрывается через час.

Альбина опять села в кресло, сняла туфли, поставила рядом, придвинула к себе другое кресло, положила ноги. Вынув из сумки журнал, надела очки, стала листать. Открылась дверь, вышел мужчина, по выправке видно, военный, сказал, в советских учреждениях так сидеть не принято, для служащих и посетителей общие правила, взял кресло и поставил на место. Альбина подтянула ноги, поставила пятками на сиденье и спросила: а так принято? Оказалось, так тоже не принято.

Пока Альбина объяснялась, опять отворилась дверь, появился Митрохин, принес свои извинения и, как в прежний раз, стал подле кресла Альбины и так, стоя, будто проходил мимо, случайно, на минуту, задержался, чтобы ответить посетителю, повторил насчет медицинской формы, без которой срочной визы Альбине никто не даст, а можно ходатайствовать лишь на общих основаниях, и ни консульство, ни сам консул здесь ничего сделать не могут.

— Такое правило, — сказал Митрохин, в глазах была грустинка, видно было, по-своему, по-человечески, понимает, но изменить порядок не может, — такое правило.

Правила, ответила Альбина, для того, чтобы людям было лучше, а не хуже. А если от правил хуже, так это не правила, а издевательство и произвол. Митрохин не спорил, развел руками, видно было, сам того же мнения, но напомнил Альбине: никто ее не выгонял, она сама оставила родину, оставила мать, отца, а теперь, когда отцу худо, вспомнила, что она дочь и в трудную, в роковую минуту должна быть с отцом. А какая в этом неожиданность, что отцу стало худо и, может быть, придется закрыть ему глаза? Никакой неожиданности в этом нет, с каждым может приключиться, никакой гарантии ни здесь,

Митрохин указал пальцем вниз, ни там, Митрохин указал пальцем вверх, нет.

Альбина согласилась, что гарантии нигде нет, с каждым может случиться в любой момент, но виза зависит от людей, и она пришла сюда не за гарантией, а за визой. Хельсинкская декларация, которую Советский Союз тоже подписал, никто не принуждал, сами подписали, дает ей право на визу, чтобы навестить умирающего отца.

Митрохин ответил, во-первых, в телеграмме не сказано, что отец умирает, не сказано даже, что серьезно болен, а просто сказано: болен; во-вторых, хотя лично он верит, что положение серьезное, телеграмма не заверена здравотделом и не может служить документом.

— Слушайте, — вдруг подступили к горлу слезы, Альбина чувствовала, сейчас заплачет, — я должна повидаться с папой. Пока не поздно, мне надо увидеть папу. Понимаете, — Альбина сплела пальцы, прижала к груди, — мне надо увидеть папу!

Митрохин попросил телеграмму, долго держал перед глазами, на лбу собрались морщины, сказал, положение серьезное, сомнений нет, он постарается сделать, что в его силах, но все предусмотреть наперед нельзя, вероятно, потребуются детали, дополнения, на всякий пожарный случай, добро бы встретиться, где-нибудь в кафе, в ресторане, предварительно поговорить, обсудить.

Альбина удивилась: в кафе, в ресторане? Зачем же в кафе, в ресторане, если она сейчас здесь, можно посидеть и побеседовать, сколько надо.

Нет, сказал Митрохин, здесь нельзя: прием окончен, и так задержались. Отворилась дверь, вошел человек, тот самый, с выправкой военного, в руках держал ключи, видно было, приготовился запереть, Митрохин обратился: „Артур

Иванович, одну минуту”, — тот кивнул, Митрохин повторил, Альбина должна решать: да или нет.

Альбина ответила, она не может сказать ни да, ни нет, она должна подумать. Митрохин засмеялся: прямо, как Троцкий, когда Брестский мир с кайзеровской Германией заключали — ни войны, ни мира!

— Да это же ваш интерес! — Митрохин коснулся Альбиного плеча пальцами, видно было, невзначай, тут же отдернул. — Вы свою Одессу, если б так раскачивались, никогда бы не оставили. Я в Одессе был — в Аркадии, на Большом Фонтане, в Дофиновке. Я одесситов знаю, они за свою Одессу-маму горло перегрызут.

Альбина сказала, она тоже за Одессу горло перегрызет, нет на свете другой Одессы, она не Одессу оставила, и Митрохин, хоть сидит здесь, в Вашингтоне, помощником в советском консульстве, тоже знает: она не Одессу оставила, это только так кажется, что сама, по своей воле, оставила, а на самом деле ее, и не только ее, а всех, кто выехал, заставили выехать. И если Митрохин не лицемер, не ханжа, как все другие начальники и шишки там, в России, он честно признает: да, людей заставили выехать, потому что когда у человека свой родной дом, он просто так не сядет на поезд и не бросит.

— Ностальгия берет, — сказал Митрохин. — Не отпирайтесь, по глазам видно, что берет. Тут к нам приходят каждый день, на коленях ползают, одежду на себе разрывают, чтоб, говорят, мы ослепли и никогда не видели ОВИРа, чтоб нас разбил паралич на дороге, прежде чем дошли!

— Слушайте, — перебила Альбина, — вы хотите, чтоб я тоже разрывала на себе одежду и ползала перед вами на коленях? Я думала, вы человек, я с вами, как с человеком разговаривала, а вы пользуетесь моментом, подлую сделку предлагаете: хочешь визу, хочешь закрыть глаза умирающему отцу —

покайся! Это шантаж, — закричала Альбина, — это подлость! Вы в ресторан меня зазывали. Я знаю, для чего зазывали: давай, девочка, оголяйся, душу оголяй, тело оголяй! Я в „Нью-Йорк Таймс“ напишу, я вашему маразматiku Черненко, чтоб весь мир, все люди знали, напишу!

Митрохин внимательно слушал, не перебивал, человек с ключами встал у окна, повернулся спиной, некоторое время стоял неподвижно, потом вышел, притворил за собой дверь, Митрохин машинально следил, Альбина, когда остались вдвоем, сказала Митрохину:

— Вы его боитесь! Вы один другого боитесь! — воскликнула Альбина. — Не мотайте головой, по глазам видно, что боитесь!

А с нервишками, поцокал языком Митрохин, у нас та-та-та, нелады. Поиздергались.

— Вам, — сказал Митрохин, — к невропатологу, к доктору надо. А страховочка есть? Небось, нет. Беда. Беда.

— Это не ваше собачье дело! — совсем разошлась Альбина.

— Так, — покачал головой Митрохин, — страховки нет.

-- Врете! — топнула ногой Альбина. — Есть у меня страховка, есть!

Митрохин опять покачал головой, видно было, что не верит.

Альбина тряхнула волосами, засмеялась:

— Вы правы, я солгала: нет у меня страховки. Ну и что?

А то, сказал Митрохин, что врать приходится. Сами признались: да, солгала.

— Ну солгала, — подтвердила Альбина. — Сама солгала и сама призналась: да, солгала. А вы врете, и сами знаете, что врете, и другой знает, что врете, а не признаетесь: да, вру. Вы в страхе живете, всего боитесь, а я свободный человек,

я не боюсь, что хочу, то и делаю. Как хочу, так живу, и никто не одернет, не прикажет: так живи, а так не живи!

Свобода, сказал Митрохин, это познанная необходимость.

— Это кто сказал, — скривилась Альбина, — Мавра Ильич, Павлик Матросов, Зоя Космодемьянская?

Митрохин не отвечал, смотрел пристально, лицо изменилось, глаза холодные, с прищуром, как будто целится из ружья, не верилось, что пять минут назад приглашал в кафе, в ресторан.

— Пристрелить охота? — подмигнула Альбина. — Или того, стрелить?

— Скажите, — спросил Митрохин, — вам не стыдно фиглярничать? Перед собой не стыдно?

— Перед собой? — Альбина задумалась. — Перед собой да, стыдно. А перед вами нет, не стыдно. За вас стыдно, а перед вами нет, — повторила Альбина, — не стыдно. Вы обещали помочь с визой. Поможете?

— Встретимся, — сказал Митрохин. — Позвоните в шесть. Окей?

Альбина сообщила Макс: она задерживается в Вашингтоне, Митрохин пригласил в ресторан. И объяснила: надо для визы.

— Это провокация. Альбина, — сказал Макс, — это провокация.

Да, подтвердила Альбина, провокация. Но надо убедиться: это провокация.

Макс спросил: для чего убедиться?

— Хочу, — сказала Альбина, — убедиться, что они сволочи.

— Они сволочи, — сказал Макс. — Откажись.

— Макс, — спросила Альбина, — ты знаешь, что такое свобода? Свобода — это познанная необходимость.

— Это провокация. Откажись, — Макс положил трубку.

Навалилась тоска. Вернулось ощущение, какое было ночью, когда проснулась с криком: папа умер! Зачем виза, зачем Митрохин, зачем ресторан? Ничего не надо: папы нет, папа умер.

Альбина закрыла лицо руками: перед глазами стоял живой папа, манил пальцем, беззвучно шевелились губы.

— Папа, — спросила Альбина, — ты живой?

Папа улыбнулся, губы сложились в трубочку, как будто собирается свистнуть, Альбина отдернула руки от лица, в ушах, вроде дунули в папиросную бумагу, прозудело:

— Живой.

Альбина позвонила Макс, сказала, она знает точно, папа живой, срочно нужна виза, она будет сидеть в Вашингтоне, пока не дадут визу. Митрохин поможет.

Макс повторил свое: это провокация, визу не дадут, нужна телеграмма от здравотдела, без телеграммы визы не дадут.

Альбина спросила:

— Ты не хочешь, чтобы я встречалась с Митрохиным?

Макс ответил: Митрохин не Митрохин, не имеет значения, Митрохин — пятое колесо в телеге.

— Макс, — сказала Альбина, — не жди меня: я остаюсь на ночь в Вашингтоне.

Альбина повесила трубку, несколько секунд смотрела на автомат молча, как будто ждет звонка, опустила монеты, тут же нажала кнопку возврата, забрала монеты и пошла.

В шесть, как договорились, Альбина позвонила Митрохину. Митрохин предложил встретиться у Вилли, ресторан на Дюпон-серкл.

Заняли столик у открытого окна, решетчатая ограда, с улицы все видно, Альбина кивнула:

— Не боитесь?

— А чего бояться? — Митрохин усмехнулся, подмигнул свойски. — Дело привычное: выполняем задание.

— Говорят, сотрудники консульства — все офицеры ГБ. Митрохин, скажите правду: вы тоже гебешник, офицер ГБ?

Митрохин спросил: где говорят, на Брайтон Биче говорят? Если на Брайтон Биче, тогда об чем разговор — на Брайтон Биче все знают, сведения из первых рук, сами каждый день характеристики шлют друг на друга.

— И на меня? — Альбина наклонилась над столом, приглушила голос. — Откровенно: что пишут про меня?

Митрохин задумался, как будто взвешивает, сказать или не сказать, наконец решился, произнес четко, разделяя слова паузами: своеобразна, весьма приметна, общительна, ум философический, ищет правильных путей в жизни, постоянной прописки нет, временный адрес — между небом и землей.

— Митрохин, — обратилась Альбина, — вы хотите меня завербовать? Офицер из ФБР предупреждал меня: при малейшем подозрении на вербовку или иные усилия со стороны советских агентов немедленно известить ФБР. Митрохин, займите дайм: я должна позвонить в ФБР. Телефон рядом. Не вздумайте улизнуть в мое отсутствие.

Митрохин сказал, он пойдет с Альбиной, ему тоже надо позвонить в ФБР: он сообщит о намечающейся поездке Альбины в Союз, под предлогом визита к больному отцу.

— Вы врете! — Альбина ударила кулаком, за соседним столиком обернулись. — Вы знаете, что врете! Папа действительно болен, папа умирает, я должна увидеть его, я здесь, потому что мне нужна виза. Дайте мне визу!

— Вас не силком приволокли, — сказал Митрохин. — Вы сами пришли на встречу с советским должностным лицом.

— Вы врете, — сказала Альбина, — я не сама пришла: вы заставили меня придти. Я знала, это провокация. Мне говорили:

не ходи, откажись, они сволочи. Я убедилась: вы сволочи! Но теперь вы у меня в руках, с вами по-другому нельзя: или виза — или расследование ФБР, и Митрохин объявляется персона нон грата!

Митрохин не отвечал, по глазам видно было, думает о своем.

— Свобода, — повторил Митрохин давешние слова, — познанная необходимость. Познайте необходимость: мы не дадим вам визы. Вот вам дайм, — Митрохин положил на стол монету, — звоните в ФБР.

Альбина покачала головой: она не будет звонить, она поднимет крик, пусть все видят, пусть знают, каких сволочей посылает сюда этот маразматик Черненко.

— Кричите, — Митрохин обвел зал рукой, подозвал официанта, заказал бутылку содовой.

— Я ненавижу вас, — Альбина закрыла глаза, тело чуть раскачивалось, — если бы вы знали, как я ненавижу вас!

— Мы знаем, — Митрохин налил себе содовой, — как вы ненавидите нас. Чем больше будете иметь претензий к себе, тем больше будете ненавидеть нас. По Фрейду.

Альбина сказала, в данный момент у нее только одна претензия к себе: как она могла опуститься до встречи с ним, с Митрохиным.

— Митрохин, — обратилась Альбина, — вы понимаете, как это унижительно — встречаться с вами. Митрохин, вы боитесь меня. Вы — трус. Советская власть сделала вас трусом, трусы послушны, советская власть любит послушных. Митрохин, — Альбина наклонилась, провела у Митрохина ладонью по щеке, — я нравлюсь вам. Вы не встанете, не уйдете, вы будете сидеть и слушать, потому что я нравлюсь вам, и вы не в силах сказать себе: она тебе враг — встань и уйди.

Митрохин взял Альбину за руку, сжал пальцы:

— Вам больно. Успокойтесь.

— Мне не больно! — Альбина выдернула руку. — Не обольщайтесь: плакать не буду. Дадите визу — вам честь, не дадите — катитесь к чертовой матери на зеленом катере! Глумиться надо мной — это вы могли там, у себя. Здесь — руки короткие.

Митрохин улыбнулся, покачал головой: не короткие. Не короткие, повторил Митрохин, иначе бы не сидели здесь, не гутарили, как говорят в родных краях его, на тихом Дону. Кстати, Митрохин наморщил лоб, видно только что пришло на ум, донские казаки — корнем из бродников. О бродниках в летописях есть, что не славянского рода, то ли турки, то ли хазары. Кто знает, пожал плечами Митрохин, может родичи тьмутороканским раббинам. Прошел слух, в Одессе, в архивах новороссийского генерал-губернатора, нашли метрическую выпись: настоящая фамилия Шолохова — Шолохов-Алейхем.

— Митрохин, — сказала Альбина, — вы — юдофоб. Юдофобия у вас в крови.

Митрохин покачал головой: дети оставляют отцов, отцов хоронят чужие — когда такое было у евреев? Один из тысячи просит: дайте визу, хочу похоронить отца.

— У вас вина перед отцом, — сказал Митрохин. — Вы предали своего отца. Пятьдесят лет назад говорили: подвиг пионера. Вы опоздали на пятьдесят лет.

— Мерзавец, — сказала Альбина, глаза сделались черные, как будто одни зрачки, — Митрохин, вы мерзавец и палач.

— Вы предали отца, — продолжал свое Митрохин, — предали отчизну. Я для вас — палач, великий инквизитор. Вы ждете, вы требуете от меня милосердия: дайте визу, хочу покаяться перед отцом, хочу спасти душу, спасите мою душу!

У Альбины пересохли губы, машинально облизнула языком, взяла стакан, налила содовой, Митрохин предложил позвать официанта, пусть принесет лед, поднял голову, стал

искать глазами, Альбина держала стакан против груди, видно было, ждет, Митрохин увидел официанта, сделал пальцами знак, чтобы подошел, Альбина внезапно, резким движением вперед, от груди, выплеснула воду Митрохину в лицо.

Люди за соседним столиком обернулись, в глазах было недоумение, Митрохин пальцами стряхивал капли с пиджака.

Альбина встала, собралась идти, но тут же придвинула стул, опять села, сказала Митрохину:

— Зовите полицию. Я жду: зовите полицию.

Митрохин взял салфетку, не спеша вытерся, сказал, долг платежом красен.

— Ненавижу, — Альбина зажмурила глаза, губы скривились, было впечатление, вот-вот заплачет. — Ничего не забыла, все помню — ненавижу!

Ненависть, сказал Митрохин, удел эмиграции. Ненависть — рак души.

— Рак души, — повторил Митрохин. — Рак души — тяжелый недуг. Вы хвораете раком души, ваша ненависть — раковые корчи.

— Зовите полицию, — сказала Альбина. — Митрохин, вы трус! Трус и демагог. Вы не позовете полицию: вы боитесь огласки. Семьдесят лет трясетесь от страха: только бы не увидели, не узнали! Зовите полицию, — топнула ногой Альбина, — иначе я позову!

Официант принес лед, поставил стакан перед Альбиной, повернулся, чтобы идти, Альбина остановила его:

— Я оскорбила этого господина, вызовите полицию: пусть арестуют меня. Хочу, чтоб арестовали меня.

Митрохин усмехнулся, как будто знает что-то и видит, чего Альбина не знает, не видит:

— Накличите.

— Зовите полицию! — повторила Альбина, официант, по

виду кубинец, глянул на Митрохина, на Альбину, ответил, в ресторане таксофона нет — таксофон на улице, за углом.

Альбина сказала Митрохину, пусть сидит, не уходит, она сама позвонит, поднялась, сумку оставила на стуле, пошла к выходу.

Митрохин поднялся вслед, хотел взять Альбину под руку, вроде уходят вдвоем, Альбина отдернула руку:

— Трус! Фигляр!

— Оглянитесь, — сказал Митрохин, — вас не одобряют. Ваши новые компатриоты бдят о своем покое — вы посягаете на их покой. Оглянитесь, — повторил Митрохин. — Вас не одобряют.

Альбина машинально оглянулась, ответила Митрохину, она не за одобрением приехала, она за свободой приехала, свободному человеку плевать, одобряют его или не одобряют.

Митрохин покачал головой: Альбина пришла к нему за визой. Виза — это одобрение.

— Это у вас, в России, — Альбину всю передернуло, как будто судорога прошла по телу, — виза — одобрение! У всех других, у людей, виза — это виза, отрабатывать не надо!

Митрохин поклонился:

— Мое почтение. Телефон знаете, дорогу знаете, будет надобность — милости просим, без церемоний.

Митрохин повернулся, быстро пошел к выходу, как будто торопится, ждут неотложные дела.

— Митрохин, — крикнула Альбина вдогонку, — мне жалко вас. Слышите, я не сержусь на вас: я жалею вас!

Альбина позвонила Максy.

— Макс, — сказала Альбина, — я сделала, как ты хотел. Я прогнала Митрохина. Я не остаюсь на ночь в Вашингтоне, я выезжаю в Нью-Йорк. Ты доволен?

Макс сказал, Альбина знала наперед, что так будет, иначе быть не могло, сама шла к этому.

Альбина ответила, нет, она не сама шла к этому, она хотела визу, а получилось, как хотел Макс. Она все время чувствовала: кто-то давит на нее.

— Макс, — повторила Альбина, — ты все время давил на меня, я сделала, как тебе нужно, как ты хотел, и осталась без визы. Ты доволен? Отвечай: ты доволен?

Макс не отвечал. Альбина сказала, Макс не отвечает и не ответит, потому что неспособен признать: да, виноват, да, из-за него не дали ей визы, отец умрет, и так, до конца жизни, она будет мучаться, будет каяться, а простить некому, папа хотел увидеть ее и простить, а она не приехала, потому что делала, как хотелось Макс.

— Макс, — сказала Альбина, — ты давил на меня, ты добился своего. Макс, я не хочу быть с тобой. Мы должны расстаться.

Макс сказал, не следует пускаться на ночь в дорогу. По радио передавали, ожидается шторм. Лучше переждать ночь в Вашингтоне, номер где-нибудь в „Вотергейте” или рядом — в этом есть своя сермяга. Утром можно сходить в музей. Он готов выехать метролайнером, два часа пятьдесят минут дорога, завтра вернутся вместе. Ему тоже не мешает встряхнуться, целый день вертишься на стуле, как на галере, только цепи скрипят.

— Нет, — сказала Альбина. — Я не хочу, чтобы ты приезжал.

Альбина повесила трубку, воротилась в ресторан за сумкой. Сумки не было, ремешок висел на ограде. С трудом сдержала себя, чтобы не заплакать, на мгновение охватило отчаяние, позвала менеджера, он покачал головой, видно было,

сам огорчен, сказал, столик у ограды — это почти на улице, ничего не стоит прихватить.

Ключ от машины был в кармане. Альбина обрадовалась, удача, обычно клала ключ в сумку, показала ключ менеджеру, сказала, надо выпить за удачу, заказала амаретто, официант принес, менеджер чуть пригубил, извинился, служба, оставил визитную карточку, сказал, любой заказ, никаких проблем, чек можно выслать когда удобно.

Альбина заказала еще, выпила, закурила, зажмурила глаза, как будто дремлет, у столика остановился мужчина, спросил, можно ли присесть, Альбина подняла голову, вздрогнула, похож, как две капли воды, на Фрэнка О'Брайена — высокий, блондин, серые глаза, нос немножко крючком, пшеничные усы — кивнула, можно.

Поначалу молчали, у Альбины погасла сигарета, мужчина торопливо поднес зажигалку.

— Меня зовут Фрэнк, — сказал мужчина.

— Фрэнк, — кивнула Альбина. — Вас оставила жена.

— Оставила, — кивнул Фрэнк.

— А у меня умирает отец, — сказала Альбина. — Кроме того, меня обворовали.

— Вам нужны деньги, — спохватился Фрэнк, полез в карман за бумажником, вынул, положил на стол, — вам нужны деньги на дорогу, пожалуйста. Пожалуйста.

— Фрэнк, почему вы обратились ко мне? — спросила Альбина. — Объясните, Фрэнк: почему вы обратились ко мне?

— Я видел, — сказал Фрэнк, — вы сидели с мужчиной...

— Это не мужчина, — перебила Альбина. — Это — Митрохин, из советского консульства. Фрэнк, вы агент ФБР? Фрэнк, — сказала Альбина, — я знаю: вы — агент ФБР. Что вам нужно от меня? Говорите: что вам нужно? Вы хотите знать, завербована

ли я? Да, завербована. Я в свободной стране: хочу — вербуюсь, хочу — нет. Что еще?

— Это шутка, — Фрэнк улыбнулся, сплел пальцы, розовые суставы побелели. — Это шутка.

— Вас не зовут Фрэнком, — сказала Альбина. — Фрэнк — это кличка. Вас зовут Джон. Мама и папа называли вас Джонни. Джонни, — обратилась Альбина, — вы доносили на своего отца? Джон, я ненавижу филеров, я ненавижу стукачей, я ненавижу доносчиков. Джон, я ненавижу себя. Джонни, вы способны ненавидеть себя? Вы не способны, — Альбина покачала головой, — ненавидеть себя. Вы любите себя, любите только себя. Вы — нарцисс. Все американцы — нарциссы. Все как один. Ваши стеклянные башни, ваши плавательные бассейны — зеркала, вы видите только себя, только свое отражение. Боги наказали вас.

— Я понимаю, — бормотал Фрэнк, — я понимаю: вы из России. Везде КГБ, на каждом шагу КГБ. Все доносят. За всеми следят. У русских паранойя: всех подозревать.

— Джонни, — Альбина прищурилась, весело подмигнула, — хотите подцепить девочку, хотите переспать? Время — деньги. Милый, пойдем. Куда идти?

— Я уйду, — сказал мужчина. — Вы хотите, чтоб я ушел? Я уйду.

— Уходите, — сказала Альбина.

Альбина поднялась, поцеловала в щеку:

— Не надо зла. Надо любить. Я прощаю. Идите. Вы хороший, вы славный. Я была неправа. Простите. Можете поцеловать меня. Целуйте, — Альбина подставила щеку.

Мужчина наклонился, взял за руку, прижал к губам, Альбина скривилась, вроде причинили боль, выдернула руку:

— А теперь уходите.

Мужчина вынул визитную карточку, хотел подать, Альбина мотнула головой, отвернулась: нет. Мужчина вышел, через стекло видно было, остановился у дверей, ждет. Альбина кликнула официанта, взяла счет, перебралась через ограду, пошла к машине, вернулась с полдороги, мужчина заглядывал в дверь, Альбина громко, как будто уличный мальчишка, свистнула, тот обернулся, на лице была растерянность, изумление, радость, Альбина сказала:

— Вы обманули меня. Я вернулась, чтобы сказать вам: вы обманули меня.

— Да, — сказал мужчина, — обманул.

— Все в порядке, — Альбина улыбнулась, помахала рукой. — Чао.

Мужчина предложил, он проводит до машины, Альбина ответила, нет, велела стоять, где стоит, проехала мимо, дала сигнал, в зеркале увидела: мужчина держит в руках записную книжку, листает, ищет страницу, нашел, сделал запись, глянул вслед, помахал рукой, зашел в телефонную будку. Опять мелькнула давешняя мысль, что агент ФБР, было чувство досады, вроде потеряла что-то, Макс наверняка истолкует по-своему, вот, в такой ситуации, а заводит на улице амуры с первым встречным-поперечным, а первый встречный-поперечный — агент, работает джентльмена, а на самом деле ниже строки в досье.

Машину, когда вышла на шоссе, держала на восьмидесяти милях, в левом ряду, быстро обгоняла правый ряд, досада рассеялась, появилось приятное чувство, все будет хорошо, папа не умер, папа жив, визу дадут, с Митрохиным, конечно, надо было по-другому, не тыкать шилом, как будто слон, слоновья шкура, а надо было по-хорошему, по-доброму, пусть не боится, пусть не стыдится, пусть откроет, покажет свое человеческое лицо.

Макс, она все время чувствовала, давил и добился своего. И с этим, Фрэнком-Джоном, тоже давил. А оба — один и другой, русский и американец — тянулись к ней. Габриэль предупреждал ее: на вас печать — к вам тянутся. Макс не понимает и никогда не поймет. У Макса глупое сердце: этика, мораль! Какая этика: этика — правила, а правила для роботов. Человек не робот, человеку не правила нужны, человеку нужно, чтобы ему хорошо было. Правда, от которой плохо, человеку не нужна, человеку нужна правда, от которой хорошо.

Вот, пришел к ней этот Фрэнк-Джон. Для чего? Человеку плохо, человеку больно, человеку нужно доброе, ласковое слово. И сумку у нее украли, и задержка вышла для того, чтобы дать человеку время — пусть придет, пусть к ней, к Альбине, придет, пусть услышит доброе ласковое слово. Господи, откуда же слепота эта: смотришь — и не видишь! Где теперь найти его, повиниться, просить прощения, сказать про слепоту, которая из человека робота делает.

Было желание вернуться в Вашингтон, начать с ресторана, где расстались, Фрэнк, наверняка, оставил свой телефон, должен был чувствовать, что она вернется. Макс у нее позвонит, скажет, что передумала, решила переночевать в Вашингтоне, он сам убеждал, так безопаснее, спокойнее, потом, когда вернется в Нью-Йорк, она объяснит настоящую причину.

Альбина перестроилась в правый ряд, сбросила газ, до выезда оставалось полмили, перед глазами встала картина: Фрэнк-Джон держит в руках записную книжку, листает, делает запись. Тогда было неприятное чувство, досада: за ней следят. А на самом деле? На самом деле ничего нет. И ничего не было, Фрэнк-Джон не агент ФБР, просто записал номер машины, по номеру, если захочется опять увидеть, поговорить, можно запросто найти.

Альбина притормозила, съехала на обочину. Возвращаться

в Вашингтон не было резона: Фрэнк, если в самом деле будет нужда, сам найдет. Не исключено, что уже нашел и ждет, пока она вернется в Нью-Йорк, чтоб можно было позвонить.

Машины проносились мимо, как будто одну за другой безостановочно выбрасывала катапульта. Возникло тревожное чувство: люди не управляют машинами, машины мчатся сами по себе.

Набирая скорость, Альбина в первые секунды опасалась: машина сделает что-то не то, не так. Но машина сделала все как надо, страх прошел, хотя прежнее ощущение, что люди не управляют машинами, машины мчатся сами по себе, не оставляло. Пока было светло, в салонах отчетливо видны были манекены. Теперь, когда сделалось темно и машины зажгли свет, чтоб освещать себе дорогу, манекенов не стало, салоны опустели.

— Я одна, — сказала Альбина. — Господи, я совсем одна.

— Бина, — Габриэль покачал головой, Альбина отчетливо видела, как старик качает головой, — не выдумывай, ты не одна. Ты никогда не была одна, ты никогда не будешь одна: на тебе печать — к тебе тянутся. Бина, помни: к тебе тянутся.

— Ко мне тянутся, — сказала Альбина, засмеялась и повторила голосом Габриэля: — Бина, к тебе тянутся.

Настроение опять поднялось, оставалось смутное чувство вины, досады, вроде не доделала чего-то, что могла сделать, что должна была сделать, перебрала в памяти весь день, приходили на ум папа, Митрохин, американец, смотрела своими глазами, смотрела со стороны, глазами Макса, нет, все делала, как надо: в действиях не было ничего, за что следует корить себя.

Не стало прежнего чувства, будто Макс давил и делала все, как хотелось Максу. Хорошо, что не осталась в Вашингтоне ни ради Митрохина, ни ради этого, как его, Фрэнка-Джона, но не осталась сама, по собственной воле, а не потому, что так хотелось Максу. Макс, понятно, хотел того же, чтоб не оставалась на ночь в Вашингтоне, но решила, в конце концов, она сама.

Всю дорогу держалось хорошее настроение. Сделала одну остановку, выпила чашку кофе, есть не захотелось, ужинать будет с Максом, где-нибудь у итальянцев, у китайцев — Макс будет приятно.

Должны быть известия из Одессы. Альбина чувствовала, должны быть известия — телеграмма, телефонный звонок. Надо прибавить скорость, а то минута, полминуты — прозеваешь, потом будешь кусать локти.

Насчет визы Альбина теперь не сомневалась: визу дадут. Митрохин сделает. Она понравилась Митрохину, по-своему интересный парень, были свои планы, у всех свои планы. Вышло не вышло — Митрохин сделает, иначе сам себе в глаза не сможет смотреть. Он из таких, со спортивным комплексом: перед самим собою надо подтверждать свою квалификацию. Альбина чувствовала: с Митрохиным еще будут встречи. Ей встречи не нужны — ему нужны, Митрохину. Кукушка высунулась из дупла: ку-ку, русские люди, подтягивайте гири!

В Бруклин, с Нью-Джерсийского тэрнпайка, самая короткая дорога через Стэйтен-Айленд. Мысли так захватили, что не заметила, как проскочила выезд. Теперь надо было ехать через Холланд-туннель, через Манхэттен — дорога вдвое длиннее, лишние полчаса, в измерениях Макса, полчаса как вечность.

Альбина прибавила скорость, следила в зеркале, нет ли полиции, полиции не было, прибавила еще. В Джерси-Сити, когда миновала тэрнпайк, следом шел старый драндулет, вдруг завывла сирена, на крышу выставили мигалку, приказали в мегафон, чтобы остановилась. Из машины вышел человек, кряжистый живот распирает пиджак, полы круто расходились на боках. Двигался не спеша, враскачку.

Аля хотела выйти навстречу, человек приказал, пусть сидит, не выходит, показал полицейский жетон, потребовал

водительские права. Альбина сказала, в Вашингтоне у нее украли сумку, там были все документы, деньги, у нее есть свидетели, полицейский посветил фонариком в лицо, перебил:

— Регистрация, страховка, удостоверение личности.

Альбина сказала, пусть уберет свой фонарь, чтоб не слепило глаза, она хочет видеть, с кем разговаривает, и повторила, что в Вашингтоне украли у нее сумку, в сумке были все документы и деньги, пусть позвонят в Вашингтон, в ресторан, менеджер дал ей визитную карточку, он подтвердит.

Полицейский велел оставить ключ в машине, Альбине приказал выйти, она ответила, что торопится, ее ждут дома, волнуются, пусть запишут номер машины, позвонят, а если не верят, можно поехать следом, она покажет, где живет, у Макса есть все документы, он предъявит.

— Выйдите из машины, — повторил полицейский, отворил дверь, схватил за руку, у запястья, — вы арестованы.

Альбина выдернула руку, спрятала за спину, отодвинулась вглубь, полицейский позвал своего напарника, отворил вторую дверь, пусть зайдет внутрь, подтолкнет Альбину сзади, сам полез спереди, живот упирался в баранку, не давал протиснуться, зад заполнил весь просвет, от двери до спинки сиденья, Альбина закричала, чтоб не смели к ней прикасаться, напарник изловчился, больно надавил под лопатку, Альбина машинально подалась вперед, руками уцепилась за баранку, полисмен в одно движение набросил наручники, шелкнули замки.

Теперь оба — один толкал вперед, от себя, другой схватил за руки, разводил в стороны, наручники больно саднили кожу — высаживали Альбину из машины, она цеплялась ногами за рычаг скоростей, за тормоз, за педали, кричала, это ее машина, ее собственность, ее территория, никто не имеет права посягать.

— Моя собственность, — кричала Альбина, — моя территория!

Альбину выволокли, пересадили в полицейскую машину, выписали пять квитанций, полисмен клал Альбине на колени одну квитанцию за другой и объяснял: за превышение скорости, за неосторожную езду, за езду без страховки, без прав, без регистрации.

Привезли в участок. Альбина просила снять наручники, говорила, ей больно, они специально делают ей больно, чтоб показать свою силу, свою власть. Она расскажет начальнику, как издевались над ней, как делали больно, она покажет ссадины на руках.

Когда приехали, Альбина сказала, она должна позвонить домой, чтоб не волновались. Она выехала из Вашингтона, и дома, наверное, с ума сходят, не знают, где она. Дежурный офицер ответил, отсюда звонить нельзя: телефоны служебные. Альбина сказала, пусть вызовут начальника, она хочет говорить с начальником. Пришел сержант, внимательно выслушал, Альбина показала, как силой разводили ей руки, чтобы наручники саднили кожу, показала руки, рассказала про телефон, что просила позвонить домой, дома волнуются, рассказала про отца, отец в России, тяжело болен, умирает, каждую минуту она ждет известий, а ей ответили: телефон служебный, звонить нельзя. Сержант подтвердил, телефон служебный, звонить нельзя, обратился к дежурному, указал пальцем на Альбину, спросил: кто привел? Дежурный ответил: Патерностер и Джексон, составляют протокол.

Альбина была уверена, что сержант, симпатичный мужчина, лет под сорок, виски с проседью, глаза синие, синева, как на полотнах Рокуэлла Кента, где эскимосы играют в мяч, прикажет снять наручники, машинально протянула руки,

сержант глянул мельком, повернулся спиной и пошел к себе в конторку.

— Эй, — закричала Альбина, — снимите с меня наручники!

Джексон продолжал стучать на машинке, подошел Патерностер, указал кивком на железную дверь с окошком, хотел взять Альбину под руку, она увела руку, повторила, пусть снимут наручники, села на скамью, прижалась к спинке и заявила, что не двинется с места, пока не снимут наручники.

Патерностер положил ладонь на кобуру и так, держа на кобуре, объяснял, наручники снимут в камере, зависит от поведения Альбины, но впечатление такое, что Альбина сама не хочет, чтобы сняли, и придется оставить как есть, в наручниках, а в камеру сопровождает кортеж.

Патерностер крикнул, пусть вызовут Алису. Пришла Алиса, по цвету вся шоколадная, в коричневой рубашке, коричневых штанах, коричневых туфлях, сама стала слева, Патерностеру велела стать справа, схватили вдвоем под руки, Альбина упиралась, пришлось тащить волоком, Альбина кричала, не надо в камеру, она не хочет в камеру, Патерностер открыл дверь, откатил решетку, потянул Альбину с силой, Алиса засмеялась, эй, не так пылко, ночь еще впереди, Патерностер вышел, Алиса осталась в камере, сняла с Альбины наручники, велела раздеться, бюстгальтер, трусы тоже, Альбина сказала, нет, если хочет, пусть сама раздевает ее, Алиса пошла на уступку, ладно, пусть расстегнет бюстгальтер и спустит трусы до колен, велела Альбине повернуться лицом к стене, поднять руки, заглянула под мышки, приказала, пусть разведет ягодицы, несколько секунд смотрела молча, сказала, о'кей, можно одеваться, пояс, очки, носовой платок, сигареты сбросила в пакет, пакет забрала.

— Слушай, девочка, не дури, — сказала Алиса, — веди себя хорошо: твой интерес.

— Алиса, — Альбина натянула трусы, надела бюстгальтер, — они мерзавцы, они самцы. Передай им: я презираю их.

— Не дури, — погрозила пальцем Алиса, — води себя хорошо: твой интерес.

Загремела решетка, хлопнула дверь, Альбина осталась одна. Измерила комнату: четыре шага вдоль, четыре — поперек, по диагонали пять с половиной шагов. Пошла по окружности, по окружности — тринадцать шагов. Мелькнула мысль: специально сделали, чтоб было тринадцать. Измерила опять, чуть удлинила шаг — получилось двенадцать.

Альбина подошла к решетке, постояла, взялась руками, затрясла:

— Эй, кто-нибудь, отведите меня в туалет!

Постояла, послушала, никто не подходил, снова затрясла:

— Хочу писать, отведите меня в уборную!

Поднялась заслонка, глаза, как будто сами по себе, отдельно от человека, смотрели внимательно, Альбина повторила, пусть отведут ее в туалет, она хочет писать.

Глаза продолжали смотреть, ответа не было, Альбина принялась опять трясти, заслонка опустилась, тут же поднялась, глаз не стало, были губы, голос Патерностера:

— Пойдешь писать, когда будет у меня нужда.

— Сукин сын, трус, — Альбина ударила ногой в решетку, — пусть лопнет у тебя мочевого пузыря! Говорю тебе, — захотела Альбина, — воистину говорю: лопнет!

За дверью, как будто солдатская казарма, заготовили в ответ. Альбина, чтобы не слышать, заткнула пальцами уши, все равно было слышно, прижалась спиной к стене, раскинула руки, похоже на распятие, и запела:

О радость, о радость,

Любовь и свобода!

Отныне мне счастье

Навеки дано.
Со мною Творец,
И со мною природа,
И мир, и покой,
Вожделенный давно!

Альбина перевела дыхание, набрала побольше воздуха:
Я богата — вы бедны,
Я свободна — вы рабы,
Страх и слезы — ваш удел,
Смех и радость — мой придел!

Пока пела, слышала только свой голос, было ощущение, что одна, никого вокруг. Когда кончила, поначалу стояла тишина, вроде в самом деле одна, никого вокруг, но тут же, как будто по команде, опять поднялся за дверью гогот:

— Русский поп! Иван Грозный, Сталин, Хрущев, Андропов, КГБ!

— Нацисты! — закричала в ответ Альбина. — КГБ!

Громыхнул замок, открылась дверь, Патерностер просунул голову:

— Будь я на месте КГБ, ты бы не сидела здесь: ты бы не вышла из России живая!

Альбина просунула руки между прутьев, взмахнула, будто капельмейстер, дирижирует хором:

Я богата — вы бедны,
Я свободна — вы рабы,
Страх и слезы — ваш удел,
Смех и радость — мой придел!

— Ку-ку, — Патерностер постучал пальцем в висок, захлопнул дверь, поднял заслонку, — ку-ку! Жди гостей.

Пришли двое, с виду похожи на полисменов, в белых безрукавках, представились:

— Медицинская служба.

Один, рыжий, долговязый, сухой, смотрел молча, другой, пузан, вертлявый, по-крестьянски загорелое лицо, весело подмигнул:

— Какой теперь год? Какое время суток: день, ночь? Где находимся?

— Адрес? — спросила Альбина.

Не, засмеялся пузан, не адрес: какое место — апартаменты, кино, диско?

Альбина сказала:

— Диско.

Не, замотал головой пузан, не диско.

Альбина осмотрелась, повторила:

— Диско.

Не, опять замотал головой пузан, не диско, посмотрел на рыжего, тот сказал, ладно, пошли, подтолкнул в спину, вышли, рыжий тут же воротился, притворил за собой дверь, провел пальцем по губам, как будто запечатывает, сказал шепотом:

— У вас есть глаза, есть уши — смотрите, слушайте. Не возражайте, не доказывайте. Возражать, доказывать будете в суде.

— Отведите меня в туалет, — сказала Альбина, — мне надо помочиться.

Он повернулся, помахал на ходу рукой, громко ответил, это не его функция, надо обратиться к дежурному или к сержанту.

В углу стоял табурет, Альбина перевернула кверху ножками, получилось вроде стульчака, присела, поддерживая себя руками, в паху невыносимо теснило, давило, казалось, еще мгновение, лопнет, взорвется.

— Нет, — Альбина вскочила, отшвырнула табурет, пнула ногой, — нет!

Тут же отпустило, только в крестец отдавала боль, будто свежая рана.

Чтобы заглушить боль, стала двигаться, пошла по кругу, считая шаги, тринадцать шагов, потом побежала, меняя на ходу направления, закружилась голова, едва удержалась на ногах, пришлось остановиться. Переведя дыхание, опять побежала, в ногах сохранялась слабость, стиснула зубы, запела громко:

Я богата — вы бедны,
Я свободна — вы рабы,
Тьма и ужас — ваш удел,
Свет и радость — мой придел!

Альбина остановилась, ждала, сейчас снова загогочут, завопят: русский поп, Сталин, Хрущев, КГБ! Прижалась лицом к решетке, прислушалась, стояла тишина, как будто за стеной ни души, никого живого, только с улицы сирена скорой помощи, на миг стало не по себе, вроде покинута, забыта, сами ушли, ее бросили, сколько ни зови, все равно не услышат, не выдержала, закричала:

— Эй, кто-нибудь, отоприте!

Послышались голоса, один гортанный, срывался на визг, Альбина догадалась, привели арестованного, загремела дверь, отворилась, на пороге стоял Патерностер, откатил решетку, велел Альбине завести руки назад, набросил наручники, объяснил, прибыл новый постоялец, надо освободить апартаменты, ей приготовили в другом месте: тут, в камере, она сама голосила, там будет у нее целый хор, птички все, как одна, певчие.

В машине, по дороге в тюрьму, Альбина сказала Патерностеру:

— Патерностер, вас никогда не любили. Вас никто не любил. Вы мечтали о славе — у вас нет славы, вас знают только ваши жертвы.

— Это — слава, — сказал Патерностер. — Жертвы — это слава. У кого нет жертв — нет славы.

— Посмотрите на свою грудь, — сказала Альбина, — Патерностер, вам сорок лет, посмотрите на свою грудь: где ваши ордена, где медали? У вас нет ордена, у вас нет медали — начальство ставит вас ни во что.

— Я — офицер полиции, — Патерностер дернул головой, — я представитель закона. Вы оскорбляете офицера полиции при исполнении служебных обязанностей.

— Патерностер, — сказала Альбина, — вы не представитель закона. Вы глумитесь над человеком, вы глумитесь над законом. Бессилие гложет вас. Вы не можете прикоснуться ко мне. Я недоступна вам. Это бесит вас, вызывает ярость. Чтобы прикоснуться ко мне, вы должны надеть на меня наручники.

Подъехали к тюрьме, отворились ворота, охранник, черный парень, взял документы, осветил фонариком Альбине в лицо, приветливо улыбнулся, Патерностер повел Альбину через темный двор, между машинами, стояли одна впритык к другой, приходилось протискиваться. Патерностер оттянул наручники, дернул с силой, Альбина закричала, больно, она будет звать на помощь, Патерностер схватился за револьвер, приказал замолчать, иначе пристрелит на месте.

Альбина остановилась, повернулась лицом к Патерностеру, подставила грудь:

— Стреляй! Что же ты не стреляешь? Стреляй!

Патерностер взял Альбину за плечи, насильно повернул лицом вперед, Альбина предупредила, если еще раз притронется к ней, она бросится на землю, пусть стреляет, убивает, она не двинется, пока, живую или мертвую, не уволокут ее отсюда.

Патерностер сказал Альбине, пусть посторонится, прошел вперед, велел следовать за ним. В коридоре поменялись местами.

Дежурный принял документы, пришла Джорджия, лицо, наверное, от неоновых светов, синее, лиловые губы, впечатление, что резиновые, вздуты до предела, чуть ткнуть, прижать, лопнут, завела Альбину в камеру, велела раздеться, Альбина сняла юбку, блузку, бюстгальтер расстегнула, трусы спустила до колен, как было с Алисой, Джорджия сказала, она не Алиса, она Джорджия, пусть скинет все, поставила лицом к стене, велела раздвинуть ноги, развела руками ягодицы, повернула лицом к себе, объяснила, некоторые прячут иголки, лезвия, у одной нашли шприц во влагалище. Альбина сказала, ей нечего прятать во влагалище, ее взяли с дороги, у нее украли документы. Джорджия хотела провести рукой, убедиться, что ничего не спрятано, Альбина сказала, нет, не позволит, сама отвела пальцами, Джорджия наклонилась, внимательно осмотрела.

— Ты красивая, — сказала Джорджия. — Все у тебя красивое. Одевайся. Куришь? Возьми папиросы. В карман не клади, в кармане могут увидеть. Спрячь под мышкой.

Джорджия водила Альбину из комнаты в комнату, сняли отпечатки пальцев, сделали фото, заполнили форму, велели подписать. Альбина сказала, она без очков, очки забрали, подписывать не будет.

Отвели в общую камеру, снаружи, за решеткой, висел телефон. Надзиратель сказал: можно звонить, давай быстрее, пока не отвели на этаж, с этажа звонить нельзя.

Макс поднял трубку по первому звонку.

— Макс, — сказала Альбина, — я в тюрьме. Запиши адрес.

— Ты жива, здорова? — перебил Макс. — Жива, здорова?

— Запиши адрес, — повторила Альбина. — Надо внести деньги, залог. Сто восемнадцать долларов. Сто восемнадцать. Все, меня уведут на этаж, в камеру.

Макс крикнул, сейчас, одну минуту, надзиратель нажал рычаг, забрал трубку, из трубки шли еще звуки, видно, не дождал рычаг, повесил трубку, звуки прекратились.

Альбина сказала:

— Вы злой. У вас злое сердце. Вы причинили боль не мне — вы причинили боль другому человеку.

— Давай, — надзиратель засмеялся, громыхнул замком, — не крути шары. Экипаж пришел, садись, отвезут в апартаменты.

Пришла девушка, смуглая, глаза раскосые, похожа на китаянку, принесла балахон, велела переодеться. Альбина сказала, зачем этот маскарад, сейчас за ней придет муж, внесет залог, она поедет домой, будет ночевать дома.

Девушка покачала головой: пока муж придет из Бруклина, пока оформят залог, пока начальник подпишет, пройдет ночь, в интересах самой Альбины лечь и поспать нормально, как спят люди, а не томиться в ожидании ночь напролет.

— Ты хорошая... — Альбина запнулась, хотела назвать по имени.

— Хуанита, — подсказала девушка.

Альбина улыбнулась:

— Ты хорошая, Хуанита.

Альбина, когда надевала балахон, машинально подняла руки вверх, про сигареты, которые оставила Джорджия, забыла, пачка упала на пол, Хуанита подняла, покачала головой:

— Вы хотели меня обмануть.

Нет, сказала Альбина, она не хотела обмануть, она забыла, что у нее под мышкой сигареты, иначе не допустила бы оплошности.

— Вы хотели меня обмануть, — твердила свое Хуанита. — Хотели обмануть. Выходите, пришел лифт.

Дежурная на этаже приняла Альбину, повела в камеру, по дороге миновали уборную, два писсуара, унитаза без сиденья,

железная дверь сорвана с петель, приставлена сбоку, Альбина сказала, ей нужно по малой нужде, пусть дежурная подождет, та кивнула, давай, только по-быстрому. По-быстрому не получалось, Альбина объяснила, наверное, спазм, дежурная посоветовала, пусть потеревит пальцем, некоторым помогает. Альбина скривилась, потребовала от дежурной, чтоб вышла, не стояла над головой, та рассердилась, велела Альбине встать с унитаза, а то расселась, как будто у себя дома, в кресле.

— Ты злая, — сказала Альбина. — Вы все злые здесь.

— Давай писай, — ответила дежурная. — Поработаешь здесь, с такими как ты, будешь доброй! Ну что, не пишется? Давай потеревлю.

Альбина отказалась: не надо теревить, все равно не поможет — у нее спазм. Надо ждать, пока пройдет спазм.

Пошли, сказала дежурная, ждать некогда, Альбина тут не одна.

Камера была в дальнем конце коридора. Пока дежурная оставалась в коридоре, стояла тишина, было впечатление, что здесь, в Альбининой камере, кончается зона, где обитает человек. Задвинув решетку, дежурная пошла по коридору, быстро цокали, затихая, каблуки. Когда совсем затихли, из соседней камеры окликнули:

— Эй, девочка, покажись!

Альбина ответила, она не может показаться, решетка закрыта на замок, в камере засмеялись:

— Вот падлы, на замок! Ну, ничего, давай, покажись, и нас поглядишь.

Из камеры вытянулась черная рука, с зеркалом, Альбина увидела себя, потом, как будто волшебный фонарь, появилось одно лицо, другое, оба черные, очень похожи, Альбина сказала девушкам, наверное, сестры, те засмеялись, сестры, сестры, только папы и мамы разные, а так все общее, напополам.

— А ты краля, — сказали девочки. — С работы взяли?

Перебивая одна другую, девочки стали жаловаться: условия для работы — жуткие. Теперь с этим эйдсом все от страха с ума посходили: и клиенты, и полиция, и сама вся трясешься. А все от гомиков, от педерастов, вся зараза от них. Говорят, доктора скоро лекарство найдут. А пока найдут — каждый день убытки, хоть ноги протягивай, посчитать страшно. Другую работу искать, что ли? А какую?

Альбина объяснила, она не с работы, она живет в Нью-Йорке, возвращалась домой из Вашингтона, превысила скорость, полиция взяла с дороги.

Девочки спросили: а в Нью-Йорке как? Там мэр ихний, Коч, сам, говорят, педераст, тоже, небось, гоняют. Альбина объяснила, она возвращалась домой, из Вашингтона, дома ждал муж.

-- Муж, — повторила Альбина.

— Муж? — переспросили девочки. — А ну покажись еще раз, посмотрим.

Из-за решетки высунулась та же рука, повертела зеркало, у Альбины было странное чувство, вроде она не здешняя, из другого мира, аборигены наблюдают, изучают пришельца.

— Муж, — прогугнила одна, прогугнила другая, и тут же обе зашлись в смехе. — А у мужа твоего жена есть? Ты спроси у него: „Муженек, есть у тебя жена или так, бобыль при живой жене?“

Пробежала за решеткой мышь, за ней вдогонку другая, Альбина невольно зажмурилась, отпрянула, присела на нары, закрипели, как будто калитка на заброшенном кладбище, ржавые петли, вдруг, без причины, непонятно откуда, налетел страх, внутри все оцепенело, захотелось кричать, звать на помощь, помогите, спасите, Макс бежал навстречу, закрывал лицо руками, вроде заслоняется от порывов ледяного ветра,

но расстояние не сокращалось. Макс не приближался, наконец Альбина поняла, движения нет, бег на месте, как у Марселя Марсо, когда мим все ускорял темп, руки, ноги сновали с лихорадочной быстротой, казалось, вот-вот оторвется от земли, взлетит, но не отрывался, не взлетал, иллюзия проходила — оставалась досада, тяжесть, вроде погрузили в полый, из камня, из свинца, шар.

— Макс, — громко сказала Альбина, — у тебя нет жены. Макс, я ненавижу тебя.

Девочки постучали в стенку. Альбина не отвечала. Опять постучали, спросили про травку: травка есть?

— Ты не молчи, — сказали девочки, — ты отвечай, когда спрашивают.

Альбина ответила: травки нету.

— Держи, — девочки перебросили на нитке окурков, Альбина не брала, девочки рассердились. — Давай бери, а то придет кап — все погорим.

Альбина взяла окурков, затянулась, задержала дыхание, выдохнула, девочки сказали:

— Ну вот, полегшало. А то строит из себя. Ты не строй из себя, будь, как все — себе же польза. Ты, когда выйдешь, купи травки, передашь через Джорджию. Джорджию знаешь? Передашь через Джорджию. Вот, возьми десять баков.

Альбина сказала, денег не надо. Нет, стояли на своем девочки, пусть возьмет деньги, а то потом ищи-свищи. А деньги взял — в ответе, нет человека без совести, совесть у всякого есть.

— Девочки, -- сказала Альбина, — вы хорошие.

— Хорошие, — подтвердили девочки, — хорошие. Потянешь травки — нету плохих, все хорошие.

Альбина вытерла нары подолом балахона, легла, девочки сказали, они дадут кусок байки, пусть положит под голову.

Альбина взяла, свернула, положила под голову, получилось очень удобно, громко засмеялась, крикнула девочкам:

— Спасибо!

Девочки сказали, они сейчас займутся любовью, Альбина, если хочет, может принять участие, они объяснят, чего и как ей делать. Альбина не отвечала, закрыла уши ладонями, все равно проникали звуки, как будто зверь в лесу, урчит, возится с костью. Урчание то усиливалось, то слабело, наконец, стихло, звуков не стало, Альбина отняла ладони, прислушалась, балахон на ногах задрался выше колен, привстала, чтобы оправить, подтянула, для примерки, кверху, похоже на греческую тунику, провела ладонью по бедрам, сжала ноги, в бедрах оставался небольшой зазор, сжала плотнее, зазора не стало, получилась прямая линия, жаль, Макса нет рядом, не видит, Золушка в тюремном рубище.

— Синдерелла, — Альбина хлопнула себя по ягодице, — ты в темнице! Злодеи заточили тебя в темницу. Эльфы, слышите: ваша госпожа, Синдерелла, в темнице!

За сеной, как будто услышали Альбинин клич, раздался вой, выли на два голоса, со стоном, с басовым внезапным рыком, Альбина бросилась на нары, накрылась байкой, заткнула уши пальцами, подтянула колени к груди, в ушах, в голове поднялся звон, вроде звонница, затеяли бой во все колокола.

Так лежала, пока не почувствовала, кто-то дергает, тормозит. Сняла с головы байку, осмотрелась, никто не дергал, не тормозил, только стук шел из-за стены и голоса.

— Эй, -- весело кричали девочки, — ты что, обеспамятела от секса! Хочешь повторить — давай повторим!

Альбина не отвечала, девочки уgomонились, было впечатление, что встревожены, просили Альбину не молчать, сказать слово, а то вроде мертвец в камере.

— Ты откликнись только, — просили девочки, — мертвая или живая?

Альбина откликнулась: живая. Ну, слава Богу, сказали девочки, что живая, не мертвая, предложили Альбине еще травки и объяснили: ты своя нам, за решеткой все — черные.

Альбина засмеялась: посадить всех за решетку — одного цвета все будут.

— Вы, — сказали девочки, — на посудинах своих возили нас, как скотину, из корыта поили. А теперь Джорджия прикажет тебе: а ну-ка разведи свою пусю! И разведешь. Попробуй не развести. На, — девочки перебросили скрутку, — закуривай. Мы не вы.

Альбина сказала девочкам, пусть забирают свою скрутку, она не возьмет.

— Нет, — ответили девочки, — возьмешь, а не возьмешь, придет надзирательница, скажем, вот, белая подбросила нам травку.

— Это подлость, — сказала Альбина.

Девочки воскликнули: подлость? А говорить человеку нет, когда он последнее отдает тебе, не подлость!

— Мы свое, — сказали девочки, — последнее отдаем. Ты возьми. Плохо тебе. Возьми.

Альбина смотрела на скрутку, протянула руку, готова была поднять, девочки за стеной затихли, видно было, наблюдают, ждут.

— Нет, — решительно сказала Альбина. — Вам говорить ничего не надо. Придет надзирательница, я сама скажу: вот, подбросила девочкам травку.

— Ух, подлая ты! — в один голос закричали девочки. — Ну, подлая, тебе только бы шкуру с человека содрать, чтоб все видели: нате, смотрите, какой он там, под шкурой!

Альбина ответила, сдирать не надо, каждый сам с себя сдирает, только закрывают глаза, никто не хочет видеть.

— Ты одна хочешь! — опять в один голос закричали девочки. — У, подлая, засадить бы тебя в трюм, чтоб рыгала всю дорогу, чтоб продыху не было!

Альбина сказала: кто тычет всем в глаза своим рабством, тот никогда свободным не будет. Бог, когда поставил Моисея, чтоб вывел свой народ из рабства, предупредил: помните, вы были рабами, не обижайте пришельца.

Девочки поначалу молчали, как будто обдумывают, готовят ответ, потом сказали, пусть Альбина вернет им десять долларов, какие дали ей, чтоб купила для них травки.

— Верни десять баков, — сказали девочки, — не надо нам от тебя травки, ничего от тебя не надо.

Альбина вернула деньги, девочки, вроде очень забавно им и смешно, громко засмеялись: ну, шельма, ну, перекутила все по-своему!

Хотелось ответить девочкам, пусть не волнуются, травку свою получают, она помнит, передать через Джорджию, Джорджия своя, но передумала, девочки истолкуют по-своему, вроде ищет оправдания, идет на мировую, только бы услышать доброе о себе слово, ничего не сказала, легла, положила под голову валик из байки, которую дали девочки, как ни укладывалась, было неудобно, выдернула валик из-под головы, швырнула под нары, затолкала ногой поглубже, опять легла, получилось удобнее, повернулась на спину, сложила руки на животе, похоже на покойницу, было смешанное чувство, неприятное и в то же время приятное, на миг представилось, все позади, ничего не ждет, ничего не должна, не надо бояться, все, что могло свершиться, свершилось, перед глазами крутились, гримасничали, будто невидимый кто-то водит веревкой по воде, какие-то рожи, вдруг увидела папу, лицо вполоборота, подсвеченное ртутным, с звездной синевой, светом, уплывало в сторону, Альбина хотела остановить, удержать, лицо уплывало, удалялось,

наконец, совсем исчезло, Альбина зажмурила глаза, от приятного чувства, какое было минуту назад, ничего не осталось, охватила давешняя досада, как будто не тем занималась, напрасно теряла время, все делала не по-своему, делала, как хотелось Макс, из-за него права украли, из-за него как сумасшедшая гнала из Вашингтона, из-за него тюрьма, железные нары, компания проституток, под ногами бегают мыши, а его самого, Макса, нет, неизвестно, когда будет, ему нет нужды торопиться, он свое сделал, он не в тюрьме, его не раздевали, нагого к стене не ставили, не глумились, кап не хватался за револьвер, не обещал пристрелить на месте.

Любит ее Макс или не любит? Говорит, что любит. А на самом деле? Любовь — это полное доверие, делай, любимая, по-своему, верю, больше, чем себе, верю, она бы не чувствовала давления, какое постоянно исходит от него, как будто не любимый человек, не друг, а злая сила, враг, всегда прячется за углом, притаился, только ждет момента, чтоб изловчиться, поймать в силки, в капкан, убеждая при этом, он не для себя делает, ему не надо, он для нее, для Альбины, делает.

Сколько она просила: Макс, не дави, не насилуй! А он разводит руками: какое насилие? В лаборатории у себя все понимает, а в жизни ничего, и не хочет понимать, хотя сам объяснял: у каждого человека свое поле — не электромагнитное, не гравитация, а другое, какие-то волны, как в телепатии, наука еще не знает — поля взаимодействуют, один воспринимает взаимодействие как насилие, а другой чувствует, он делает, что должен делать, иначе не может, так надо, и все у него внутри бунтует, требует, пока не сделает так, как должен, как надо.

Чтоб задеть Макса, чтоб не только ей, чтоб ему тоже было больно, она вспоминала Симона, сравнивала с Максом и говорила, Симон тоже любил твердить про должное и доказывал

всем, что категорический императив Канта наверняка должен иметь физический смысл, как имеет физический смысл математическая формула или уравнение. Саша, Антонио, Фрэнк, Сева тоже давали, каждый, свое объяснение, и каждый был уверен, что знает правду, понимает, а другие не знают, не понимают.

Макс отвечал, Саша, Симон, Антонио, Фрэнк, Сева, каждый бдел о себе, о своем, такое у них поле, можно описать в этических терминах — плохой, хороший, добрый, злой — но это не объяснение, это — описание. Кантовский категорический императив не объясняет, кантовский императив констатирует: да, у Джона, у Ивана есть чувство должного; нет, у Джона, у Ивана нет чувства должного. А почему есть, почему нет — ключ в физическом поле индивидуума.

Альбина отвечала Макс, что категорический императив говорит ей: надо расстаться с Максом. Ее физическое поле требует от нее: или расстанься с Максом, или расстанься со мной — мы несовместимы.

Макс обнимал Альбину, целовал, забирал зубами кончик носа, было впечатление, что собирается откусить, и, на одной ноте, как будто механический манекен, робот, бормотал:

— Должен, должен, должен!

Альбина от этих слов приходила в ярость, кричала Макс, он ничего не должен, никто не должен, такие, как он, после революции устраивали в России концлагеря, убили двадцать миллионов человек, и объясняли, так надо, они должны, революционная совесть говорит им: так надо, они должны. А теперь выяснилось, нет, так не надо, они не должны, и все кивают на Сталина: Сталин приказал.

— Макс, — Альбина брала себя в руки, старалась говорить спокойно, — ты привез эту философию, эту психологию из

России. Макс, забудь: ты на Западе, в свободном мире, это здесь не работает.

Макс отвечал, революция здесь ни при чем, и Сталин здесь ни при чем, не надо путать Божий дар с яичницей: должествование — основа этики; где кончается должен, там кончается человеческий закон. Три с половиной тысячи лет назад Бог предложил людям сделку: Я — вам должен, вы Мне — должны, и попробуйте сказать нет!

— Макс, — говорила Альбина, — ты раб. Ты хочешь, чтобы вокруг тебя все были рабами.

Макс кивал головой: да, раб. И добавлял: мы все — рабы, Божьи, Бог — это поле; частицы и волны — его ангелы и архангелы, одни переходят в другие, как в уравнениях Гейзенберга и Шредингера. Физики говорят, пространство ограничено и время ограничено, у Вселенной, как у человека, свои именины: десять миллиардов лет, двадцать миллиардов лет. Бред сивой кобылы! Над пространством есть метапространство, над временем — метавремя, нету начала, нету конца, нет половины, нет целого, все, что ни померещится, такая же реальность в метамире, как стул, на котором мы сидим, реальность на Земле. Раз померещилось, Макс вскакивал, делал движение руками, как будто пытается ухватить в воздухе, значит существует! Сумасшедшего надо связать полотенцами, чтобы обуздать химеры, которые требуют выхода. Химеры сумасшедшего — реальность, иначе не надо было бы желтого дома с хитрыми запорами, с железными оградами, чтобы держать взаперти.

А вулкан, а землетрясение, а Ноев потоп, перечислял Макс, а водородная бомба, которую человек изготовил своими руками, — что они такое? Какая между ними разница? Нету между ними разницы. Все они духи, частицы и волны, не злые и не добрые, пока не начинают крушить и убивать. Где полигон

их? Божье поле — полигон их. Нет ничего — ни сущего, ни мыслимого — вне Божьего поля. Бог — поле, мы — рабы в этом поле.

— Ты лжешь, — говорила Альбина Макс. — Ты хочешь запутать меня. Да, Бог — поле. Макс, ты — раб в этом поле, я — свободный человек. Ты чувствуешь себя рабом — и ты раб, я чувствую себя свободной — я свободна. Раз существует идея свободы, значит, существует свобода.

Макс показал пальцем вверх, для Него да, существует свобода, для человека нет, свобода не существует — идея свободы существует.

Альбина нахмурилась:

— Макс, ты хочешь сказать, Он дурачит нас?

Макс ответил: нет. Он не дурачит нас — мы сами себя дурачим.

Альбина спросила, зачем это Ему надо — чтоб мы сами себя дурачили? Макс повторил, Ему этого не надо, Он никогда не говорил человеку, делай, что хочешь, Он говорил лишь, что человек может выбирать между добром и злом, добром для себя и злом для себя, но в Его поле, в поле Абсолюта, нет добра и нет зла, которые были бы сами по себе, добром и злом они становятся только тогда, когда человек примеряет их к себе, к своему минутному интересу, и рядится, как купец-охотноредец: это мне по нраву, подходит, а это не по нраву, не подходит.

— Макс, — сказала Альбина, — это мне не по нраву: хочу расстаться.

Макс ответил: вот, сиюминутный интерес, не ведаешь, дочь человеческая, где добро, где зло. Альбина поморщилась, сказала, заигранная пластинка, она слышала от Севы, пусть Макс возьмет другую ноту. Макс спросил: будем когда-нибудь

вдвоем или до скончания мира так, обязательно кто-нибудь третий.

Нет, покачала головой Альбина, не до скончания мира: сюсюнутный интерес.

Близилось к рассвету. Альбина присела на нарах, прислонилась к стене. В окне, под потолком в коридоре, сохранялась темень, но не стало прежней неподвижности, будто черный куб, вырублен в ночном небе, как вырубает куб в угольном завале, под землей. За окном шло движение, шевеление, глаз и ухо не улавливали изменений, Альбина всматривалась, вслушивалась, изнутри забирало томление, тоска, давнее, непонятно о чем, воспоминание, давило на грудь, на сердце, снаружи, как будто волны, накатывают одна на другую, тоже теснило, давило, Альбина топнула ногами по нарам, железо отозвалось глухим гулом, девочки из-за стены окликнули, давай потише, ночь, люди спят, Альбина хотела сказать, ей худо, пусть позовут доктора, пусть позовут надзирателя, кого-нибудь, с трудом пересилила себя, прикусила зубами пальцы, закрыла глаза, отчетливо увидела Макса — Макс в конторе, у коменданта, кладет на стол деньги, подписывает бумаги — загремела у входа решетка, послышались в коридоре шаги, Альбина вскочила, прижалась лицом к прутьям, пришла дежурная, назвала имя, фамилию, отперла камеру, велела следовать за ней.

Макс, когда ввели Альбину, бросился к ней, хотел обнять, она выставила руки вперед, отстранила, полисмен взял Макса под локоть, приказал отойти подальше, так близко стоять не положено. Пришла Хуанита, принесла одежду, повела Альбину переодеваться, вернула пачку сигарет, Альбина открыла, хотела закурить, Хуанита остановила, нет, заключенным не разрешается, Альбина сказала, в конторе заканчивают формальности, через пять минут ее выпустят, Хуанита ответила, через пять минут Альбина сможет закурить.

— Хуанита, — обратилась Альбина, — ты веришь в Бога?

Хуанита ответила, она работает здесь потому, что верит в Бога. Бог — это порядок. Порядок должен быть везде. Нет порядка — нет Бога.

— Проверьте внимательно свою одежду, — сказала Хуанита. — Не мешкайте: мы задерживаем людей в конторе. Пошли.

Комендант спросил: почему так долго? Хуанита объяснила: ее вина, надо было поторопить сразу, она промедлила.

— Моя вина, — повторила Хуанита.

Комендант подвинул бумаги к Максу, показал, где расписаться, предупредил Альбину, она находится под арестом, выпущена под залог, повестку в суд пришлют по адресу. В случае неявки в суд залог аннулируется, виновный подлежит повторному аресту.

Светало. Дул легкий ветерок, Альбина озябла, обняла себя руками, чтоб было теплее, Макс снял пиджак, набросил Альбине на плечи, она тут же стряхнула, Макс успел подхватить, громко засмеялся, наконец, кончилось невезение, началось везение.

Машина стояла за углом, Макс сказал, преимущество ночного визита в тюрьму: нет проблемы парковки, днем, наверное, камню негде упасть. Макс открыл правую дверцу, показал рукой, садись, Альбина сказала, нет, она поведет машину, села, перебралась на место водителя.

Макс напомнил Альбине:

— У тебя украли права, ты провела ночь в тюрьме.

— Макс, — спросила Альбина, — о ком твоя забота: обо мне? О себе? Если обо мне, дай ключ, я поведу машину, ты должен верить мне. Должен.

Макс передал Альбине ключ:

— Поехали.

Миновали Холланд-тоннель, свернули в Сохо, Альбина

взяла у Макса деньги, остановились между Канал-стрит и Грэнд-стрит, велела подождать, через пять минут вернется, получилось немного дольше, воротилась в хорошем настроении, Макс спросил: можно задавать вопросы?

Альбина поцеловала в щеку, сказала, нет, нельзя: вопросы не нужны — ни тому, кто спрашивает, ни тому, кто отвечает. Все неприятности, все осложнения у людей — от вопросов. Будущее общество — общество ясновидцев, не будет вопросов, не будет нужды отвечать, и люди будут счастливы.

— Макс, — Альбина засмеялась, — понимаешь, не надо спрашивать, не надо отвечать — все счастливы, общество счастливых!

— Ты курила, — сказал Макс.

— Курила, — кивнула Альбина, вынула из кармана скрутку, включила зажигалку, затянулась, понюхала, проводя влево-вправо под носом, предложила Макс, пусть тоже сделает затяжку.

Альбина протянула скрутку, Макс сказал, убери, велел Альбине передвинуться, он сядет за руль.

Альбина спросила:

— Ты должен сесть за руль или просто хочешь сесть за руль?

Макс ответил, это не имеет значения, должен или хочет. Альбина улыбнулась, подняла палец: о, это имеет очень большое значение!

— Если должен, — Альбина повела пальцем, — я выйду из машины и пойду пешком. Если не должен, а просто хочется, тогда каждый остается на своем месте, я за рулем, ты рядом. А не хочется рядом, сзади к услугам пассажиров диван — раз, два, три — три свободных места. Выбирай.

— Поехали, — сказал Макс.

— Господи, — зажмурилась Альбина, — как может быть хорошо, когда люди хотят, чтоб было хорошо. Все в руках

человека. Как ты говоришь? Человек — кузнец своего счастья. Скажи, милый, это распространяется на всех или только на тебя и тебе подобных, кто говорит: должен, должны?

— Я заказал разговор с Одессой, — сказал Макс. — Сначала отказали: линия перегружена. Пришлось настаивать.

— Так, — кивнула Альбина, — ты должен был, ты настоял. Ты сделал, как должно. Не надо объяснять: не для себя сделал — для меня сделал, мой интерес, мой отец умирает, не твой.

Макс сказал, Альбина знает: его отца давно нет, убит на Лубянке, по делу врачей.

Альбина кивнула: она знала, она ждала, Макс ответит именно так, такими словами, другого не ждала.

Макс спросил: какими словами надо было отвечать?

— Никакими! — Альбина подняла кулаки, ударила по баранке. — Никакими, просто смолчать. Человек, если есть у него что-то здесь, — Альбина ткнула себя пальцем в грудь, — отвечает без слов.

— Mea culpa, — сказал Макс. — Моя вина.

— Ужас, — Альбина зажмурилась, тряхнула головой, волосы на миг закрыли лицо, — как ты меня терпишь! Я бы не выдержала.

— Как не терпеть, — Макс сложил руки лодочкой, прижал к груди, — коли велено: дева послана в испытание. Испытание — награда. Надо терпеть.

— Не кошунствуй, — Альбина скосила глаза, — убери руки с груди, а то накличешь.

Выехали на Бруклинский мост, буксир, переваливаясь с боку на бок от натуги, тянул огромную баржу, Макс сказал, напоминает ему муравья, который волочит за собой жердь, непонятно, откуда берутся силы.

Непонятно, кивнула Альбина. В природе много непонятного. Непонятно, сказала Альбина, почему она должна была

провести ночь в тюрьме, в камере с проститутками. Если бы она сделала по-своему, не фордыбачила с Митрохиным, потому что так хотелось Макс, если бы в ресторане не хамила Джону-Фрэнку...

Макс перебил: какой Джон-Фрэнк?

— ... если бы не хамила, а приветила, как положено людям, когда оказываются рядом, не было бы этой жуткой ночи. Макс, — сказала Альбина, — ты сделал по-своему, ты заставил меня сделать, как ты хотел. Макс, ты насильник, ты палач, ты калечишь человеческую душу. Макс, ты будешь наказан.

Макс пожал плечами: старая песня, *post hoc, ergo propter hoc* — после этого, следовательно, поэтому. Черная кошка перебежала дорогу. Кто виноват? Черная кошка виновата. Временная связь — не причинно-следственная связь.

— Черная кошка, — сказала Альбина, — не виновата: черная кошка — знак. Можно обойти кошку, но нельзя обойти знак. Все, что происходит с одними людьми в одно время, обязательно связано, просто мы не видим, не знаем, как связано. А потом вдруг, трах-бах, как у Чехова: вторник хохороны.

— Вот, — сказал Макс, — сентябрь, день осеннего равноденствия, собрались тучки, моросит дождик, дорога влажная, асфальт покрыт тонкой пленкой, под Бруклинским мостом проплывает баржа, ведем интеллигентный разговор о насильниках, о палачах, замедли ход, полюбуемся на Ист-ривер, спасибо, замедлила, все происходит с одними людьми в одно время, какая связь между этими событиями?

Альбина ответила, она не знает, какая связь, но она чувствует — Альбина ткнула пальцем в средостение — она чувствует здесь, есть связь.

— Макс, — сказала Альбина, — я боюсь, мне страшно. Случайного нет. Мы просто не знаем, не видим. За каждой

секундой — поворот. Каждое мгновение — поворот. Случайного нет — мы просто не знаем. Макс, мы просто не знаем!

— Нет, — сказал Макс, — знаем. Ты знала, что не надо идти в ресторан с Митрохиным. Ты сама говорила, они сволочи. Ты знала, что в ресторане нельзя оставлять сумку без присмотра. Ты знала, что у тебя украли права, украли все документы, надо быть вдвойне осторожной на дороге. Ты знала, что не следует вступать в конфликт с полицией, ничего хорошего не выйдет. При чем здесь случайность? Ты все знала наперед. И сейчас знаешь: ты провела бессонную ночь в тюрьме, ты курила, ты не должна сидеть за баранкой. Но ты говоришь, нет, я буду сидеть за баранкой, я буду вести машину, машина послушна мне, джойнт вернул мне силу и уверенность, которую хотели отобрать у меня. Ты говоришь: так я чувствую. Я спрашиваю: что значит чувствую? Есть опыт, есть твердое знание: так делать нельзя.

— Макс, — спросила Альбина, — чего ты домогаешься? Макс, я спрашиваю тебя: чего ты домогаешься? Ты не веришь мне. Кто дал тебе право не верить?

— Я верю тебе, — сказал Макс. — Я говорю только, есть опыт, есть знание. Надо считаться.

— Кто дал тебе право не верить? — повторила Альбина. — Не верить человеку — это преступление. Макс, ты совершаешь преступление, ты — преступник.

Выехали на Оушен Парквей, перестроились в правый ряд, Макс задумался, на лице была непонятная гримаса, вдруг весело засмеялся, как будто очень забавно и смешно, сказал Альбине, мистика, ну кто поверит, что барышня провела ночь в тюрьме!

У перекрестка, хотя был зеленый свет, Альбина внезапно остановилась, поставила машину на тормоз, сказала Макс, пусть садится за руль, дальше поедет сам, она не поедет.

Альбина вышла, захлопнула дверцу, отступила на несколько шагов, как будто никакого отношения к машине не имеет, подняла руку, помахала, чтоб могли увидеть издали, притормозить, остановиться. Каштановые волосы, когда наклонялась корпусом вперед, охватывали бледное лицо, по контрасту лицо казалось еще бледнее, глаза, наоборот, чернее, совсем черные, с лихорадочным блеском, две машины притормозили, но тут же опять набрали скорость, другие проносились мимо, громко сигналив, чтоб сошла с дороги, не мешала движению. Альбина не обращала внимания, сделала еще шаг вперед, из левого ряда, по диагонали, чудом не врезался в машину справа, подкатил к Альбине белый „Кадиллак”, круто, как будто прихватили электромагнитом, затормозил, молодой парень, пуэрториканец, выставил голову в окно, внимательно посмотрел, Альбина сказала:

— Эй, Доминго, открой дверь, я сяду.

Парень продолжал разглядывать, Альбина повторила, пусть откроет дверь, сама взялась за ручку, стала дергать, парень улыбнулся, велел Альбине отступить, чтоб не ушиб дверью, когда будет открывать.

Альбина отступила, сзади, пока парень возился с дверью, подошел Макс, сказал парню, все в порядке, пусть едет своей дорогой, схватил Альбину за руку, потянул с силой, она стала упираться, закричала парню:

— Эй, Доминго, он хочет увести меня!

Парень вышел из машины, перегородил дорогу, сказал Макс, дальше не сделает ни шагу, пока не отпустит женщину. Макс, как будто не к нему обращаются, пнул парня корпусом, тот, от неожиданности, прынул назад, Макс успел схватить за ворот, иначе шлепнулся бы затылком о бордюр, повторил, пусть едет своей дорогой, потянул Альбину за собой, она снова стала упираться, Макс остановился, спросил, чего она хочет,

освободил руку, сказал Альбине, ладно, пусть делает по-своему, каждый сам себе кузнец, он будет ждать в машине.

Парень подошел к Альбине, обнял, положил руку на плечо, она прижалась, пошли рядом, парень открыл дверцу, сам зашел с другой стороны, Альбина стояла, не садилась, он спросил, чего она ждет, Альбина взялась за дверцу, было впечатление, что садится, вдруг, с силой захлопнула, сделала рукой знак: гуд бай, Доминго!

Парень завел свой „Кадиллак“, до перекрестка двигался вровень с Альбиной, как будто сопровождает, когда поравнялся с Максом, показал средний палец, крикнул, пусть не волнуется, найдут его, Альбине показал грубым жестом, она тоже от своего не уйдет, с ходу набрал скорость и исчез.

Альбина села в машину, Макс подвинулся, уступил место за рулем.

— Макс, — Альбина взяла Макса за руки, положила ладонями себе на щеки, зажмурила глаза, — зачем я сделала это? Зачем это нужно было?

Макс, погладил, поцеловал в нос, в глаза, спросил: а что было? Оглянулся вокруг, как будто на самом деле ищет, и сам ответил:

— Ничего не было. Поехали.

— Макс, — сказала Альбина, — я люблю тебя. Я никогда никого не любила. Я всегда любила тебя. Только тебя.

Впереди, над океаном, полыхнул в небе яркий свет, похоже на зарницу, резко обозначились края туч, было впечатление, что тучи располагаются одна над другой, в несколько ярусов, свет перебегал с яруса на ярус, как будто гряда гор, с утесами, с ущельями, с крутыми обрывами.

— Где я? — спросила Альбина. — Макс, где мы?

Макс не отвечал, повернулся к Альбине, глаза были холодные, вроде сторонний, чужой, впервые увидел, наблюдает,

непонятно кто, непонятно откуда, Альбина кивнула головой, снова полыхнул в небе свет.

— Макс, — сказала Альбина, — мы там. Ты и я, оба. Макс, откуда это: мы сидим здесь, в машине, а я чувствую, мы там, в небе, и свет переносит нас с гряды на гряде. Макс, откуда это чувство? Где мы: там или здесь?

— Мы не там, мы здесь, — Макс указал рукой на дорогу. — Следи за дорогой. Когда дождь только начинается, на дороге образуется пленка, при торможении машина скользит, как по вошеному полу. Будь внимательна. Сорок миль — максимум.

Спидометр показывал пятьдесят, Альбина ответила, люди еще спят, дорога почти пустынная, но она сделает, как велит Макс: сорок миль — максимум. Альбина хорошо держала машину, стрелка, слегка подрагивая, стояла против сорока, иногда чуть заходила, но тут же возвращалась. Макс засмеялся, напоминает ему детство, цирк, эквилибрист с шестом на проволоке: идет ровно, ничего особенного, но вдруг качнулся, вот-вот упадет, от ужаса захватывало у людей дыхание, эквилибрист, наклонясь еще больше влево-вправо, наконец, выпрямлялся и дальше, сколько оставалось дороги, ступал твердо, уверенно, и цирк, освободясь от страха, бешено аплодировал: браво, браво!

— Почему ты не аплодируешь мне, не кричишь браво? — спросила Альбина.

— Браво, — Макс соорудил гримасу, как будто на галерке в цирке, громко захлопал, — браво!

— Милый, — Альбина повернулась, чмокнула в ухо, — ты притворщик. Но все равно приятно.

Попали в зеленую волну, Макс указал на спидометр, пятьдесят, надо сбросить газ.

— Милый, ты боишься? — Альбина потрепала пальцами по щеке. — Ты боишься. Ты — трус.

Макс вытянул ремень, пристегнулся, сказал Альбине, пусть тоже пристегнется.

— В тюрьме, — Альбина нажала на педаль, стрелка пошла вверх, — девочки приняли меня за шлюху с панели. Я солгала, я сказала: у меня муж. Обе очень весело смеялись: „А у мужа твоего есть жена?“

Небо впереди очищалось, выглянуло солнце, с земли подымался пар.

— Макс, — обратилась Альбина, — почему ты не просишь меня: будь моей женой? Ты не веришь девушке с прошлым? Симон, твой предтеча, объяснял мне: ключ к будущему — в прошлом. Он заблуждался, он был жестоко наказан: ключ не в прошлом, ключ к прошлому — в будущем. Вот тебе ключ: ты пишешь моим папе-маме в Одессу, что просишь руки их дочери. Ты идешь к Саше, требуешь от него, пусть даст развод, потому что хочешь жениться на мне. Ты делаешь мне предложение, становишься на колени, умоляешь: будь мне женой. А я тебе отвечаю: милый, любимый, нет, мы не можем быть вместе, мы должны расстаться, уходи. Ты уходишь, всю жизнь маешься один, как будто в каменной пустыне.

Макс спросил:

— Кто я: Азazel, козел отпущения, понесу на себе грехи человеков?

Альбина кивнула: Азazel, у Азazела нет выбора, жребий брошен, надо идти в каменную пустыню, иссушить, развеять, истребить прошлое. Прошлого больше нет.

Макс спросил: кто берет поклажу Азazела — демоны, ангелы, сам Превечный?

— Азazel, — Альбина бормотала, как будто молитва, губы трепетали, — отнеси груз, которым нагрозили тебя, в пустыню, отдай Превечному, пусть обратит прошлое в прах, пусть не будет прошлое сущим, как если бы никогда его не

было, пусть не останется следов его ни на земле, ни на камне, пусть истребится память о нем в сердцах свидетелей. Аминь!

Альбина повернула голову к Макс, в глазах стояли слезы:

— Азazel, чего ты хочешь? Было ли в моих делах еще, чего нет в твоей поклаже? Ты навьючен, Азazel: иди, неси.

Макс жалобно, как будто юродивый, загундосил:

— Жил-был у бабушки серенький козлик...

Внезапно — Макс успел крикнуть: тормози! — с поперечной улицы выскочил пес, по земле волочилась сворка, пес мчался прямо под колеса, Альбина взяла круго вправо, машину понесло по влажному асфальту, выбросило на тротуар, ударило буфером о бетонный столб, капот вздыбило, выгнуло поперек, у Макса было ощущение, что на грудь положили чугунную плиту, нечем дышать, вот-вот задохнется, позвал Альбину:

— Альбина, я задыхаюсь.

Альбина не откликнулась, голова лежала на баранке, как будто в отчаянии приткнулась лбом, не в силах оторвать, Макс повторил, что задыхается, пусть откроет дверь, поможет ему выйти на свежий воздух, поднял руку, тронул Альбину за плечо, она не реагировала, взял за волосы, осторожно повернул голову, все лицо было в крови, первое впечатление, мертва, разбилась насмерть, охватил ужас, прижался губами, щеки, губы были холодные, с трудом нашупал пульс, вроде тонкая нить, откуда-то издалека дергают, колебание едва доходит, вот-вот совсем прекратится.

Приехала полиция, скорая помощь, обоих положили в карету, у Альбины в дороге нарушилось дыхание, пришлось подключить респиратор.

Привезли в Кони-Айлендский госпиталь. У Макса начались сильные боли в груди. Сделали рентген, доктор сказал: перелом грудины, перелом левого нижнего ребра, трещина в тазо-

бедренном суставе. Судя по затрудненному дыханию, можно было опасаться разрыва плевры. Разрыва нет. Доктор похлопал Макса по плечу: счастливчик, благополучно отделался. Надели корсет, стало легче дышать, велели хорошо откашляться, чтоб не возникло застойных явлений в легких, сделал несколько попыток, но пришлось отказаться: боль была такая, как будто дробят кости, рвут грудь изнутри.

Врачи настаивали на госпитализации, Макс отказался, потребовали расписку, что отказывается.

У Альбины была открытая рана на темени, наложили швы. Во второй половине дня, ближе к вечеру, Альбина сказала Макс, она не может лежать, с ногами что-то происходит, как будто не свои, пусть Макс поможет ей, она хочет пройти. Макс ответил, доктора предупредили, ушиб очень сильный, возможно сотрясение мозга, Альбине не следует двигаться.

— Макс, — повторила Альбина, — со мной что-то происходит, помоги мне, я должна встать, я хочу уйти. Макс, мне плохо, уведи меня!

Макс сказал, он не опора, он сам калека, нужна тележка, Альбина сядет в тележку, он будет толкать, на лифте можно спуститься вниз, погулять во дворе.

Альбина ответила, она не хочет во дворе, она хочет домой, пусть отвезет ее домой, из Одессы будут звонить, она должна быть дома.

— Макс, — сказала Альбина, — я делала все, как ты хотел. Ты меня толкал, ты меня заставлял, все вело к этому. Не принуждай меня, я не хочу, чтоб меня принуждали! — Альбина схватила Макса за руку. — Родной, любимый, заberi меня отсюда. Умоляю тебя, заberi, я хочу домой!

Макс сказал, так просто не отпустят, кроме того, надо приготовиться, заказать такси. Лучше, если он сам поедет.

Будут звонить из Одессы — он дома. В случае надобности можно будет переключить на госпиталь.

Альбина задумалась, кивнула: ладно, пусть едет домой, звонить в госпиталь не надо, неизвестно, как она будет чувствовать себя.

— Иди, — сказала Альбина, — посетительское время кончилось. Я сама позвоню. Иди.

Макс спросил: как ноги, держится прежнее чувство, как будто не свои, или отпустило?

— Все в порядке. Иди, — подтолкнула Альбина. — Жди звонка. Сам не звони. Я буду звонить.

Сестра ходила по палатам, стоя у дверей, громко объявляла: посетительское время кончилось.

У лифта собралась очередь. Макс остановился поодаль, внезапно схватил приступ кашля. Макс затянул корсет, подпер руками живот, ребра, каждый выдох растягивал, сколько мог, пока не начиналось удушье, темнело в глазах, казалось, конца не будет, не выдержит, но выдержал, от слабости хотелось прислониться к стене, на миг прислонился, стало легче, люди оглядывались, бросали тревожные взгляды, Макс отступил от стены, выпрямился и так, не сходя с места, ждал вместе со всеми лифта.

Дома, когда приехал, слонялся по квартире, не мог найти себе места. Корил себя, что уехал из госпиталя, надо было остаться, настоять на своем. Вернулось удушье, опять схватил кашель. Снял корсет. Не помогло. Напротив, боль усилилась, ломило, как будто взяли в тиски и завинчивают.

Раздался звонок: звонили из госпиталя. Сказали: Альбины нет в палате, искали всюду, не могут найти.

Оборвалось сердце, вспомнил, Альбина торопила его, иди домой, не жди, звонить в госпиталь не надо, она сама

будет звонить. Охватило отчаяние, на уме вертелось одно слово: о Господи!

Надел корсет, затянул до предела, как будто стальные латы, хлопнул дверью, про замок, что надо закрыть, вспомнил внизу, пока поднимется, пока опять спустится, пройдет время, нет, не будет возвращаться, вышел из парадного, миновал площадку перед домом, на миг задержался, непонятно было, куда, в каком направлении идти, свернул в сторону госпиталя, обогнул кусты, на земле — голова запрокинута на кусты, ноги, вроде целлулоидовая кукла, широко разведены в стороны — сидела Альбина.

— Ты! — воскликнул Макс.

— Я, — сказала Альбина. — Подними меня.

Макс помог подняться, Альбина ухватила обеими руками, объяснила, ноги не слушаются ее, все плывет перед глазами, пусть поддерживает, двигались медленно, шаг за шагом, дошли до парадного, внизу ждал лифт, Альбина сказала, наконец, удача, Макс кивнул, удача, начинается полоса везения. Дверь была незаперта, не пришлось открывать ключом, Альбина сказала, еще одна удача, в гостиную легла на диван, ноги свисали на пол, Макс осторожно поднял, уложил, укрыл пледом, поцеловал, погладил, Альбина схватила за руку, прижалась щекой, стала тереться, закрыла глаза, забормотала:

— Зачем тебе все это? Я нехорошая. Макс, найди себе хорошую. Милый, — по щекам текли слезы, — я нехорошая.

Макс позвонил в госпиталь, предупредил, пусть не ищут, не волнуются, пациент нашелся.

Альбина сказала Макс:

— Поставь чайник. Хочу крепкого чаю с малиной.

Пока возился на кухне, наливал воду в чайник, зажигал плитку, открывал коробочки с чаем, насыпал с серебряной ложечки в чашку, клал малиновый джем на блюдце, возникло

чувство давнего, из детских лет, благополучия, вроде бы не он, Макс, возится на кухне, а мама, заваривает чай, накладывает варенья и сейчас поднесет ему в постель, потому что он болен, нельзя вставать, нужен покой, хотя на самом деле он чувствует себя здоровым и непонятно, почему нельзя вставать, почему обязательно надо оставаться в постели и есть полулежа, опираясь на подушки, которые взбила и подложила ему под спину, чтоб было удобнее, мама.

Макс поставил чайник, чашки, блюда, джем на поднос, хотел отнести в гостиную, едва удержал в руках, в груди поднялась нестерпимая боль, с трудом подавил крик, опустил поднос, перенес отдельно чашки, блюда, чайник, предложил Альбине на выбор, сесть за стол или потчеваться в постели.

— Как прикажете, — спросил Макс, — накрыть на стол, поднести в постелью?

— Макс, — сказала Альбина, — подойди ко мне.

Макс подошел, встал подле дивана, Альбиныны глаза смотрели мимо, Макс тронул за плечо, попросил, пусть смотрит на него, вот он, здесь, рядом, взгляд оставался прежний, далекий, непонятно где фокус, где кончается, Макс машинально оглянулся, Альбина сказала:

— Макс, мои ноги бесконечны, мои руки бесконечны, они уходят в пространство. Макс, они, как лучи, я чувствую, они удаляются, они не подчиняются мне, я точка, нету точки, нет меня. Саша, — закричала Альбина, — мои руки и ноги охватывают землю, я схожу с ума! Саша!

Макс наклонился, взял Альбину за ступни, приподнял, приказал, пусть сосредоточит свой взгляд на ступнях и скажет себе: это мои ступни, мои ноги, Макс держит их в своих руках, я вижу их, они кончаются здесь, в руках у Макса.

Альбина повторила слова, как велел Макс, на лбу выступили капельки пота, Макс вытер ладонью, сказал, пусть выбросит

из головы все свои страхи: ноги и руки, которые удлинятся до бесконечности, — феномен старый, как мир, в XVIII веке французские энциклопедисты на этом феномене построили модель человека, как скопища отдельных органов, добровольно, по договору, подчиненных одному центру. Хотя порой случаются бунты, органы выходят из подчинения и стремятся к изначальной независимости, кончается всегда одинаково — порядок торжествует.

Макс сказал, он принесет том Дидро, „Сон Даламбера”, почитает вслух. Альбина схватила за руку, опять назвала Сашей, нет, пусть сидит, пусть не уходит, когда вдвоем, не так страшно.

Макс повторил, вообще не должно быть страшно, пусть выбросит все страхи из головы: разыгрались какие-то клетки в ретикулярной формации, наследство от игуанодонов и птеродактилей. Макс засмеялся: коварное наследство.

— Макс, — у Альбины сделался прежний взгляд, фокус бесконечно далеко, — возьми мои ступни, держи меня за руки, не отпускай, не уходи!

Макс сделал, как просила Альбина, наклонился над ней, грудь разрывало от боли, смотрел Альбине в глаза, пытался поймать взгляд, как ни старался, не получалось, глаза остановились, как будто неживая, кукла, очень похожа на человека, каштановые волосы разметались на подушке, внутри у самого стало леденеть, отпустил Альбинины ступни, руки, ухватил за плечи, изо всех сил тряхнул, велел встать на ноги.

— Встань! — приказал Макс. — Опусты ноги на пол и встань!

Было отчетливое ощущение, что образовалась между ними, Максом и Альбиной, упругая преграда, как будто приближают друг к другу одноименными полюсами два магнита, чем ближе, тем упорнее, сильнее отталкиваются один от другого,

Макс говорил себе, надо собрать в точку всю волю, какая есть, должно передаться Альбине, она встанет на ноги, тело обретет привычные размеры, пройдет страх, Альбина увидит своими глазами, вот, здесь, она, а дальше, во все стороны, пространство, ее нет, она вся здесь, в границах своего тела, где руки, ноги, голова.

Альбина присела, Макс подтолкнул ноги, чтобы достали ступнями пол, сказал, вот и хорошо, еще одно усилие, взял Альбину под локти, помог привстать. Альбина торопливо, тяжело, как будто взбирается на гору, дышала, Макс твердил, как заводной, спокойно, спокойно, готов был отпустить, хотел предупредить, поддержка больше не нужна, он отпускает. Не успел произнести, Альбина закричала, нет, пусть не отпускает, она огромная, голова упирается в Млечный путь, дикий холод, клубы белого света, слепит глаза, она ничего не видит.

Альбина запрокинула голову, глаза были широко раскрыты, одни белки, как будто мрамор, вставлен в глазницы.

— Подними голову, — приказал Макс, — смотри на меня. Ты можешь: подними голову, смотри на меня.

Альбина сделала движение, из-под века выступил ободок радужки, Макс осторожно усадил на диван, присел рядом, прижался, сказал, все в руках человека, воля правит миром, человек — это воля.

— Ты сильная, — Макс обнял Альбину за плечи — ты можешь.

Альбина сказала, она хочет лечь, ноги совсем не слушаются, пусть Макс поднимет, положит на диван, Макс покачал головой, его помощь не нужна, Альбина сама может.

— Иди, — Альбина легла, ноги свисали на пол, — ты не нужен. Выключи свет. Хочу остаться одна.

Макс вышел, притворил за собой дверь, оставил узкую щель.

В кабинете было полутемно, падал свет от уличного фонаря, у окна стоял письменный стол, Макс сел, навалился грудью, оперся локтями, тянуло и ломило, как будто во всем теле зубная боль. По расчетам, теперь, когда принял позу, какую хотел, боль должна была уменьшиться. На самом деле, боль усилилась и продолжала нарастать, перехватило дыхание, весь покрылся испариной, сорвал с груди корсет, в ярости, в злобе на себя, выкликнул, пусть растет боль, пусть крепчает, чем больше, тем лучше, хотелось вскочить, бежать, но сам одергивал себя, понуждал сидеть на месте, зашелся в кашле, пришлось встать, схватился за оконную раму, фонарь на столбе прыгал, метался во все стороны, как будто за окном буря, ураган, сейчас сорвет фонарь, столб, понесет, закружит, грохнет о мостовую, Макс задержал дыхание, стиснул зубы, уцепился за подоконник, прекратилось, наконец, дикое метание, мелькание за окном, последняя судорога, будто сама изнемогла, обессилела, внезапно отпустила, настала тишина.

Цепляясь за стол, за стены, добрался до дивана, уперся ладонями в валик, осторожно, чтоб не допустить встряски, повернулся, стал приседать, почувствовал под собой пружины, освободил руки, тело, вроде выронили над пропастью, стремительно понеслось вниз и тут же, задержанное преградой, остановилось.

Первое ощущение было полное блаженство, ничего не нужно, только это — покой, тишина, надежная опора. Макс растянулся на диване, желтый свет, чуть подернутый охряной пылью, в косом оконном переплете ложился на стену, в доме напротив женщина накрывала на стол, вдруг уставилась в окно, замерла, покачала головой, быстро подошла к окну, задернула занавеску.

Пока мог наблюдать, как женщина накрывает на стол, сохранялось ощущение блаженства и покоя. Теперь, когда

женщина задернула занавеску, возникло неприятное чувство, вроде получил сигнал об опасности, что-то произошло с Альбиной, женщина из своего окна могла увидеть, но вспомнил, в гостиной темно, с улицы ничего увидеть нельзя, сам себе объяснил, случайное совпадение, никакой связи между женщиной в окне и Альбиной нет, успокоился, стала забирать дремота, несколько раз проваливался в сон, но тут же, от резкого толчка изнутри, вздрагивал, пробуждался, хотелось подняться, заглянуть к Альбине, чтобы убедиться, ничего не изменилось, как было, так и есть, всякий раз одергивал себя, останавливал, нельзя распускаться, надо держать себя в руках, так лучше для обоих, для него и для Альбины.

Макс не заметил, как заснул, разбудил телефонный звонок, из Москвы предупредили, пусть ждут, в течение часа дадут Одессу. Невольно сделал резкое движение, в груди громко, вроде ломают кость, хрустнуло, пришлось снова лечь, ждать, пока утихнет боль, сполз с дивана на пол, твердая опора давала преимущество, оперся руками и коленями, поднял одно колено, другое, правой рукой ухватился за диван, выпрямлялся медленно, осторожно, наконец встал во весь рост, надел корсет, отворил дверь в гостиную, включил свет.

Альбина лежала на спине, лицо бледное, нос заострился, повернула голову к двери, Макс, как будто отлучился на минуту, ничего не произошло и не могло произойти, сообщил: звонили из Москвы, в течение часа дадут Одессу.

— Макс, — сказала Альбина, — мне плохо.

Надо пересилить себя, ответил Макс, сейчас будут звонить из Одессы. Альбина должна пересилить себя.

— Макс, — сказала Альбина, — я умираю.

Макс ответил, плохо — это еще не умираю, умереть не так просто.

— Макс, — повторила Альбина. — я умираю. Я звала тебя,

чтоб попрощаться, ты не приходил. Макс, — Альбина поманила пальцем, — наклонись, я поцелую тебя, я прощаю тебя.

Макс наклонился, сам поцеловал, лоб и щеки были холодные, взял за руку, посчитал пульс, сорок, поначалу показалось, что падает, пересчитал дважды, нет, не падает, менялось лишь наполнение, иногда с трудом удавалось прощупать, Макс спросил: будем ждать Одессы или звать скорую помощь?

Альбина не отвечала, глаза уставились в потолок, блестя, как будто черный хрусталь, зрачки уходили в глазницы, в череп, дна не видно, похоже на черный, той черноты, какая бывает беззвездной ночью, тоннель, неизвестно, где конец, где выходит на свет. Макс взял за руку, улыбнулся: ну что там — летают астралы?

Альбина закрыла глаза.

— Не молчи, — Макс растер руку, — говори: что ты чувствуешь?

Альбина сказала, она не чувствует, ее нет, осталась оболочка, лежит оболочка, оболочка пуста.

— Зачем я приходила сюда? — бормотала Альбина. — Зачем я была здесь? Кому это надо было — чтобы я приходила, чтоб я была здесь?

Похоже было на бред, Макс слегка потормошил, сказал Альбине, она не приходила, не была — она сейчас здесь, он сидит рядом, держит за руку, говорит с ней.

Габриэль, — Альбина открыла глаза, сделала движение пальцами, как будто удерживает, — не уходи. Ты говорил, на мне печать, ко мне тянутся: Бина, помни, к тебе тянутся — ты не для себя, ты для других, чтобы назвать их, наречь именем, чтоб могли видеть себя. Габриэль, зачем это людям — видеть себя? Разве птицы видят себя, разве звери видят себя? Зачем человеку видеть себя? Человек не хочет видеть себя. Чтоб видеть себя, надо отделиться от себя. Зачем, кому это надо —

чтоб человек отделялся от себя? Отделиться от себя -- это война. Разве для этого человек, для войны, чтоб воевать с самим собою? Габриэль, -- Альбина нахмурилась, -- значит, я для этого, для войны, чтоб человек воевал с самим собою? Габриэль, мне больно, я больше не могу. Отпустите меня. Я больше не могу: отпустите. Папа, отпусти меня! Саша, отпусти меня! Все, -- Альбина выкрикала имена, звучали то отчетливо, то похоже на мычание, как будто со сна, -- отпустите: я не предавала. Я была не для себя, я была для других: чтоб могли видеть себя, чтоб видели себя. Габриэль, освободи меня, вели Макс, пусть не мучает. Отпусти, не мучай! -- Альбина подняла руки, пальцы судорожно сжимались. - Отпустите!

Макс гладил руки, ноги, целовал, говорил, убеждал, все в порядке, просто нервный шок, все пройдет, все будет хорошо.

-- Идем! -- Альбина оттолкнулась от подушки, села, взгляд был далекий, холодный, впечатление, что смотрит поверх предметов, предметы остались внизу. -- Идем!

-- Идем, -- Макс взял за руку.

Альбина сидела, не двигалась, на губах блуждала улыбка, позвала Габриэля, повторила, идем, Макс отпустил руку, взял за плечи и осторожно уложил.

Альбина закрыла глаза, сказала, она в океане, вокруг черный океан, тело осталось там, лежит на диване, Макс сидит рядом, она видит их, Макса и свое тело. Макс боится, весь в страхе, прячет свой страх, разговаривает с телом, не видит, не понимает: бояться не надо, потерять нельзя, лежит кукла, кукла не Альбина, Альбины больше нет.

Белые, похожи на бобы, разбухшие в воде, тельца висели в черном, каким бывает ночное небо, когда нет месяца, одни звезды, пространстве. Тельца были неподвижны, резко, как будто вправлены в черноту, выделялись своей белизной, но

света не давали. Иногда казалось, что приходят в движение, на самом деле двигались не они, двигалась, сама в себе, чернота, ненадолго проступала синева, тельца, по контуру, начинали светиться, как будто занимается рассвет, было тревожное чувство, вот, светает, однако свечение прекращалось, возвращалась чернота.

Белые тельца, когда началось свечение, изогнулись, стали похожи на эмбрионы, внутри, вроде окружены прозрачной пленкой, перекатывалась, то набухая, то опадая, волна.

Альбина сказала Макс, не надо плакать, не надо переживать, все кончено, все позади, она больше не хочет на Землю, свою дорогу на Земле она прошла.

Макс сказал: конец дороги — начало дороги, дорога вся впереди — только начинается.

В час ночи, как обещали, дали Одессу. Альбина спросила: где папа? На вопрос не ответили, незнакомый голос сказал: пусть Альбина срочно вылетает, дали телеграмму в консульство, заверили у главврача и в облздравотделе, откладывать нельзя, пусть вылетает немедленно.

— Аля, — сказал голос в трубке, — папа хочет видеть тебя. Аля, — повторил голос, — папа хочет видеть тебя, откладывать нельзя, можно не успеть.

— Габриэль, — Альбина протянула трубку Макс, — скажи им: Аля в дороге, летит к папе, скоро встретятся.

Белые тельца пришли в движение, как будто черное пространство расчерчено на квадраты, стороны угадывались по движению телец, одно из телец — она, Альбина, было отчетливое ощущение, сама себя обзрывает, изнутри, из тельца, и одновременно извне, снаружи, невозможно было определить, откуда именно, казалось, отовсюду, охватывая все видимое пространство и дальше, куда уходила чернота, о которой, в

какой точке ни останавливалась, переносясь от тельца к тельцу, нельзя было сказать: здесь конец, здесь кончается чернота, дальше нет ничего.

Под утро, перед рассветом, наступил криз. Вся одежда промокла, как будто окунули в воду и плохо отжали. Лицо было измученное, нос желтый, свечной, глаза запали, во всем теле боль, ломота, вроде били палками.

Альбина сказала, она хочет в туалет, пыталась встать, Макс наклонился, чтобы помочь, она остановила, не надо, она сама, откинула одеяло, оперлась руками, стала отжиматься, несколько секунд держалась, смотрела на свои ноги, ноги не двигались, и свалилась.

— Макс, — сказала Альбина, — у меня отнялись ноги.

Приехала скорая помощь, отвезли в Кони-Айлендский госпиталь.

Первые три дня велели соблюдать полный покой. Поглом разрешили сажать на четверть часа в каталку, Макс приходил ежедневно, катал по коридору, Альбина говорила, это мечта ее с детства — кататься в тележке, как будто возит рикша.

Из Вашингтона позвонили: прошение о визе удовлетворено, для получения явиться в консульство, приемные часы с девяти до двенадцати.

На следующий день прибыла телеграмма из Одессы: „Папа умер”.

Макс сказал о звонке из Вашингтона, Альбина всполошилась, велела Макс, пусть погребует в консульстве, чтоб ему тоже дали визу, он будет сопровождать ее. Макс ответил, нет смысла требовать, все равно не дадут, Альбина стояла на своем, сказала, она сама позвонит, Митрохин сделает.

Макс молчал, вынул из кармана телеграмму, подал Альбине:

— Папы нет. Папа умер.

— Уходи, — сказала Альбина, — я не хочу видеть тебя.

Макс ушел. Утром, только начало светать, Альбина позволила:

— Ты не виноват, — сказала Альбина. — Ты такой, какой ты есть.

Макс спросил у доктора: Альбина будет ходить? Доктор ответил: вопрос времени. Макс спросил: как долго? Доктор развел руками.

Альбина сказала, она не хочет лежать в больнице, она хочет домой. Пусть дадут тележку с моторчиком, она сама будет ездить.

Каталку с моторчиком не дали, дали простую, с ручным приводом, каждый вечер выходили на прогулку, Макс толкал каталку, Альбина говорила, никогда еще не было на душе так спокойно, как теперь.

Среди ночи Макс проснулся. Горел ночник. Альбины не было.

-- Альбина, — тихо позвал Макс.

Ответа не было, Макс закричал громко:

— Альбина!

Макс обошел комнаты, осмотрел стенные шкафы, возникла нелепая мысль, Альбина спряталась, дурачится, вспомнил про каталку, каталки не было, выглянул в коридор, машинально двинулся к лифту, нажал кнопку, тут только спохватился, что не одет, надо воротиться, привести себя в порядок.

Оделся тщательно, как будто утро, время на работу, был уже у двери, когда зазвонил телефон.

Говорил мужчина, сиплый ночной голос, дал адрес, уличный автомат на Брайтон-авеню, они здесь вдвоем, с Альбиной, Альбина велела передать, если Макс хочет, может придти, они будут ждать.

Макс сказал, пусть возьмет трубку Альбина, после паузы

голос ответил, Альбина не хочет брать трубку, Макс должен ответить, придет или не придет, иначе ждать не будут.

Макс сказал, он идет, пусть ждут.

Альбина сидела в своей каталке, на плечи наброшен мужской пиджак, видно было, что озябла, дрожит от холода, рядом стоял парень, щуплый, тощий, едва доставал Макс до плеча.

Альбина представила:

— Джерри, мой друг. Макс, я хочу, чтобы он стал твоим другом тоже. Макс, я услышала сквозь сон, меня кто-то зовет. Это был Джерри. Ему очень плохо, его бросила жена, он в отчаянии, хотел перерезать себе бритвой горло. Джерри, покажи бритву.

Джерри показал бритву.

— Макс, — сказала Альбина, — у Джерри нет дома, он должен ночевать у нас. Макс, обещай Джерри, что не будешь навязывать своей воли и причинять ему неудобства.

У Альбины блеснули глаза, лицо было странное, вроде застыло, надели маску, двигались только губы, Макс встал за каталкой, сказал, хорошо, он обещает. Поехали.

Джерри шел сзади, то отставал, то, вдруг, как будто опомнясь, догонял вприпрыжку. У парадного Джерри остановился, сказал Альбине, пусть отдаст ему пиджак, он не хочет к ним: Альбине он верит, а этому — Джерри указал пальцем на Макса — не верит.

— Макс, — сказала Альбина, — если Джерри не пойдет, я тоже не пойду: я не брошу его, я останусь с ним.

— Джерри, — обратился Макс, — я обещаю вам, я дал слово — у вас нет оснований не верить.

Джерри сказал, ему не нужны основания: он свободный человек, это его право — верить или не верить. Он не верит.

Макс обратился к Альбине:

— Чего ты хочешь: остаться с ним? Хорошо, оставайся с ним.

Макс повернулся, пошел быстрым шагом, Альбина крикнула вдогонку:

— Подожди!

Макс остановился, Альбина двинулась в своей каталке, Макс сделал несколько шагов навстречу, Альбина подъехала вплотную:

— Макс, я должна. Ты понимаешь? Должна.

— Кому должна? — спросил Макс. — Кто сказал тебе, что ты должна?

— Ты, — ответила Альбина. — Ты говорил: если есть чувство, что должен, значит должен. Макс я нужна ему. Я должна.

— Ты его не знаешь, — Макс кивнул в сторону Джерри. — Может быть, он лжет.

— Он не лжет, — сказала Альбина. — Если бы он лгал, у меня не было бы этого чувства: должна.

— Но люди лгут. Альбина, люди лгут.

— Он не лжет, — покачала головой Альбина. — Ты сам видишь: он не лжет.

— Ты хочешь быть с ним, — сказал Макс. — Ты предаешь меня.

— Ты не веришь мне! — Альбина дернула колеса каталки. — Ты, ты предаешь меня!

— Эй, Джерри, — крикнул Макс, — идите с Альбиной. Альбина проводит вас. Не забудь ключи, — Макс подал Альбине ключи. -- Мне пора в аэропорт. Конференция в Цинцинатти. Самолет в шесть тридцать. Я тороплюсь. Бай!

— Макс, -- крикнула Альбина, — ты не взял чемодана. Ключи у меня. Подожди, я помогу тебе собрать вещи. Макс, подожди!

Макс свернул за угол. Ухватясь руками за колеса, Альбина вращала изо всех сил, каталка неслась по тротуару, на повороте резко накренилась, съехала на мостовую, мимо промчался грузовик, Макс машинально обернулся, увидел, каталка на мостовой, Альбина в стороне, головой на тротуаре, внутри все похолодело, подбежал, поднял, прижал к себе, со лба текла кровь, отер щекой, Альбина спросила:

— Я жива?

Макса трясло и знобило, Альбина сказала, ему тяжело, пусть посадит ее в каталку. Макс ответил, никакой каталки, Альбина будет у него на руках — так будет, пока не вернется способность ходить и не станет нужна его помощь.

— Джерри, — крикнула Альбина, — привези каталку!

Джерри подкатил каталку, Макс пнул ногой, каталка откатилась в кусты, Альбина потребовала, пусть Макс положит ее на землю, возле кустов, где он ее подобрал, когда она ушла из госпиталя: она сама может взобраться на каталку, Макс ей не нужен, никто не нужен.

Макс сказал, нет, он не отпустит, он отнесет ее домой, пусть кричит караул, пусть зовет полицию.

— Макс, — Альбина заплакала, — ты насильник. Ты издеваешься над калекой. Я уйду, я все равно уйду от тебя.

Когда пришли домой, Макс запер дверь, ключи забрал, ушел к себе в кабинет, постелил на диване, Альбина сказала, она не хочет в спальне, будет спать в гостиной. Поначалу прислушивался к каждому звуку, боялся заснуть, несколько раз, проваливаясь в сон, одергивал себя, опять прислушивался, вставал, тихонько приоткрыв дверь, заглядывал, все в порядке, наконец, успокоился, лег, заснул.

Во сне, казалось, едва успел заснуть, услышал далекий звук, похожий на стон, на вой, как будто доносится из пустыни, вокруг серые пески, ветер наметал барханы, видно было,

как меняют очертания, то открывая, то закрывая месяц на горизонте, вдруг поднялась буря, за песчаной завесой месяц прыгал, метался, как будто кидает, швыряет его на волнах, опять донесся вой, в этот раз явственный, вроде совсем рядом, Макс вскочил, подошел к двери, заглянул.

Альбина сидела на столе у окна, протянула руки, за окном, на полдороге между зенитом и горизонтом, висел месяц. На поверхности отчетливо видны были пятна, похожие на материки, забранные местами серой пылью пустынь. Пятна были из пористого лунного материала, напоминали пену, какая бывает на морской волне, когда ударяется о скалы. Мимо проплывали бесшумно, в лунном свете, облака, казалось, идет армада, неисчислимая, нескончаемая, все в одном направлении, на запад, подчиняясь не слышной на земле команде, которая мгновенно передавалась всей армаде, месяц то оставался неподвижным, как будто пригвожден к небу, то внезапно начинал дрейфовать, и тогда явственно было видно, что он сам по себе, отдельно от небесного свода, просто вершит свой путь, не оставляя следа, по меридиану неба, соединяющему две точки горизонта, на востоке, где месяц начал свою дорогу в ночи, и на западе, где предстояло эту дорогу, в той части, какая была видима земному глазу, завершить.

Вдруг облака, двигавшиеся с востока, остановились не доходя до месяца, как будто удерживаемые исходящими от него токами, те, что миновали его, продолжали свою дорогу, нисходя к горизонту, поле вокруг месяца расчистилось, Альбина, медленно наклоняясь вперед, вроде тянется к месяцу, ожидая встречного от него движения, бормотала, то горячо, было впечатление, что требует, закликает, то размеренно, с долгими паузами, в ожидании ответа, после которого возобновляла свои заклинания: пусть месяц заберет ее, унесет с собой, с земли, от людей, она больше не хочет, не может,

она сделала, что могла, что требовали от нее, она делала, как хотели другие, ей говорили, она должна, на ней печать, все тянулись к ней, все требовали, все кричали, должна, должна, она сделала, как хотели, как требовали от нее. Жизнь — долг, жить — быть должным. Она больше не должна.

Месяц смотрел в окно, на поверхности его темные пятна пришли в движение, видно было человеческое лицо, слегка припорошенное пылью, Альбина закричала: папа! Внутри пятен продолжалось шевеление, проступали глаза, лоб, виски, на висках кудряшки, Альбина воскликнула:

— Габриэль! Ты пришел, услышал меня! Забери меня, не оставляй, забери! Габри-эль!

Ухватясь руками за край стола — голова, как у пса, когда воеет, в зимнюю ночь, на луну, круто была задрана кверху — Альбина подтянулась всем телом, еще мгновение, уткнется, прошибет стекло, выпадет из окна, Макс подбежал, едва успел удержать за плечи, снял со стола, Альбина опять позвала — Габри-эль! — „эль” звучало протяжно, как будто звук в пустыне, с гортанным клекочущим „ль”, клик сбившегося с дороги номада.

Уложив Альбину на диван, Макс укрыл ее пледом, пригнулся рядом, напряженно прислушивался к дыханию, поначалу дыхание было прерывистое, с хрипами, громкими, резкими всхлипами, как будто подступает удушье, порывался спросить, все ли в порядке, хотел включить свет, сам себя удерживал, останавливал, не надо никаких вопросов, никаких действий, пусть Альбина знает, чувствует, он спокоен, оснований для страха нет.

Осторожно, чтоб не потревожить, передвинулся в угол, прикорнул, стал забирать сон, внезапно, видимо, совсем уже заснул, услышал голос Альбины:

— Макс, почему ты здесь? Я не хочу, чтоб ты был здесь. Уходи. Хочу быть одна.

Макс поднялся, сказал, он идет к себе, надо будет, Альбина кликнет.

— Я не буду звать, — сказала Альбина. — Принеси каталку, поставь возле меня. Я хочу, чтоб каталка была здесь, возле меня.

Нет, ответил Макс, он не принесет каталку.

— Ты чудом осталась в живых. Я не принесу каталку. Чудо, — сказал Макс, — не повторяется.

— Макс, — сказала Альбина, — подай мне телефон. Я позвоню в госпиталь, пусть заберут меня. Я не хочу быть дома. Макс, ты насильник. Я не хочу жить с насильником.

Макс включил свет, подал Альбине телефон: звони.

Опершись нижней кромкой о крышу дома, месяц, как будто в недрах, по каналам, по отводам, быстро наполнялся кровью, покрывался уже и на поверхности, видимой с земли, густым, вязким, какой бывает от крови, багровым колером.

— Макс, — сказала Альбина, — мне страшно.

Подперши голову руками, Макс сидел у окна. Завыла сирена скорой помощи. Карета остановилась у дома.

— За тобой, — сказал Макс Альбине.

Макс поднялся, пошел открывать дверь.

В ПРОДАЖЕ КНИГИ АРКАДИЯ ЛЬВОВА:

- „ДВОР”. Роман, книга первая, 322 стр.
- „ДВОР”. Роман, книга вторая, 514 стр.
- „БОЛЬШОЕ СОЛНЦЕ ОДЕССЫ”. Рассказы, 304 стр.
- „БИЗНЕСМЕН ИЗ ОДЕССЫ”. Американские рассказы, 232 стр.
- „УТОЛЕНИЕ ПЕЧАЛЬЮ”. Литературные портреты: Бабель, Багрицкий, Светлов, Катаев и др., 267 стр.
- „ЖЕЛТОЕ И ЧЕРНОЕ”. Жизнь Осипа Мандельштама и Бориса Пастернака, 222 стр.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К ПЕЧАТИ:

- „РОДОСЛОВНАЯ”. Литературные портреты: Эренбург, Гроссман, Маршак, Шварц и др.
- „БЕДНЫЙ АРОНЫЧ”. Литературные портреты: Кирсанов, Антокольский, Сельвинский и др.

Оформление Исаака Давнера
Набор Раисы Вайль





„Аркадий Львов, бесспорно, один из самых выдающихся современных русских писателей”

Айзек Башевис Зингер

„В романе „Химеры” Аркадий Львов создал незабываемый образ новой женщины — искренней, цельной, свободной от пут расхожей морали. Эта женщина, Альбина Зонтаг, не следует за мужчинами, но ведет их за собой — как более сильный ведет того, кто слабее. Каждая страница романа — дорога в неизвестное... Захватывающая книга!”

Ричард Лури



АРКАДИЙ ЛЬВОВ

ХИМЕРЫ



Я



ХИМЕРЫ

РОМАН

АРКАДИЙ ЛЬВОВ



На обложке триптих Эрнста Неизвестного